Ралф

ЭМЕРСОН

НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

УДК 14
ББК 87.3
Э 54

Серия основана в 1998 году

Эмерсон Р.

Э 54 Нравственная философия. — Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. — 384 с. — (Классическая философская мысль).

ISBN 985-433-985-8.

Читателю представляется возможность ознакомиться с уникальным изданием — книгой Р. У. Эмерсона (1803—1882), представителя и главы американского философско-литературного движения трансцендентализма, сподвижника Т. Торо.

Основные идеи, которые развивал Эмерсон и которые нашли отражение в первой части, — это идеи социального равенства «равных перед Богом» людей, самоусовершенствование, близость к природе, очищение человека от «вульгарно-материальных» интересов. Во второй части дана блестящая характеристика «духовных отцов» человечества, представляющая интерес и для современного читателя.

УДК 14
ББК 87.3

ISBN 985-433-985-8 (Харвест)
ISBN 5-17-001832-0 (АСТ)

© Оформление. Харвест, 2000

Русским читателям

«Нам нужна философия, переливчатая, движущаяся, — сказал Эмерсон в одном из своих творений. «В тех обстоятельствах, в которых находимся мы, уставы Спарты и стоицизма слишком непреклонны и круты; с другой стороны, заветы неизменного смиренного мягкосердия слишком мечтательны и эфирны. Нам нужна броня из эластической стали: вместе и гибкая, и несокрушимая. Нам нужен корабль; на валунах, обжитых нами, догматический, четвероугольный дом разобьется в щепы и вдребезги от напора такого множества разнородных стихий. Нет, наша философия должна быть крепка и приспособлена к форме человека, приспособлена к образу его жизни, как раковина есть архитектурный образец таких жилищ, что покоятся на морях. Душа человека должна служить прообразом нашим философическим планам, точно так, как потребности его тела принимаются в соображение при постройке ему жилого дома».

«Опыты» были уже тогда изданы в свет. Но если, по своему верованию в безграничное усовершенствование, он вселяет в нас убеждение, что «каждое действие человека может быть превзойдено другим», что «Окончательный вывод сегодняшней науки, вывод для нас изумительный, будет включен простым примером в обзор более широкий и смелый», — то нам, как мне кажется, можно на долгое время удовольствоваться образом воззрений Эмерсона и идти вслед ему, в полной уверенности, что пройдут века и он не будет превзойден. «Длинный ряд веков

и опыта, чему научил он нас о природе и о нас самих? Род человеческий еще не сделал ни шагу к разрешению загадки свой собственной судьбы, и во всем, что касается этого вопроса, он будто поражен карою безумия».

Его последователи, конечно, будут в состоянии дать большее развитие той или другой его мысли, нагляднее выставить ее на поклонение мира и тверже укоренить ее в убеждениях человечества, — он и сам сказал: «О сколько истин, глубочайших и ожидающих себе исполнения лишь в веках грядущих, заключено в простых словах каждой правды!» — но благодетельные семена рассеяны его рукою по всем скромным стезям, по всем широким поприщам, по всем заоблачным высям земного существования. Возвышенные думы Эмерсона, предупредившие более, чем за пятнадцать лет астрономические доказательства Фламмариона, превосходные компиляции Пеззани, и одновременные с «Землею и Небом» Жава Рейно, не бесполезны для перспектив, которые перед нами открываются. Главная же его заслуга состоит в том, что он из нас, слепорожденных, может сделать зрячих и просто, и прямо говорит: «Нет, нет преград между нашими головами и незримыми небесами, как нет в душе нашей затворов, отделяющих Бога, творца сущего, от человека — Его произведения». Или: «Наша мысль всегда будет даром свыше». Или «Человек — это струя из неведомого источника. Наше бытие изливается, откуда? — неизвестно. Самый непогрешимый вычислитель, может ли он поручиться, чтобы не могло в сию же минуту воспоследовать нечто неисчислимое, которое обратит в ничто все его вычисления?» «Вообразите только себе воцарение новой истины в мире! Возникновение такого образа мысли, которое в сию минуту, в первый раз появляется на свет, как птенец вечности, как отголосок всемогущества безначального и бесконечного? Новое откровение (мы называем откровением общение Всевышне-

го с душою человека и Его указания законов вечных), кажется, в одну минуту вступило в наследство всего бывшего до него, и оно же издает законы всему, еще не существующему. Оно приводит в движение каждый помысел человека, и все установленное готово подвергнуться изменениям».

Прошу вас об одном: не торопитесь по этим выпискам провозглашать его мистиком; он не мистик, не проповедник, не философ. Он не из числа «тех редких, пламенных, почти полоумных прозорливцев, — как он говорит о мистиках, глубоко, впрочем, уважая их и веря их правдивости, — изнемогающих под необъятностью идеи». Он свободно распоряжается всеми своими великолепными идеями; так сказать, играет ими, представляя их нам в форме случаев и предметов обыденной жизни. Он не обрамлен никакою системою, не настроен на тон поучительный, не омрачен ни одною тенью догматической сухости. Он просто человек во всей силе слова, и человек самый натуральный. О возвышенном говорит возвышенно, о пленительном пленительно, о комическом — с самым непринужденным юмором. Вот несколько строк о «Молитве» из его последнего сочинения; другой пример о том же предмете находится в книге, лежащей теперь перед вами.

«О чем наши ежедневные мольбы?» О том, чтобы быть вытянутыми по условной мерке: «Восполните, благоутробные боги, мои недостатки в изворотливости, в наружном виде, в моем положении и состоянии: во всем, что ставит меня в некотором отдалении от того вожделенного хоровода; восполните недостающее мне, да буду я одним из тех, кому дивуюсь, и да стану с ними на короткую ногу!» Но премудрые боги произносят: «Нет, мы имеем для тебя в виду нечто лучшее. Горькими унижениями, повсеместными поражениями, лишением всякого сочувствия, расстоянием целых пучин разногласия ты познакомишься с истинами и с человечностью пообширнее тех, которые в ходу у щеголеватых джентльменов».

«Посмотрим, в чем состоят по большей части молитвы людей и что такое молитва? — Молитва есть доступ в бесконечность; она должна испрашивать у Бога даровать душе новую доблесть, поддержать, окрылить ее силою неведомою, неземною; молитва совокупляет видимое с невидимым, обыденное и знаемое с дивным и сверхъестественным. Молитва — это обзор всех событий жизни с высочайшей точки зрения, это одинокая беседа души, погруженной в созерцание и восторг от дел своего Создателя; души, согласной с ним в духе и исповедующей, что всякое Его даяние благо и всяк дар совершен. Но просить себе молитвою такую-то особую утеху, вне добра вечного — недостойно человека; но смотреть на молитву, как на орудие к достижению той или другой житейской цели, — низко и постыдно. Такая молитва есть доказательство раздвоения, а не единения внутреннего сознания с законом естества, потому что человек, слившийся воедино с Богом, сладостно отрекается от своей личности: возношение духа сопровождает его и возбуждается на каждом шагу».

Пред его глазами «мир воспроизводится миниатюрно в каждом событии, так что все законы природы можно проследить в самом малейшем факте. И беспристрастный судья этих событий и существующего порядка вещей, он описывает их с величайшею верностью, но без увлечений, без гнева, как человек, уже одолевший едкую горечь фактов и призванный ослабить их пагубное влияние. Такое призвание достойно этой души могучей, ясной, умудренной, вполне сознательной. Он проникнут сущностью религии, поэзии, философии, веры, любви и повиновения. Ему возможно внимать божественным глаголам и начертывать несколько слов из вековечных нравственных законов, которые могут открыть новую эру самых существенных улучшений. Пред его духовным оком расстилается настоящая действительность, которой «видимый мир служит только отражением», — очень печальным, как следует из описания:

«Нарушения законов природы, свершенные и предшественниками, и современниками, налегли на нас и искупаются нами. Неловко и тяжело каждому живущему человеку... Что же это, как не попрание законов и естественных, и разумных, и нравственных? И не только доказательство, но полное удостоверение в том, что нужно было нарушение за нарушением, для того чтобы дойти до накопления такой многосложности бедствий, окружающих нас со всех сторон. Войны, чума, голод, холера обнаруживают какое-то озлобление в природе, которое, будучи возбуждено преступлениями человека, должно быть искуплено человеческими страданиями».

«... Много ли есть в наш век личностей великих, доблестных? Нет, нет между нами ни мужчин, ни женщин, способных дохнуть обновлением на нашу жизнь, на наш общественный быт! Нервы и сердце человека высохли, и все мы стали робкими, оторопевшими плаксами. Мы боимся правды, боимся счастья, смерти, боимся один другого. Бóльшая часть людей нам современных оказываются до того несостоятельными, что они не в состоянии удовлетворять своим собственным потребностям; их самолюбивые притязания стоят в разительной противоположности с их действительным могуществом, которое со дня на день хилеет и оскудевает. Все мы — ратоборцы гостиных, а когда нужно сразиться с судьбою, мы благоразумно обращаемся вспять, не понимая, что в таком-то именно бою и крепнут силы».

«... Нам следует обратиться за ответом к Высочайшей Мудрости. От Нее узнать — красота, здоровье, крепость тела, составляющие теперь исключения, не были ли в своем основании всеобщим достоянием человечества? — А гений? разве это отвлеченность, а не воплощение? Где же теперь гений без примеси? И в каком младенце может он надежно сохраниться? Из одной учтивости называем мы *гением* полупроблески света; этим именем величаем мы талант, блестящий сегодня, для того чтобы славно пообедать и славно поспать завтра; и посмотрите: повсюду человеческие общества

находятся в руках — как их по справедливости называют — *людей партий,* а не людей божественных. Такие люди пользуются своим преобладанием для того, чтобы еще более утончить чувственные наслаждения, а не для того, чтобы вести против них открытую войну. Напротив того, истинный гений — аскет по природе, аскет, полный благоговения и любви. Прекрасные души смотрят на чувственные влечения, как на немощь: они видят красоту в границах, которые их сдерживают, и в нравах, которые им противодействуют».

Ральф Уолдо Эмерсон — американец, уроженец Массачусетса. Он был некоторое время пастором унитаров, но, разойдясь с ними в убеждениях, посвятил себя другой духовной деятельности: издавал газету «The Dial» («Циферблат»); еще в 1844 г. писал «Об освобождении негров», читал в Бостоне лекции «О современном направлении», а в Англии — «Представители человечества», составляющие вторую книгу нашего издания. Поселившись окончательно в своем загородном доме, близ Конкорда, он живет, как истинный мудрец, своеобычно, но не странно: пишет, печатает, много гуляет в одиночестве по окрестностям, занимается всем, следит за современными вопросами и является, в случае надобности, на кафедры Бостона и на совещания.

Америка обязана ему значительным улучшением образа мыслей и нравов. Он пользуется не только всеобщим уважением, но и благоговейным почтением; путешественники ездят к нему на поклонение. Его личность, величественная, спокойная и необыкновенно прекрасная, соответствует духу его произведений. Сам он предпочитает уединение, небольшой круг друзей и глубокую внутреннюю жизнь. Он часто выражается так: «Я встречал в клубе человека и не даровитого, и не ученого; недавно я дошел до того убеждения, что... проповедник говорил речь о... меня зовут на собрание филантропов...» Из таких простых данных творческая его мысль созидает здания редкого великолепия, изрекает истины мировые, всеобъемлющие и притом общедоступные.

При появлении его «*Опытов*», приверженцы провозгласили его *Пророком времен лучших* и сожалели, что его влияние не распространилось мгновенно: «Он намного выше своих сограждан, своего времени, и не может быть понят тотчас и вполне; однако мысли его прорезывают глубокий след, и круг его почитателей расширяется с каждым годом. Влияние его в будущем несомненно». С тех пор, как это было произнесено, вы найдете творения американского мудреца в руках людей всех возрастов и полов, почти в каждом доме Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и, кроме городов, даже в отдаленных, недостроенных хижинах поселенцев Нового Света. До нас они еще не дошли. Европа едва о них знает. Я обязана одной редкой любительнице хороших книг и частой посетительнице «столицы мира» моим знакомством с «Опытами», которые я перевела, чтобы полнее усвоить их себе на родном языке. Это было давно; не помню даже, переведено ли мною все целиком. Знаю только, что я выпустила две главы: «История» и «Искусство». Изучение этой книги сделало меня окончательно последовательницею Эмерсона. Я уже была на полпути к тому по вызову «Представителей человечества», которые я нашла тоже давно и только за границею, случайно, в *одной* библиотеке для чтения. Понять их — признаюсь — мне стоило много труда и времени. Истины Эмерсона до того истинны, что, поминутно пристыжая вашу недогадливость и несмышленость, они потрясают нас будто учащенными электрическими ударами. Сверх того, он так щедро рассыпает сокровищницу своих животворных, всеобновляющих вдохновений, что при первом чтении с некоторою остраскою спрашиваешь себя: что это? Ересь? Мятеж? Новая закваска для новых и без того невыносимых брожений? Между тем молнии его мыслей ощутимо проникают в вашу голову, будят ум от застоя и увлекают его поближе подойти к этому вещателю нового слова.

Эмерсон по самой своей природе стоит поодаль от избитых дорог и утвердившихся систем; его место —

у алтаря вечной Истины; одной вначале, как солнце на горизонте нашего зрения, но посылающей лучи во все направления. Благородные его мысли, изумительные своею меткостью и силою правды, вкореняют в сердце читателя чувство долга и постоянное к нему благоговение. Поучения мудреца не изымают нас, конечно, из-под гнета обстоятельств, но они драгоценны потому, что ведут к самообладанию и к повиновению одним высшим законам.

Обнищав внутренне и убив в себе способность жить разумом и мыслью, наслаждаться естественными чувствами любви к собратьям, к природе, лишившись самоуважения и сознания долга, человек, разумеется, ищет удовольствий вне себя и, живя в обществе, слишком много тратит времени и способностей на мелочи, задевающие или услаждающие одну его суетность и самолюбие. Измерив все эти раны и бедствия, Эмерсон занят одним: возвысить душу каждого до усмотрения красоты нравственной и проникнуть каждого сознанием человеческого достоинства. Какая любовь к добру и к простым, как он их называет, *детским добродетелям,* честности и прямоты! С какой истиной и совестливостью разоблачаются поводы, так часто заставляющие нас действовать с оглядкой на других и наперекор себе.

Мне кажется, что духовные силы человека редко рассматривались с такой проницательностью и глубиной. Он вызывает каждую отдельную личность к бдительному, серьезному и вместе с тем сладостному обращению на себя. Вот цель всего, что говорит Эмерсон, цель благодетельная и приспособленная всюду указывать на возможность улучшения, и возбудить во всех и каждом соревнование делать землю плодотворною, рассевая на ней семена правды и добра, при самом смиренном, добросовестном, даже личном, не только частном, занятии. Мало того, чистосердечным духом действий; мало того, хорошим намерением; мало того, самым сокровенным, одним вам знаемым добрым помыслом.

Перевести книги и, после шести-семи лет колебаний, отважиться издать их в свет, достаточно свидетельствует о поклонении к их творцу. Мы не осмелимся далее сопровождать Эмерсона своими суждениями. Слишком часто досаждают нам французы, которые, принимаясь пояснять самобытное серьезное или увлекательное произведение иностранного писателя, не только выводят его родословную от Декарта, Боссюэта, Расина, Ламартина, г-жи Севивье, но своими многословными фразами дают разительно кривое истолкование тут же приводимой цитате. Для нас достаточно быть привратницей великого человека, отворить ему дверь на нашу родину и желать, чтобы этот высокий посетитель проникнул во многие убеждения, во многие сердца.

Но наше уважение к возлюбленному наставнику возлагает на нас обязанность ввести его как можно скорее, в задушевное сообщение с читателями и избавить их от затруднений и недоумения, испытываемых более или менее всеми, при неожиданной с ним встрече. Высокие начала его учения и успокоительное, укрепительное их действие не выясняются во всей полноте при поверхностном на них взгляде. Это, вероятно, происходит от необыкновенного изобилия мыслей, то облеченных в юмористическую заметку и самое меткое, оригинальное сравнение, то опирающихся на народную пословицу, то плавно реющих в высотах надземных. По этой причине я сочла нужным представить главные его идеи и дать ему выразить их самому. Рассеянные по всем страницам, они могут остаться незамеченными или показаться разрозненными частицами чего-то превосходного, но не достигшего полноты, тогда как его учение закончено до совершенства и может служить благодетельным руководством для каждого одинокого и простодушного читателя.

Он кажется нам именно одною из тех твердых душ, призываемых его мольбою и надеждами, «которая растолковала бы людям, что в них есть множество данных и множество средств; что больше доверяя себе, они обнаружат новые возможности и силы. Да изучат

они нас, – продолжает он, — что человек есть слово, сделавшееся плотью, слово, назначенное для врачевания ран, нанесенных человечеству разными учреждениями, обычаями, книгами, идолопоклонством!»

Вот глава *«Героизм»*. Посмотрим, кого он выведет нам «героем нашего времени».

«Каждый безграмотный человек может прочувствовать не раз в своей жизни, что в нем есть что-то, не заботящееся ни об издержках, ни о здоровье, ни о жизни, ни об опасностях, ни о ненависти, ни о борьбе; что-то, заверяющее его в превосходстве и возвышенности его стремлений, несмотря на всеобщее противоречие и безвыходность настоящего положения».

«Времена героизма обыкновенно бывают временами ужасных переворотов; но есть ли такое время, в которое эта стихия души могла бы не найти себе упражнения? Все доброе так еще нуждается в поборниках и в мучениках. Героическая душа всюду найдет возможность заявлять свои высокие убеждения: говорить правду, даже с некоторою строгостью; вести образ жизни умеренный, но вместе с тем благородно-открытый; не пытаться из трусости жить в мире с целым светом: героизм вещь не пошлая, а пошлость не героизм».

«Что такое героизм? Это бодрая осанка души. Человек решается в своем сердце приосаниться против внешних напастей и удостоверяет себя, что, несмотря на свое одиночество, он в состоянии переведаться со всеми клевретами зла. Он отнюдь не думает, будто природа заключила с ним договор, в силу которого он никогда не окажется ни смешным, ни странным, ни в невыгодном положении. Но в доблестной душе равновесие так установлено, что внешние бурные смятения не могут колебать ее воли, и под звуки своей внутренней гармонии герой весело пробирается сквозь страх и сквозь трепет, точно так же, как и сквозь безумный разгул всемирной порчи».

«Из всех качеств людей-героев более всего прельщает мое воображение их невозмутимая ясность. Торже-

ственно страдать, торжественно отважиться и предпринять еще можно при исполнении весьма обыкновенного долга. Но великие души так мало дорожат успехом, мнением, жизнью, что не имеют и помысла склонять врагов просьбами или выставлять напоказ свои огорчения: они всегда просто велики. При виде победителя почти забываешь о сражениях, которыми он оплатил свое торжество; нам кажется, что рассказы о его затруднениях были преувеличены и что он расправлялся с ними очень проворно. Есть другие люди, возвещающие: «Уж как я-то победил! Уж как я-то торжествую!» Мы что-то не верим в их торжество. К тому же торжество ли это, когда человек сделался гробницею «убеленною и поваленною», или женщиною, катающейся от истерического хохота? Истинное торжество состоит в том, чтобы заставить тягостные обстоятельства редеть и исчезать, как утренний туман, как приключение незначительной важности, в сравнении с гигантскою бытописью, которая заходит все далее и далее».

«Вы решились оказать услугу ближнему, и не отступайте назад под предлогом, что умные головы вам этого не советуют. Жизнь может сделаться пиршеством для одних людей умудренных; если же станешь рассматривать ее из-за угла благоразумия, она обратит к нам лицо грозное, истомленное. Впрочем, прежде чем откинуть благоразумие, надобно дознаться, какому божеству хочешь принести его в жертву? Если роскоши и чувственности, так лучше продолжать быть благоразумным; если же высокому полету доверчивости и великодушия, тогда можно расстаться с ним без сожаления. Согласимся, что пустить на волю своего вьючного осла может тот, кто меняет его на огненную окрыленную колесницу».

«Великодушные существа развевают по всей земле пламя любви к человеку и возносят над всем человеческим родом знамя общественной добродетели. Добрые люди, живущие по законам арифметики, замечают, как невыгодно гостеприимство, и ведут низкий расчет трате времени и непредвиденным издер-

жкам, которых им стоит гость. Напротив того, высокая душа гонит в преисподнюю земли всякий неприличный, недостойный расчет и говорит: «Я исполню веление Господа, Он промыслит и огонь и жертву».

«Если ваш дух не властелин мира, то он делается его игралищем. Все бедствия, когда-либо постигавшие людей, могут постигнуть и нас. И потому не излишне каждому, а тем более молодому человеку, освоить с ними свою мысль и так твердо установить в себе чувство долга, чтобы не оробеть ни пред какими муками».

Второе положение: *«есть человек, есть его и свойства»*, как есть они в минерале, в растении, в животном; но соль не имеет свойства серы, мак — розы, ягненок — льва.

«У каждого человека есть свое призвание: особенный дар, и побудительный, и привлекательный. У него есть способности, безмолвно требующие себе бесконечного упражнения. Именно в этом направлении открыто для него все протяжение. Он — как лодка, встречающая на реке препятствия со всех сторон, исключая одной; здесь, единственно здесь, лодка может пронестись и заскользить по неисчерпаемому морю. Этот дар или призвание слиты с его естеством, то есть с душой, воплотившейся в нем».

«... Исполняя свое предназначение, человек отвечает на потребности других, порождает в них новые вкусы, наклонности и, удовлетворяя их, олицетворяет сам себя в своем произведении. Если он правдив и честен, его самолюбие с наиточною пропорциональностью соотносится с его мощью. Так высота горы совершенно соразмерна объему ее основания».

«... Самые пушинки и соломинки подлежат законам, а не случайности; таким образом, и человек пожинает только то, что посеял. Ему будут принадлежать плоды,

взращенные его трудами, и ему предоставлено достижение самообладания и его охранение от посягательства других, с которыми не следует завязывать сношений горьких и докучных. Он имеет неоспоримые права на все, свойственное его природе и гению; он отовсюду может заимствовать то, что принадлежит его духовному расположению. Вне этого ему невозможно усвоить ничего, хотя бы распались пред ним все затворы вселенной».

Поэтому «...претензии должны бы оставаться в покое и предписать себе бездействие; они никогда не произведут ничего истинно великого. Претензия никогда не написала «Илиады», не разбила в пух и прах Ксеркса, не уничтожила рабства, не покорила мир Христианству».

«... Теперь, всякий сызмала терзается над решением богословских задач: о первородном грехе, о происхождении зла, о предназначении и над прочими подобными умозрениями, которые на практике не представляют никаких затруднений и нимало не затмевают пути тех, которые для таких поисков не сбиваются со своего. Многие умы должны предложить себе на рассмотрение и такие вопросы; они в них то же, что корь, золотуха и другие едкие мокроты, которые душа должна выбросить наружу, чтобы после наслаждаться отличным здоровьем и предписывать целебные средства и другим. Простым натурам подобные сыпи не необходимы. Нужно иметь редкие способности, для того чтобы самому себе отдать отчет в своем веровании и выразить другим свои воззрения касательно свободного произвола и его соглашения с судьбою человека. Для большинства же людей, в замене наукообразной пытливости, весьма достаточно иметь несколько верных инстинктов, немного удобопонятных правил и честную, здравую природу».

«... Действие, которое я всю жизнь желаю совершить, вот действие, согласующееся с моими способностями; ему и надобно посвятить все свои силы. Человек счастлив только тогда, когда он может сказать,

что исполнил свое намерение, что вложил душу в труд свой и довел его до конца как нельзя было лучше. Но если он поступает иначе, то и покончив с трудом, он не почувствует ни отрады, ни облегчения; талант его хиреет, Муза ему недоброжелательствует; на него не нисходит ни вдохновение, ни упование».

«... Я убежден в том, что величайшие нравственные законы могут быть усмотрены человеком на каждом шагу при самых обыденных обстоятельствах и поступках. Эти неподкупные законы, отражаясь на стали его резца, надзирая за мерою его ватерпаса, его аршина, за итогами счетной книги его лавки, не менее истории обширных государств удостоверяют его в том, что доброкачественность его занятий достигает возвышенности его помыслов.

... Некоторая доля мудрости непременно добудется из каждого поступка естественного и благонамеренного.

...Человек должен быть самим собою. Тот дар, те его свойства, которыми он отличается от других, — впечатлительность в отношении некоторого рода влияний, влечение к тому, что ему прилично, оттолкновение от того, что ему противно, — определяют для него значение вселенной. Среди всеобщей толкотни и шума, из многого множества предметов он высмотрит, выберет, он прислушается к тому, что ему мило, сходственно или нужно: он как магнит среди железных опилок. Лица, факты, слова, заронившиеся в его памяти, даже бессознательно, тем не менее пользуются в ней действительною жизнью. Это символы его собственных свойств, это истолкование некоторых страниц его совести, на которые не дадут вам объяснений ни книги, ни другие люди. Не отвергайте, не презирайте случайный рассказ, физиономию, навык, происшествие; словом то, что глубоко запало в вашу душу; не гасите своего поклонения тому, что, по общему мнению, стоит хвалы и удивления. Верьте им: они имеют корень в вашем существе.

... Что́ ваше сердце почитает великим, — то велико. Восторг души не обманывается никогда.

... Наше совершенствование очень сходно с развитием растительной почки. Сначала вы имеете инстинкт, потом — мнение, напоследок — знание; то есть, корень, цвет, плод. Доверяйтесь инстинкту; он содействует вызреванию истины, и тогда вы узнаете, почему вы ему верили: из познания произойдет вера. Наконец, когда настает пора разума, мы уже не наблюдаем, не утруждаем себя наблюдением, потому что приобрели уже силу прямо устремлять внимание на отвлеченную истину и обнимать духовным оком все образы здешнего существования, во время ли чтения, разговоров или личной деятельности».

К Эмерсону с совершенною справедливостью можно применить сказанное им о Платоне: «Он представляет собою редкое преимущество ума, а именно могущественный дар поставлять каждый факт на последовательную высоту и, через это, обнаруживать в каждом из них залоги дальнейшего развития. Это развитие или расширение мысли удлиняет духовное зрение там, где для обыкновенного глаза уже смыкается горизонт, и это второе зрение усматривает, что продленные линии законов тянутся во все направления».

С американским мудрецом всюду Вефиль, всюду то место, где одинокий Иаков, в пустыне, на закате солнца, кладет себе в изголовье камень и — *«льстивица утверждена на земле, ее же глава досязает до небеси, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Господе же на вершине ее»*. И пробужденный от сна Иаков говорит: *«яко страшно место сие: несть сие, но дом Божий, и сия врата небесная»*. Научный факт, качество благоразумия, чувство любви, свойства общечеловеческие — все это лесенки, имеющие ступени, которые ведут вверх. Пройдемся по ним.

«Благоразумие есть добропорядочность внешних чувств, изучение наружного, видимого. Это самое объективное действие нашей души; это — божество,

промышляющее о животном. Благоразумие обращается с миром физическим, по законам мира физического; подчиняясь им, оно охраняет здоровье телесное; бодрость же духа охраняет оно своим повиновением законам духовным*. Похвальное благоразумие, или знание внешности вещей, сознает соприсутствие других законов; оно понимает, что его радение второстепенно и что его блюститель относится к оболочке, но не к самому сердцу предметов.

... Наш свет переполнен поступками и пословицами, внушенными благоразумием унизительным, обожающим одну материю, как будто в человеке нет ничего другого, кроме ушей, нёба, носа, глаз и пальцев! Как будто единственное назначение благоразумия состоит в вопросе: *«А выпечется ли из этого хлеб?»* Но развитие духа, удостоверяя нас в высоком начале видимого мира и устремляя человека к совершенству, как к внедренной цели его назначения, низводит все остальное — здоровье, богатство, земную ли жизнь — на степень средств. Подобное развитие доказывает, что благоразумие не есть какая-то особенная добродетель, но только имя, которое принимает мудрость в своих отношениях к телесному составу и к его потребностям. Благоразумие, отчужденное от других качеств, есть ложное благоразумие. Оно законно лишь в смысле естественной истории воплотившейся души, лишь в своей должности развивать пред нею многоценный свиток законов природы под тесным небосклоном ее внешних чувств.

Степени для успешного ознакомления с миром бесчисленны; для настоящего нашего обзора достаточно обозначить три. Есть такой род людей, который живет только ради *пользы* символа; в этом отделе богатство и здоровье почитаются наиважнейшими благами. Другой разряд, повысившись над предыдущими торгашами, прилепляется к *красоте* символа: сюда относятся есте-

---

* Мир внешних чувств есть мир призрачный; он существует не сам для себя, но он облечен характером символа.

ствоиспытатели, ученые, поэты, художники. Третий отдел всем своим бытием уже переступает за черту красоты символа и поклоняется самой *сущности,* для которой символ служит только отражением: это люди мудрые. Первые имеют толк, вторые — вкус, третьи — духовное предвидение. Много уходит времени, пока человек добирается до вершины лестницы, но, достигнув ее, он проникает в смысл символа и наслаждается им вполне. Око его открывается для красоты нетленной, и если он водрузит шатер свой на священной и светоносной вершине видимой природы, уже не житницы, не дома примется он там строить, но возблагоговеет пред величием Творца, которое провидится ему с лучезарностью солнца через каждую скважину, каждую расселину».

«... Есть степени и в *Идеализме.* Сперва мы играем с ним по-школярски, как с магнитом, — тою же игрушкою. Потом, в разгаре молодости и поэзии, нам мнится, что идеализм *может быть* прав, что нас достигают же некоторые осколки, некоторые проблески его правды; далее он принимает осанку строгую и величественную, в нас зарождается подозрение, что он *должен быть* прав; наконец, он является нам в смысле нравственном и практическом, и мы познаем, что *есть Б*ог, что он в нас, что все созданное есть отражение его совершенств».

«Вполне ли постиг свою науку естествоиспытатель или химик, изучивший тяготение атомов и их расположение к сродственному единению, но не уследил закона гораздо большей важности, которому химические влечения служат лишь мелким, внешним применением того закона, удостоверяющего нас, что однородное притягивает однородное? Не подземными, не сокровенными путями друг приводится к своему другу; а факты не примыкают ли сами собою к фактам, служащим им подкреплением? Друзья обретаются мне без моих поисков, их приводит ко мне Господь всемогущий. Я схожусь с ними в силу неразрывного родства всех добродетелей между собою и в силу непоколебимых их прав, одной на другую, или, говоря лучше, схожусь с ними не

я, но то божественное начало, находящееся и в нас, и во мне, рушит разделяющие нас преграды обстоятельств, лет, пола, нрава, внешнего положения и внезапно сливает многих воедино. Однако самый этот закон есть только более близкое приложение к цели, но не сама цель. Устремимся далее, и мы обретем Вездесущность».

Та же лестница восхождения и в *Любви,* в этом чувстве, «присущем всей природе как побуждение и как награда. Любовь — высшее выражение из всего дара слова человека. Любовь — это синоним Бога». Эмерсон обозревает этот величественный предмет так, как он вносится в душу, со своими обетами и упованиями, без применения к событию, потому что, говорит он: «С точки зрения разума и в смысле истины, все оказывается прекрасным, но до чего печально все изведанное по опыту. Какое уныние навевают подробности, хотя целое полно достоинства и благородства. Тяжело признаться, до чего наш мир — мир скорби и горести; до чего утомительно это господство времени и пространства, и сколько в нем кипит всеподтачивающих червей страха и забот! По милости идеала и мысли в нем благоухает и роза упоения, поочередно воспеваемая всеми музами; возможна и ненарушимая ясность духа: но, по влиянию имен и лиц, по раздроблению стремлений на вчера и сегодня, сколько, сколько в нем печального!

... Кто изъяснит нам это непостижимое чудное действие, которое при виде такого-то лица, такой-то осанки поражает нас, как внезапный луч света? Мы проникнуты радостью, нежностью и не знаем сами, откуда взялось это сладостное умиление, откуда сверкнул этот луч. И действительность, и воображение решительно запрещают нам приписывать такое ощущение влиянию организма; не проистекает оно и из тех поводов к любви и к дружбе, которые известны свету и общеприняты в нем. Как мне кажется, оно веет на нас из среды прелести и нежности неземной, из сферы, не сходной с нашей и для нас недоступной; из того края волшебств, которому здесь служат

символом розы, фиалки, лилеи, возбуждая в нас предчувствие о нем.

... Красота есть одно из сокровищ мира и всегда останется тем, чем считали ее древние: *божественною,* называя ее порою цветения добродетели. Друзья могут находить, что она (красавица) походит на отца, на мать свою, напоминает даже такое-то постороннее лицо, но тот, кто ее любит, тот знает, что она может иметь сходство лишь с тихим летним вечером, с солнечным утром, пышащим золотом и алмазами, с небесною радугою, с соловьиною песнью.

... Всего важнее то, что, когда человек приносит ее (любовь) в беззаветный дар другому, она осыпает собственно его самыми щедрыми дарами. В нем обновляется все бытие, являются новые воззрения, новый образ понятий — отчетливость, выдержка и стремления, проникнутые священною торжественностью.

... Молоденькие девочки и мальчики, которые из конца в конец многолюдной залы перебрасываются такими значительными взглядами, и не предугадывают, какой драгоценный плод созреет со временем из их теперешнего суетного желания нравиться наружностью.

... Каждое стремление, каждый обет нашей души получают исполнения неизочтимые; каждое приятное удовлетворение соответствует новой пробудившейся в нас наклонности. Природа, эта неуловимая, но безустанная прорицательница, при первом движении нежности в нашем сердце, уже внушает нам всеобъемлющее благоволение, которое поглощает в своем сиянии все расчеты себялюбия.

... И никто в мире, каковы бы ни были плоды частной опытности, никто в мире не забывает той поры, когда сила небесная охватила его сердце и думы, возродила в глазах его всю вселенную, озарила пурпурным светом всю природу, пролила неизъяснимые чары на поздние часы ночи, на ранний час утра и стала для него предрассветною зарею поэзии, музыки, изящных вдохновений.

... От беспрерывной беседы с прекрасным, великодушным, возвышенным и чистосердечным любящий достигает весьма тонкой оценки всего благородного, священного и объединяется с ними все святее и горячее. В довершение вместо того, чтобы любить все прекрасное в одном предмете, он возлюбит его во всех предметах; таким образом, прекрасная душа, взращенная им, делается преддверием, через которое он проникает в святилище, где пребывают сонмы душ правды и чистоты. Наконец, улавливая почти в каждой душе черты красоты божественной и отделяя божественную часть от порчи, заимствованной от земли, по различным ступеням высоты душ человеческих любящее сердце восходит до вершины любви, красоты и постижения божественного.

... Но если, слишком обживясь с телом, душа человеческая огрубела и видит все свое наслаждение в материальном, единственным ее достоянием будет тоска и разочарование, потому что теду невозможно осуществить обетов красоты. Если же, достойно приняв дары, приносимые ей красотою, душа, проникнув плоть, прямо устремляется к отличительным чертам свойств и любовники оценивают друг друга по выражению души в словах и поступках, тогда вступают они в храм красоты нетленной; любовь их все более возрастает, усиливается, и как от блеска солнца меркнет пламя очага, так в сиянии такой любви угасает унизительность склонностей, и все становится чисто и свято.

... Очищение сердца, просветление разума — вот истинная цель брака, цель предусмотренная, предуготовленная от начала и без нашего ведома. И когда я думаю о достижении подобной цели посредством брака, которым мужчина и женщина — два лица, одаренные свойствами столь различными и столь относительными, — соединяются на жизнь под одним кровом, в продолжение сорока или пятидесяти лет, я не удивляюсь тому, что сердце с самого раннего детства пророчит нам это верховное свершение; я не удивляюсь тому, что столько чар и приманок инстинктивно увлекают человека к брачному ло-

жу, и что все изящные искусства, все произведения ума несут свои дары и свои песни во славу Гименея.

Это путь к той любви, которая уже не знает ни пола, ни лиц, ни пристрастий, но которая всюду ищет добро и мудрость, не заботясь более ни о чем, как о приращении добра и мудрости.

... В наши дни необходимо развить такой взгляд и твердо противопоставить его тому подземному благоразумию, по внушению которого устраиваются нынешние браки, где все слова случайны, где не слышится ни малейшей посылки на мир высший и где глаз до того уставлен на хозяйство, на обиход, что в самом обмене наиважнейших мыслей все еще пахнет кухонным чадом».

«Видения любви, как они ни прекрасны, составляют лишь одну сцену в драме жизни. Нам случится дойти и до сознания, что чувства, бесценные в глазах наших, были одним кратковременным отдыхом. Не без борьбы, не без боли предметы нашей привязанности изменяются, как предметы нашего мышления. Обаятельные чары и священный призыв, преходящий по своему применению, имеют, однако, цель определенную, похожую в этом отношении на подмостки, необходимые для возведения здания, но которые должны быть сняты, когда здание окончено. Бывает пора, когда чувство вполне властвует над человеком, поглощает все его существо и делает его зависимым от одного или от многих лиц. Но отрезвление настает, дух снова начинает прозревать неизмеримую твердь, сияющую незаходимыми светилами. Жгучие привязанности, жгучие опасения, которые надвинулись на нас, как тучи, теряют свою земную тяготу и обретают Бога — венец совершенств.

... Чем возвышеннее образ дружбы, который мы носим в душе своей, — говорит он в другом месте — тем труднее его олицетворение в плоти и в крови. Друзья, призываемые нами, желаемые нами, что́ они? — не мечта, не сказка ли? Нет! вдохновенная надежда обо-

дряет верное сердце предсказанием, что там, в безграничных пределах вечности, есть души, живые, деятельные, чувствующие, которые могут полюбить нас, которых будем любить мы. И благо нам, если провели пору малолетства, легкомыслия, заблуждений и уничижений в тоске одиночества! Когда достигнем возмужалости, для нас настанет возможность протянуть руку чистую и честную другой руке чистой и честной.

«Небо обширно; в нем есть простор для всех родов любви, для всех родов доблестей».

Прекрасное, неотразимое чувство любви, божественное по своей сущности и цели. «Нам на земле, не для земли дано». Есть, однако, для нас «род *абсолютного блага,* — так называет Эмерсон *Дружбу,* — и оно обладает языком до того чистым и до того божественным, что пред ним стихает подозрительный и избитый язык любви». Указывая, как всегда, на духовный смысл наших врожденных склонностей и побуждений, говоря о дружбе, он очерчивает полный кодекс людских отношений, завязываемых на влечении сердца и, без лести, исчисляет злоупотребления, которыми мы искажаем каждое наше чувство.

«Возможно ли не обращать внимания на порыв чувства, воссоздающего для каждого из нас мир во всей его юной прелести? Что может сравниться с прямым и твердым соединением двух душ в одном стремлении, в одной привязанности, в одной мысли!

... Мы прикованы к людям разнородными цепями: родства, гордости, боязни, надежды, корысти, нужды, ненависти, удивления — просто не разберешь всех гадких поводов и пустяков; среди такой обстановки почти не верится, чтобы существовал кто-нибудь, могущий приковать нас к себе — любовью. Живет ли на свете тот благословенный, которому вы могли бы принести в дар нашу любовь? А если живет, достойны ли мы к нему приблизиться? Но я встречаю друга, душа

моя сливается с душою брата, и всепроникающее умиротворение и безмятежность моей радости возникают плодом истинным, которому все вещественное служит только как оболочка и как скорлупа...

... Почти беспрестанно при нынешнем складе общества чувствуем мы недочет в сближении с людьми, даже очень даровитыми и очень добродетельными. Сперва внимание и предупредительность стройно и мерно ограждали наши беседы; вдруг нас начинают колоть, терзать насмешками, то обдадут неуместным хохотом, то изумят падучим припадком умничания или страстности, которые приходится терпеть во имя пламени мысли и чувства. И что всего прискорбнее, цвет и благоухание самой прекрасной природы облетает и испаряется от частых столкновений с другими людьми.

... Из всего уже изведанного нами, постараемся взять себе за правило не вступать в дружеские отношения с лицами, с которыми дружба невозможна. Горячие вспышки хороши для любопытства, но не для жизни; им не до́лжно поддаваться: это ткань паутинная, а не прочная одежда. Мы безрассудно кидаемся в связи, которые не может ни освятить, ни благословить никакое божество. И ничто не наказуется так строго, как эти неравные союзы, как упущение из виду созвучия духовных сил, которые одни должны быть положены в основание жизни семейной и общественной. Еще менее прощается непризнание возвышенной души и упорство идти к ней навстречу с благородным радушием. Когда то, чего мы давно желали, сбывается и блестит над нами, как волшебный луч, исшедший из дальнего царства небес, продолжать быть грубым и язвительным, принимать подобное посещение с уличною болтовнею и с подозрительностью есть признание такой пошлости, которая в состоянии запереть себе все пути в Эдем.

... Преступники — говорят — находят большую усладу в том, что могут обходиться по-панибратски со своими соумышленниками. Но возможно ли так обходиться с теми, кого любишь, кому удивляешься?

А между тем, недостаток самообладания портит все отношения дружбы, потому что нет глубокого мира, нет обоюдного глубокого почтения между двумя душами, из которых каждая не служит другой полною представительницею вселенной.

... Любовь, это свойство Бога, созданная на увенчание всех достоинств человека, создана не для безрассудных. Не будем, для удовлетворения неспокойствия сердца, поддаваться ребяческому увлечению, но станем руководить им с разборчивою мудростью. Пойдем на встречу к другу с твердою верою в правду его сердца, в глубину его бытия, а не с преступною самонадеянностью, что нам стоит только захотеть, чтобы все в нем предать волнению.

... Добрые люди смотрят на дружбу как на удобство; это — обмен подарками, маленькими и большими услугами, это — соседи-гости, уход во время болезни, присутствие и слезы на похоронах... Мы подступаем к своим друзьям не с благоговейною почтительностью, а с каким-то прелюбодейным желанием поскорее прибрать их к рукам. Непростительно и для поэта, говоря о дружбе, делать из нее прекрасную, но призрачную ткань, забывая, что основу ее составляют все свойства великой души: справедливость, точность, верность, сострадание. О, я хотел бы, чтобы такая дружба была с руками и с ногами, а не с одними выразительными глазами да красноречивыми устами! Я бы хотел, чтоб она сначала сделалась достоянием земли, а потом уже — достоянием неба; чтобы она была добродетелью человеческою, а не одною ангельскою.

... Законы дружбы величественны, непреложны, вечны, как законы нравственности и природы. Мы же ищем в дружбе маленьких, скореньких выгод и льнем губами к только что предложенной отраде. С каким легкомыслием бросаемся мы срывать едва завязавшийся плод, который созревает медленнее всех в вертограде Господнем и должен быть снят по прошествии многих зим и многих лет. Чтите медленный ход

природы: она употребляет тысячелетие на образование и отвердение алмаза. Небесные гении нашей жизни не впускают в свой рай необузданную отвагу.

... Но как ненавижу я всуе расточаемое имя дружбы, которое дают прихотливым светским отношениям! Я предпочитаю общество угольщиков и чернорабочих этим друзьям, разодетым в шелк и бархат и празднующим свое соединение катаниями, обедами в лучших ресторанах и разными другими пустыми забавами.

... Дружба дана нам на ясные дни, на доказательства сердечного участия, на приятные уединенные прогулки по полям и лугам, но с тем вместе и на стези трудные, утомительные; она дана нам на бедность, на гибель всего остального, на злые гонения; хороша она для остроумной болтовни, хороша она и для восторга, стремящегося к Богу.

... Купим ценою долгого испытания право вступления в подобное общество. Как сметь нарушать святыню душ прекрасных и благородных? домогаться насильственного в них втеснения? К чему с излишней поспешностью завязывать личные отношения с другом? желать быть принятым в его доме, познакомиться с его матерью, сестрами, братьями, зазывать его к себе? Это ли составляет важность союза?.. Заискивания, торопливость — прочь! От них скорее грубеет и вянет дружба. О, пускай мой друг будет для меня духом! Пускай кое-когда получу я от него весть, дар одной мысли, взгляда, слова искренности, поступка прямоты — с меня довольно; но прошу избавить меня от его соусов, от пустых россказней.

... Как смотрите вы на великолепное зрелище? На некотором расстоянии, не правда ли? Точно так же смотрите и на вашего друга. Дайте ему простор и место выказать свои качества, развернуть их, в них установиться. У него есть достоинства, не точь в точь те же, что у вас, и которым вы будете не в состоянии дать и цены, если сожмете его в своих объятиях. Что вы в самом деле, друг ли пуговиц на платье вашего друга или наперсник его лучших дум? Для великой души друг долго должен оставаться чуждым во многих от-

ношениях, для того чтобы тем ближе сойтись с ним на святой земле прекрасных обетований.

... Малейшее сомнение в трехкратно священном союзе дружбы есть уже вероломство. Она вся должна быть прямота, великодушие, доверенность; должна откинуть всякую тень подозрительности, недоверчивости и смотреть на своего избранного как на божество для того, чтобы два существа человеческих, основавшие между собою союз дружбы, были, так сказать, *обожествлены,* каждое посредством другого...

... Иногда бывает необходимо сказать «прости» и самым дорогим друзьям. «Расстанемся, я не могу долее оставаться в порабощении. Но, о брат мой, разве ты не видишь, мы расстаемся оттого, что еще слишком велика наша любовь к самим себе; после этой разлуки мы встретимся опять на вершинах более возвышенных и будем полнее принадлежать друг другу».

... Еще недавно утвердилось во мне убеждение, что — несмотря на общее в том сомнение — очень совместимо и с нашим достоинством, и с нашим величием быть другом и в таких отношениях, где и дружба неравна. К чему опечаливаться тем грустным фактом, что друг мой не понимает меня? Заботится ли солнце о том, что несколько его лучей падают на бесплодную пустыню? Постараемся, постараемся вдохнуть наш жар и наше великодушие в холодную, замкнутую грудь нашего собрата. Если мы отовсюду найдем в нем отпор, тогда отвернемся, предоставим его воле делаться спутником существ низких и грубых. Велика будет наша скорбь при мысли, что от него уже отвеяло великодушное пламя, что ему уже не направить своих крыльев к жилищу богов ... единственным врачеванием такой печали то, что кругозор вашей любви расширился от чрезмерности света и тепла, которые мы изливали на него.

«Вообще полагают, что любовь не взаимная есть какое-то унижение, но великие души знают, что любовь

не может остаться без награды. Истинная любовь немедленно перерастает предмет недостойный, водворяется в вечности, живет вечным, и в час, когда падает жалкая личина, истинная любовь чувствует, что развязалась с горьким юдольным и что теперь за нею упрочена ненарушимая независимость».

В «Опытах» есть несколько беглых заметок о часто встречаемом недовольстве своим уделом; большою мудростью проникнут также смысл так называемых незаслуженных страданий. Мы предложим некоторые из них вашему вниманию. Эмерсон один из тех редких людей, которые, умея затронуть живой вопрос, касающийся и волнующий всех, умеет и дать на него возможно удовлетворительный ответ, то есть пригласить нас бросить высокорелигиозный и философский взгляд на непонятные, но несомненно мудрые условия, которым подчинены «скитальцы планеты, покоящейся на преданиях, им и преждевременных, и чуждых».

«То, что мы называем безвестною долею, ничтожною средою, может быть долею и средою, к которой бы с радостью приблизилась поэзия и которую вы сами можете сделать и славною, и завидною: освойтесь только со своим гением и говорите искренно то, что думаете. Несмотря на разницу положения, будем брать пример с царей. Обязанности гостеприимства, семейные связи, думы о смерти и о множестве других предметов озабочивают мысли царей. Да озабочивается ими и всякий царственный ум: придавать этим вещам все более цены и значения — вот возвышение».

«... Много уходит времени, пока мы узнаем, до чего мы богаты. Мы готовы божиться, что история нашей жизни лишена всякой занимательности: нечего было замечать, не в чем добраться толку. Но годы большого умудрения обращают нас к покинутым воспоминаниям прошедшего; из этого волшебного озера вылавливаем мы то ту, то другую драгоценность и доходим до убеждения, что даже

биография этого вертопраха есть только сокращенное истолкование сотни томов всемирной истории».

«... Если наше сердце переполняется восторгом, слушая повествование о твердости души такого-то грека, о величии такого-то римлянина, это знак, что подобные чувства уже сделались доступны нам самим. Дивные образы Перикла, Колумба, Баяра, носясь пред нашим воображением, не доказывают ли нам, до какой степени мы опошляем нашу жизнь без всякой надобности, тогда как, живя всею глубиною жизни, мы украсили бы наши дни великолепием более нежели царским, более нежели патриотическим, присовокупив к тому действия по таким началам, которые касались бы и человечества, и природы во все продолжение нашего существования на земле».

«... Тогда выясняется пред нами обязанность осознать, с первых шагов и от первой ступени лестницы восхождения, что одни предосудительные мнения, по одной своей привычке, все обусловливают временем, местом, пространством, числом. И зачем словам — Греция, Рим, Восток, Италия — так сильно потрясать наш слух? Будем лучше стараться о том, чтобы в нашем, повидимому, тесном жилище, на нашей еще незнаменитой родине устроить храм, достойный вмещать великих посетителей. Поймем наконец и прочувствуем, что там, где жива душа, туда нисходят и музы, и боги, а не на такое-то место, ознаменованное географическим положением. Этот факт важен! Он основа для вас.

... *Старость, время, пространство* ничто иное, как мерила, совершенно противоположные сущности души. Мы доходим до убеждения, что есть молодость, что есть старость — другие, независимые от числа годов нашей жизни. В отношении некоторых идей мы всегда молоды и вечно останемся такими. К этому числу принадлежит идея о красоте всемирной и вечной. Созерцая ее, человек удостоверяется, что она достояние веков безграничных, а не существования земного.

... Природа не любит отжившего и, действительно, одряхление кажется мне одною положительною болез-

нью: в нем скапливаются они все. Мы называем их разными именами: горячкою, невоздержанием, сумасшествием, идиотизмом, но, заметьте, как в своем характере они сходны с дряхлостью. Они, как и она, любят неподвижность, негу, присвоение всего себе; леность — а не освежающую новизну, не самопожертвование, не порыв, увлекающий вперед. Волосы наши седеют, но я не нахожу никакой надобности дряхлеть нам самим. Нет! Сделайте из себя орудие Св. Духа, храните любовь, возделывайте истину, и взор ваш поднимется, морщины разгладятся; вас окрылит еще надежда; вы станете бодры и крепки. Всякий раз, когда мы беседуем с теми, кто выше и лучше нас, мы молодеем, а не старимся.

... Характер уменьшает едкость личных ощущений, украшает определенный текущий час, одушевляет бодростью и окружающих, указывая им, сколько есть еще на земле достойного и превосходного, о чем они и не помышляли.

... Всякая деятельность умственных способностей тоже освобождает нас в некоторой степени из-под власти времени. В моей болезни, в моем изнеможении — дайте мне глубокую мысль или живую волну поэзии — и я освежен; откройте предо мною том Платона или Шекспира — и чувство бессмертия сказывается моему сердцу.

... Посмотрите, до чего величие и божественность мысли стирают во прах века, тысячелетия и живут помимо их, теперь, в этот самый час. Учение Христово менее ли производит действие в наше время, чем в те дни, когда Он впервые изрек Свое божественное слово?»

О наших превратностях:

«Пока нас не потерзают и не пожалят, пока вражьи силы не пустят в нас своим зарядом, в нас не пробуждается то благородное негодование, которое привыкает

искать себе обороны в мощи духа. Великому человеку очень бы хотелось оставаться маленьким человеком. Пока он лежит на пуховиках удачи и приволья, он дремлет, засыпает. Но когда его примутся толкать, бить, колоть, — пинки преподадут ему урок, и он отрезвится, возмужает. Ему станут знакомы и обстоятельства, и его собственная неопытность; он излечится от безумных мечтаний, приобретет смышленность и настоящую разумность».

«... Могущество человека в нем самом; надобно поступать по этому правилу. К чему обуреваться то страхом, то надеждою? Его природе вверены прочные блага; он наделен возможностью умножаться и усиливаться во все продолжение жизни; блага же случайные могут возрасти и опасть, как осенние листья. Станем ими играть, бросать их на все ветра, как мгновенный признак неистощимости нашей производительной силы».

... Душе неизвестны ни безобразие, ни муки. Если бы в часы светлых провидений, в те часы, когда душа вполне владеет своим величием, нам привелось изречь сущую истину, мы, вероятно, бы сознались, что не понесли никакой невознаградимой утраты. Такие-то часы убеждают нас, что нам невозможно потерять ничего из истинно важного. Бедствия, лишения — это все частности, целое остается неприкосновенным в нашей душе. Признаемся, что есть некоторые преувеличения в рассказах людей самых терпеливых и самых жестоко испытанных; признаемся, что, может быть, никто в мире не описал свои страдания так просто и правдиво, как бы это следовало. В сущности, в нас изнемогало, нас обуревало конечное, между тем как бесконечное покоилось в своем улыбающемся безмятежии.

... Перемены, в небольших промежутках нарушающие житье-бытье людей, суть увещания природы, по законам которой всему надлежит расти и развиваться. Увлекаемая этою основною необходимостью каждая душа бывает по временам принуждена изменять свой быт, свой круг друзей, свои мнения и свои верования; так моллюски покидают время от времени свои кра-

сивые раковины, сделавшиеся тесными и задерживающие их рост; должно сызнова приниматься за медленное устройство нового известкового жилища. Учащение таких переворотов соответствует бодрости сил индивидуума: они беспрерывны для некоторых счастливцев; в таком случае все их внешние отношения имеют простор и, не касаясь того, что составляет их истинную жизнь, облегают их тонкою прозрачною плевою, а не сдавливают тяжелым неуклюжим зданием, построенным в разное время, без толку и без цели, подобным тем, в которых мается большая часть людей.

Человеческая природа эластична, она способна возобновляться так, что сегодняшний человек едва может узнать себя вчерашнего. И такова должна бы быть летопись жизни человека в его отношениях к временному: ежедневное высвобождение из-под теснин отжитого, сходное с ежедневною переменою одежды. Но для нас, живущих с такою нелепостью, тупо и упрямо приспосабливающихся на одном месте, вместо того, чтоб идти вперед, — для нас, противодействующих, а не содействующих божественным призывам, наш рост сопровождается потрясениями и припадками.

И нам ли расстаться с нашими друзьями, нам ли выпустить из объятий наших ангелов? И нам ли заметить, что если скроются ангелы, то их место займут архангелы! ... Все мы идолопоклонники старины. Мы не верим в сокровища души, в ее могущество, в ее вечное бытие. Мы не верим, что в мире есть сила, могущая войти в соперничество с тем, что казалось нам прекрасно вчера, что в мире есть сила обновления. Мы не можем решиться покинуть те ветхие шатры, где нашли питье, еду, кров и радости; мы не можем уверовать, что дух промыслит для нас в другом месте кров, пропитание и опору. Мы не можем вообразить себе ничего милее, дороже, слаще изведанного. Но напрасно усаживаемся мы и начинаем плакать. Голос Всемогущего говорит нам: Встань и иди! Оставаться среди развалин нельзя, ступить вперед —

страшно; и похожи мы на какие-то чудовища, идущие вперед, с головою, повернутой назад.

«Но время настает, и самому нашему разуму становятся понятны воздаяния, следующие за бедствиями. Болезнь, увечье, потеря друзей и состояния кажутся нам на первых порах несчастием, и неисправимым, и ничем не облегчимым. Но годы неминуемо растолкуют нам глубокий смысл врачевания, скрытого под такими испытанниеми. Смерть, лишающая нас друга, брата, жены, возлюбленного, со временем являет их нам под видом доброго гения, верного руководителя. Подобные потери, всегда производя в жизни некоторый переворот, полагают конец эпохи детства или молодости, которым уже настала пора прекратиться; они выводят нас из застоя привычек, устаревшего образа жизни, занятий и дают нам возможность вступить в новые отношения, чья несомненная важность и благодетельное на нас влияние обнаружатся в будущем. И тогда мужчина или женщина, которые остались бы похожи на садик, где есть и цветы, и солнце, но где от тесноты корни деревьев переплетаются, а вершины сохнут от солнцепека, — благодаря падению ограды делаются подобны величественному банану, принимающему под свою сень и питающему своими плодами бесчисленное множество людей.

«Земной шар в глазах Божьих, — не что иное как прозрачный закон, а не сплошная и стоячая масса фактов». Эмерсон был допущен снять густое докрывало с этой стоячей и сплошной массы и увидел повсеместную деятельность и незыблемость *нравственных законов.* Их ход строен и неуклонен, как у небесных светил. Они ограждают незримый мир нашей души, на каждом шагу служат опорою своему блюстителю и обличают их пренебрежителя, они свершаются и торжествуют всюду. Свидетельство о них всего поразительнее выражено в «Возмездии»; позвольте мне, однако, представить некоторые черты из их проявлений и в других отношениях.

Основанием всего нравственного, даже великого и прекрасного, считает Эмерсон честность и правду в словах и поступках, доброе расположение в намерениях, искренность и чистоту в духе действий.

«Всякое действие эластично до бесконечности, и смиреннейшее из них способно проникнуться отблеском небес. И, во-первых, будем исполнять свои обязанности! Какая мне стать углубляться в деяния великих римлян и греков, когда я, так сказать, не умыл еще своей хари и не оправдал себя пред моими благодетелями? Как сметь мне зачитываться о подвигах Вашингтона, когда я не отвечал еще на письма моих друзей?»

«Сколько слов и обещаний оказываются обещаниями салонов, тогда как они должны бы быть непреложны, как приговор рока».

«Люди ветреные, непредусмотрительные, всюду опаздывающие или являющиеся невпопад, портят более нежели свои дела: они портят нрав тех, кто имеет с ними дело.

«Всякое нарушение истины есть не только некоторый род самоубийства для души, свершающей такое преступление, оно есть притом удар кинжала в самое сердце человеческого общества».

«Мы выдумали очень громкие слова для прикрытия нашей чувственности, но никакой талант в мире не может облагородить привычек невоздержания. Даровитые люди делают вид, что нарушение чувственных законов считают пустяками в сравнении со своим благоговением к искусству, но искусство вопиет за себя и уличает их, что никогда не наставляло ни на кутеж, ни на разврат, ни на наклонность собирать жатву там, где ничего не было посеяно. Искусство их понижается с каждым понижением нравственности; умаляется от каждой погрешности против здравого смысла. Пренебрегаемые основы мстят своим презрителям, и пренебрегший малыми вещами погибнет от несравненно малейших».

«Когда убедимся мы, что вещь, сказанная словами, нисколько ими не утверждена? Она утверждается сама

собою, по своей внутренней ценности; не то никакие риторические фигуры правдоподобия и словопрения не придадут ей характера неоспоримой очевидности. Только жизнь порождает жизнь. Я не думаю, чтобы доводы, не трогающие меня за живое, не касающиеся сущности моего бытия, могли чрезвычайно поразить других людей. Писатель, извлекающий свои сюжеты из всего, что жужжит вокруг ушей, вместо того, чтобы выносить их из своей души, должен бы знать, что он потеряет гораздо более, чем выиграет. Когда его друзья и половина публики откричит: что за поэзия! что за гений! – вслед за тем окажется, что это пламя не распространяет никакой живительной теплоты. Не шумные чтецы только что появившейся книги устанавливают ее окончательный приговор, его изрекает публика неподкупная, бесстрашная, неподвластная пристрастию; публика похожая на небесное судилище. Блекмор, Коцебу, Поллокс могут продержаться одну ночь, но Моисей и Платон живут вечно.

... Точно так же, по глубине чувства его внушившего, может быть разочтено впечатление, производимое поступком.

«Мать всякого подвига есть мысль, и самая плодотворная деятельность совершается в минуты безмолвия. Не шумные и не видные факты женитьбы, выбора и снискания должности, поступления на службу кладут на нашу жизнь неизгладимый отпечаток; его производит тихая дума, посетившая нас во время прогулки, — у опушки леса, на окраине дороги, — дума, которая, обозрев всю нашу жизнь, дает ей новый оборот, говоря: «Ты поступил так, а лучше бы поступить иначе». Такой обзор, или, лучше сказать, такое исправление предыдущего, есть сила неизменная; она похожа на толчок, данный телу, но она направлена на нашу внутреннюю жизнь и сопутствует ей до последних пределов».

«Человека постоянно мудрого нет; неперемежающаяся мудрость существует только в воображении стоиков. Возвышенность надежд и ожиданий — вот

по чему познается мудрец, потому что предугадание сокровищ вселенной есть залог вечной юности».

«Наша жизненная стихия — истина; но если человек вперит внимание на один из частных видов истины и долго и исключительно посвятит себя на рассмотрение одного этого вида, — истина становится не истиною, она развенчивается, она делается похожа на ложь. Как несносны френологи, грамматики, фанатики политические и религиозные, вообще всякий смертный, обуянный одной идеей и потерявший от нее равновесие рассудка. Это уже начало безумия. Каждая мысль может стать темницею».

«Природа человека симметрична, она не любит ни односторонности, ни крайностей. Добрый человек должен быть в то же время и человеком мудрым, и великий политик — человеком великого простосердечия. Поэзия и благоразумие должны бы быть тождественны. Если бы эта тождественность существовала на деле, законодателем был бы поэт, и самое выспренное лирическое вдохновение служило бы не поводом к укору и к оскорблению, а к обнародованию кодекса просвещения и гражданственности, к распределению трудов, занятий и назначений каждого дня».

«Теперь все свойства непримиримо разлучены; но пора бы им помириться. Возможно ли, чтоб благоразумие, доставляющее внешние блага, было предпочтительною наукою такого-то кружка людей, между тем как другой кружок посвятит себя изучению героизма, святости и тому подобное? Не знаю, убедятся ли когда-нибудь в том, что весь материальный мир образован из одного газа, — водорода ли, кислорода; но мир нравственный положительно выкроен из одного целого — неделимого; начните откуда угодно, вам скорее придется удостовериться, что необходимо протвердить десять нам данных заповедей».

«Правила умственных обязанностей совершенно параллельны правилам обязанностей нравственных. Полное самоотвержение требуется от мыслителя, как

и от поборника святости. Мыслитель должен возлюбить истину: за нее отдать все на свете и предпочесть горе и бедствия, если они необходимы для приращения сокровищ его мысли».

«Гений всегда религиозен: он получает больше души, нежели другие люди, и не кажется от того анормальным, но более человечным. Все великие поэты так полно человечны, что это достоинство превосходит все прочие их совершенства».

«Ход событий превращает в разорительную дань самую прибыльную ложь, тогда как искренность оказывается наилучшею политическою мерою, потому что, вызывая откровенность, облегчает взаимные отношения и превращает сделку в дружбу».

«Мир полон дней Страшного Суда. Ни одно искреннее слово не пропадает даром, ни одно движение великодушия не исчезает бесследно. Попробуйте скрыть тайну от того, кто имеет право знать ее, — не успеете: сама тайна выскажется ему. Если вы не хотите, чтоб некоторые ваши поступки были известны, — не делайте их. Тут не поможет ни укрывательство, ни самообладание. Есть обличения и во взгляде, и в пожатии руки. Зло осквернило этого человека и уничтожает все добрые впечатления, которые он еще производит. Не знаешь, почему нельзя ему довериться, но чувствуешь, что довериться нельзя. С другой стороны, прекрасной душе нечего опасаться, чтобы тайные дела ее бескорыстия, справедливости и любви могли оставаться без сочувствия. Одному, по крайней мере, человеку известно и доброе дело, и благородное намерение, его внушившее, но он уверен, что скромное умалчивание послужит ему лучше подробных рассказов. Этот свидетель похвального поступка — он сам, его свершитель. Он заявил им свое благоговение к законам вечным, и законы вечные, в свою очередь, воздали ему невозмутимым миром и самодовольством».

«Всю жизнь мучимся мы суеверным страхом, что нас проведут, обманут. Не бойтесь! Есть, есть третье

лицо, безмолвно присутствующее при всех наших сделках и соглашениях: оно берет на себя ответственность за всякое условие, оно наблюдает за тем, чтобы всякая честная услуга получала свою надлежащую мзду. Это третье лицо – дух наших действий».

«... Ничто великое не свершается без восторга. Пути жизни дивны: в обхождении с нею нужна доверенность».

«... Мы взаимно распознаем, каков дух в каждом из нас. Иначе как объяснить, на чем основана способность отгадывать настоящий характер человека, хотя он ни словами, ни делами не обнаружил его? И мы до такой степени постигаем друг друга, что от нас не скрываются оттенки действий и слов, внушенных прекрасным побуждением или вынужденных обстоятельствами. Но кто здесь судья? Не ум наш, не хитрость, не знание. Сама сущность жизни и данная ей проницательность наделены этим диагнозом».

«... Неразрывная связь между добром и природою неволит все и всех смотреть на порок враждебным оком. И прекрасные законы, и все существующее в мире преследуют и бичуют злодея. Он более, чем мы с вами, убежден, что все на земле подчинено только истине и добру; что на всем ее протяжении нет места для негодяя, нет места для тайны. Преступление совершено, и кажется, будто по всей земле разостлана та легкая пелена снега, которая указывает охотнику, куда пробежал заяц, порхнула куропатка, где скрылась белка, лисица. С другой стороны, закон возмездия служит несокрушимою опорою всякому действию чистосердечия. Великодушный человек обладает верховным благом, которое, как огонь, все очищает и все заставляет являться в настоящем виде, так что ничто не в силах ему повредить. Различные бедствия, болезни, обиды, нищета, делаются его благоприятелями: *«Воды приносят, ветры навевают мужу добра — силу, бодрость, превосходство; а между тем сами по себе воздух и вода — ничто»*.

«Вообще, всякое несчастье, не одолевшее нас, становится нашим благодетелем. Мы вбираем в себя силу

искушения, которое мы превозмогли: так житель Сандвичевых Островов думает, что в него входят крепость и отвага убитого им неприятеля.

«... Не по деспотическому определению, а вследствие условий человеческой природы лежит покрывало на завтрашнем дне. Оно приучает детей земли довольствоваться днем настоящим, сдерживать недостойную пытливость, жить и трудиться, трудиться и жить, предавая себя течению времени, которое внесет нас в глубокие тайны вечности и природы. Душа предлагает нам на изучение одну задачу: причины и последствия. Упражняясь в ней, в труде и в жизни, мы незаметно вступим в новый круг отношений, где вопрос и ответ уже безразличны.

«... В нравственном чувстве заключается залог и умственного усовершенствования. Люди, освоившиеся со смирением, со справедливостью, с истиною, с жаждою лучшего, уже стоят на выси, до которой не достигают ни науки и искусства, ни красноречие и поэзия, ни ловкость и деятельность. Нравственная чистота идет впереди этих благовидных отличий, которым мы придаем столько цены. Добрые, простые души, будто вследствие неразлучной способности парить, возносятся не к такому-то роду добра, но к сути всякого добра, приближаясь к Вседержителю. Сердце простодушное и вверившее себя Всевышнему уже состоит в связи со всем, что сотворил Он и достигает до божественного поприща, несмотря на своеобразность первоначальных способностей и познаний, потому что, возвысившись до первого и первенствующего факта любви божественной, мы из далеких пределов внешней окружности мгновенно переносимся в самое средоточие вселенной; оттуда обозреваем мы причуды и начала, оттуда царим над всем созданным, которое есть не что иное, как слабое и тусклое отражение действительности»

«... Одним повиновением законам высшим можем мы достигнуть праведности и героизма. Вера и любовь, или, лучше сказать, верующая любовь, одна в состоянии облегчить невыносимое бремя забот и раздумий.

О братья мои, Бог существует! В средоточии вселенной есть Дух, который до того царит над всем человечеством, что никто не нарушит порядка мироправления. Этот Дух до того преисполнил все созданное неизочтимыми благами, что, следуя Его велениям, мы благоденствуем; если же хотим нанести вред Его созданиям, наши руки опускаются онемелыми или раздирают собственную грудь нашу. Весь ход вещей, весь их порядок научает нас верить. Нам нужно только повиноваться».

Возмездием доказывается кругообразное свойство каждого человеческого действия. «Еще с детства, — говорит Эмерсон, — мне хотелось написать кое-что об этом предмете, о котором жизнь поучает нас лучше, нежели богословие. Недавно опять возбудилось во мне это желание, по случаю проповеди, в которой излагалось, что нечестивцы имеют здесь дома, деньги, а праведники живут в нищете, в пренебрежении, но пусть подождут: их ожидает вознаграждение. Чем? — не капиталами ли, не шампанским, не страсбургскими ли пирогами?»

«Если награда добрых состоит в назначении благословлять и молиться, любить людей, помогать и служить им, так не то же ли делают они и теперь?.. Но ослепленный проповедник, вместо того, чтобы поставить человека лицом к лицу с вечною Истиною, вместо того, чтобы показать, какими сокровищами может обогатиться душа, каким могуществом окрылиться благая воля, ставил пред Судилище — мертвецов, и на этом основании водружал два знамени: для добра и для зла, для успеха истинного и подложного. Верование в возмездие, — продолжает он, — могло бы указать людям один из лучей Божества, вездесущее присутствие Мироправителя; такое верование могло бы наполнить душу человека морем любви и приблизить его к достойному сообщению с Тем, Который был, есть и будет. Оно могло бы сделаться путеводною звездою, и в часы

мрака, на трудных путях жизни, предохраняло бы нас от многих заблуждений, даже от погибели».

... Все во вселенной проникнуто нравственным началом. Эта сила всемогуща. Все существующее в природе чувствует над собою ее власть: *она в мире, и мир через нее произошел.* Она вечна, она не медлит правосудием и неуклонно держит весы между всеми отделами жизни: «боги всегда остаются в выигрыше». Каждый поступок уже содержит в себе свою реакцию, или, говоря иначе, каждый поступок совершается под двояким видом: во-первых, *в сути,* то есть в своей действительной природе; во-вторых, *в факте*, или в природе мнимой, кажущейся. Люди называют возмездием факт, тогда как *беспосредственное* возмездие неразлучно с сутью и видимо только душе.

... Закон возмездия правит странами и народами, и ни на иоту не уклоняется от своей цели. Против него тщетно злоумышлять, строить козни, придумывать средства обороны: сама суть вещей не поддается продолжительному дурному руководству. Гибельный произвол, пошлая искусственность не благославляются долготою дней. Бедствия, причиненные злом, могут быть скрыты, но они существуют и непременно выйдут наружу. Раны, нанесенные обидою, могут выказаться не сразу после обиды, но они выкажутся, потому что это обида положительно нанесла их.

«... Проступок и кара растут на одном стебле. Кара — это плод, который, сам того не зная, срывает виновный в одно время с цветком наслаждения, прикрывающим плод. Причина и следствие, средство и конец, семя и плод — ничто из этого не может быть разрознено одно с другим, потому что последствие уже содержится в причине, конец предсуществует в средстве, а плод в семени».

«А между тем, мы, тогда как мир силится воспроизвести единство и удержать его неприкосновенность, — мы пытаемся действовать частями, отрывками, все разрознить, всюду прибрать к рукам то одно, то другое. В уго-

ду чувственности мы отделяем, например, материальное наслаждение от потребностей сердца и ума, и наша наивность все тщится разрешить задачу, как бы похитить чувственную усладу, чувственное могущество, чувственный блеск, помимо нравственного наслаждения, нравственной твердости и нравственной красоты».

«... Душа говорит: есть надобно — и тело задает себе пиры. Душа говорит: мужчина и женщина составят одну плоть, один дух — а тело соединяется с одною плотью. Душа говорит: властвуй над всем для торжества добра — а тело похищает власть для порабощения всего своим целям. Сильно борется душа наша за то, чтоб жить, чтоб действовать наперекор всем противопоставляемым препятствиям. Этот факт должен бы сделаться нашим единственным руководителем, и тогда бы все прочее воссоединилось и спаялось: и могущество, и радости, и знание, и красота. Но как поступаем мы? Нет такого индивидуума, который бы не обосабливался и не искал во всем себя; он торгует, ездит верхом, наряжается, пирует, правит миром — напоказ. И как не возвеличивать себя людям! Как не гоняться им за богатством, за властью, за саном, за знаменитостью, тем скорее, когда они мнят, что, сделавшись сильны и богаты, они станут вкушать в мире одни сласти и обойдут другую его сторону — горечь. Но закон природы не поддается такому дележу, и приходится признать, что от начала мира даже до сего дня ни один подобный посягатель не имел ни малейшего успеха. Лишь только мы попробуем выделить себе часть из целого, то наберем себе удовольствий — без удовольствий, доставим себе выгоды — невыгодные, облечем себя властью — не властвующею».

«... Жизнь наша обставлена условиями, которых обойти нельзя и которые глупцы стараются обойти. Они хвастаются тем, будто подобные условия им неизвестны и их не касаются; но их похвальба на одних только устах, между тем как их душа испытывает весь фатализм этих постановлений. Если они увернутся от них с одной сто-

роны, то будут задеты ими с другой, и в самое живое место. Если они, по-видимому, выскользнули совершенно, это знак того, что в них погублена настоящая жизнь, что они продали, предали самих себя, и тогда карою им — окончательное омертвение. Велика ошибка домогаться каких бы то ни было благ, помимо неразлучных с ними обязанностей: лучше не приниматься за невозможное осуществление. Если же безумие вовлечет кого в подобную попытку, тогда противозаконность *восстания и хищения* немедленно и неотвратимо ведет за собою помрачение чистого разума: человек перестает видеть Бога во всей Его полноте, в каждом из предметов; они станут представлять ему тогда одну чувственную приманку, а он будет лишен способности распознать в то же время невыгодную сторону таких приманок. Он увидит голову сирены, хвоста же дракона не увидит и возмечтает, что добыл то, что ему хотелось и отвязался от того, что не было ему в угоду. О как таинственны пути твои, живущий на небесах Господи! Неустанные судьбы твои наводят слепоту на глаза людей, предающих себя необузданным влечениям» *(Блаженный Августин).*

«Со всякого излишества, со всякого злоупотребления видимо и невидимо взимается пеня. Какова чистая прибыль человека, получившего сотни одолжений и не оказавших ни одного? (Это считает Эмерсон единственною *мерзостью* во вселенной.) Или что приобрел этот лентяй, тот хитрец, пробавляющийся вещами, лошадьми, деньгами своего соседа? Не тотчас ли образуется неравенство отношений? С одной стороны, обозначается зависимость, с другой — превосходство; и часто приходиться убеждаться, что лучше бы отбить себе ноги о мостовую, чем влезать в кареты добрых людей.

... Платите за все, не то, рано или поздно, придется выплатить долги сполна. Люди и события могут протесниться между вами и правосудием, но это только на время: вы все-таки должны будете расквитаться.

«... Вследствие незыблемого действия и противодействия все имеет свою двоякую сторону, и обман не удер-

живается нигде. Вор обкрадывает самого себя, мошенник плутует над самим собою, потому что подлинная чистая плата за труд — это добро и знание; наружным признаком служит им благосостояние и общественное доверие. Конечно, эти признаки можно украсть и подделать, как фальшивые ассигнации, однако же того, что они представляют, то есть добра и знания, не украдешь, не подделаешь. Эта цель труда достигается только действительным упражнением способностей духа и повиновения побуждениям чистым и бескорыстным. Плуту, игроку, тунеядцу ли захватить эти блага, это понимание природы физической и нравственной, которые даются рачительности и неутомимости добросовестного труженика? Закон природы таков: соверши это дело, и ты обогатишься силою, скрытою в нем; у тех же, которые дела не делают, откуда возьмется их сила!

«... Мы ошибочно думаем, что зло не получает здесь своей мзды, потому что преступник упорствует в своем пороке и не сознается в своей каре, потому что видимый суд редко над ним совершается, потому что ни пред ангелами, ни пред людьми он не расторгает гласно своей связи со злоупотреблением. Но чем более таит он в себе лжи и коварства, тем более утесняет свое настоящее бытие, и рано или поздно, уличение в дурных делах сделается ясно и для его понимания; мы можем не видеть этого, но мертвящие следствия зла лягут верным итогом на счетах вечного правосудия».

«... Мы сказали, что за всякое внешнее благо платить следует (заботами, тяжелою ответственностью и проч.), и если оно досталось вам незаслуженно, без пота и труда, то может и исчезнуть при первом дуновении ветра. Тем не менее, все блага, какие только есть в мире, принадлежат душе и могут быть куплены на монету, подлинную, узаконенную, отчеканенную и пущенную в оборот самою природою, то есть ценою труда, от которого не отопрется ни наше сердце, ни голова».

«... Но за вечные блага добра и мудрости не взимается никакая пошлина. Мы не покупаем ценою какого бы

то ни было лишения наших приобретений духовного усовершенствования. Не положена пеня за добро и его действия; не положена пеня за мудрость: добро и мудрость — не что иное, как придаток вечного Естества к отдельному естеству человека. В любви, в знании, в красоте не может быть излишеств, когда созерцаешь эти свойства и эти дары в их чистейшей сущности. *Я есмь,* в точном смысле слова, тогда, когда совершаю то или другое дело добра; таким действием я распространяю свет, я вношу победоносное знамя в пределы хаоса и ничтожества и вижу, как мгла редеет на небосклоне».

Убеждение в безграничном усовершенствовании изложено в «Опыте», названном *«Круги»*. В нем рассматривается другой порядок отношений, по которому каждое действие и свойство человеческое превосходится другим. Вот главные мысли, касающиеся этого предмета.

«Жизнь наша есть не что иное, как умудрение в школе Истины. Каждое действие может быть превзойдено другим; около каждого круга можно обвести другой. В природе нет конца, всякое окончание есть новое начинание, под каждою глубиною открывается глубина еще большая.

Первый круг — наш зрачок, второй — горизонт, им обнимаемый. Это самое основное очертание воспроизводится до бесконечности во всей природе, и мы в продолжение всей жизни изучаем по складам беспредельный смысл этого первоначала всех форм. Он символизирует нравственный факт усовершенствования вечно привлекательного и никогда не досягаемого. Мы все верим в возможность выше и лучше прежних и теперешних проявлений человеческого существования.

На пути своего развития изнутри во внешнее, как свет, исходящий из небесного светила, как кремень брошенный в лоно вод, душа наша беспрестанно расширяет круг своих действий и обозрений. Лучи ее сначала озаряют предметы ближайшие: игрушки, домашнюю утварь, кор-

милицу, слуг, дом, сад, прохожих, словом, круг семейного быта; потом они падают на науку, на знания политические, исторические, географические. Но, по условию нашего бытия, все сгруппируется около нас по законам высшим и неотъемлемо нам принадлежащим. Мало-помалу соседственное, численное, привычное, личное теряет над нами свое могущество и настает пора властвования причины и следствия; пора сочувствий истинных, желание установить гармонию между потребностями души и внешними обстоятельствами, пора стремлений возвышенных, прогрессивных, идеализирующих все, к чему они ни коснутся.

«... Каждого из нас Господь посещает различными путями. Мысль зарождается в нас гораздо ранее размышления; она ускользает от помрачения и незаметно достигает до ясного света дня. В детском возрасте мысль принимает все внешние впечатления и уживается с ними по-своему. Но закон нéпреложный правит нашим мышлением, от него зависят все действия, все проявления духа. Тут нет слов на ветер и нет поступков на авось. Прирожденный закон руководит духом до той поры, когда он сам возмужает до размышления или, иначе, до мысли сознательной».

«... Ступень за ступенью мы восходим по таинственной лестнице; эти ступени — наши действия; и новый кругозор, который они пред нами открывают, придает нам новое могущество. Всякое преждевыведенное заключение бывает обсуждено и отодвинуто назад заключением последующим. Сначала оно находится будто в разладе с нами, но, в сущности, оно только расстилает перед нами новую перспективу».

«... Крайний предел достижения каждого факта есть начало новой прогрессии фактов. Всякий закон общий есть только одиночное проявление другого всемирного закона, который вскоре должен обнаружиться. Завтра может воцариться мысль, которая укажет нам такое небо, куда не достигали никакие эпические и лирические полеты воображения».

«... Идя вперед, развиваясь и совершенствуясь, человек сохраняет, при своем повышении, все приобретения прошлого, с тою только разницею, что они представляются ему в другом виде. Все прежние силы остаются в душе, свежие, как дыхание утра. Тогда-то впервые начинаешь достойно понимать все окружающее. Мы не понимаем значения даже самых простых слов, пока не научимся любить, пока не возымеем высоких стремлений».

«... Окончательной добродетели нет, все они — начинательные. Закон безграничного усовершенствования распределяет по их местам то, что мы называем этим именем: хорошее гаснет при свете лучшего. Добродетели светские — пороки во святом. Нас очень пугает всякое преобразование из-за затаенного страха, что придется бросить множество так называемых добродетелей в бездну, уже поглотившую самые грубые наши пороки. Великий человек не будет благоразумен в простонародном смысле этого слова; его благоразумие истечет из самого его величия. Вспомните, сколько раз и вы унижали себя дрянными расчетами, прежде чем дошли до успокоения себя возвышенными чувствами. Сверх того, вы считаете большою доблестью то, что́ очень обыкновенная вещь в глазах низких земли. Бедные и смиренные знакомы по-своему с новейшими открытиями философии: «Счастливы маленькие люди» или: «Голенький — ох! За голеньким — Бог», — пословицы, выражающие, каков трансцендентализм их ежедневного быта».

«... Каждый человек не столько труженик этого мира, сколько намек на то, чем он может быть. Он может преобразовываться только посредством новой идеи, одержавшей верх над старой, которая, будучи произведением многих обстоятельств и постановлений, силится удержаться на вершине, ею избранной, чтобы окрепнуть и укорениться. Со своей стороны, душа, сильная и деятельная, ниспровергает границы, в которых хотят удержать ее обстоятельства. Она чертит все новые круги, стремясь к поприщам более обширным, к беспредельности. Ей невозможно оставаться заклю-

ченной в темнице первоначальных и слабейших впечатлений, она мощно порывается вперед — к пространствам необъятным и неисчислимым».

Познакомимся с нашей душой.

«Мы умеем пролепетать несколько слов о самых ничтожных ощущениях души; о действиях привычки или впечатлений; но мощь этого образцового произведения Господня, но совершенное единство души в самой себе, но соприкосновение ее со всей вселенной для нас скрыты и недомыслимы. Я могу знать, что истина божественна, что она благотворна, но каким образом она освятит, облагодетельствует меня самого, это мне неизвестно».

«... Подмечая то, что́ свершается с нами, когда мы замечтаемся или разговоримся; во время сильных угрызений в фантастических представлениях сновидений, в минуты, наконец, страсти и изумления, мы уловим многие проблески, которые расширят и осветят разумение тайн нашего естества. Все единогласно доказывает, что душа человеческая не есть орган, но сила, движущая органами; что она не функция, как память или алгебраическая сметливость, но что она употребляет эти функции, как подвластные ей члены; она не способность, не свет, не разум и не воля, но владычица разума и воли, краеугольный камень нашего существа, на котором зиждется и разум, и воля, одним словом, что она неизмерима и неподвластна здесь ничему».

«... Человек — это наружная сторона храма, в котором может водвориться все, что добро, все, что истинно. То, что мы обыкновенно подразумеваем под словом, — человек: это существо пьющее, видящее, строящее, рассчитывающее, выражает себя не по нашим понятиям, и выражает себя дурно».

«... Душа все идет вперед, проникая в области новые, оставляя позади себя старые: ей чужды и числа, и обычаи, и частности, и личности; ее усовершенствования рассчитаны не по арифметике, но в силу ее собственных законов; они последуют не такой постепенно́с-

ти, которую можно представить продлением прямой линии, но, скорее, поочередным возвышением состояния, сходного с преобразованием яйца в червяка, червяка в мотылька. С каждым новым импульсом дух раздирает тонкие оболочки видимого и конечного, все более и далее заходит в вечность и живет ее воздухом. Он беседует с истинами, всегда возвещаемыми миру, и убеждается, что сочувствие гораздо более тесное соединяет его с Зеноном или с Пифагором, чем с людьми, которые живут под одною с ним кровлею».

«... Люди ведут прения о бессмертии души, о царстве небесном и о прочем. Они вообразили себе даже, что Иисус Христос дал ответы на такие именно вопросы. Но никогда, даже на мгновение, Иисус Христос не снисходил до их наречия. Идея о вечности и о непременяемости до того слита с истиною, с правосудием, с любовью, что Иисус, заботясь только о размножении этих благ, никогда не отделял идею вековечности от сути этих добродетелей. Последователи Его отделили идею нравственных начал от идеи вечности; стали проповедовать о бессмертии души, доказывать это, защищать. Но, когда учение о бессмертии души начали преподавать отдельно, человек уже понизился на целую ступень. *В оны дни,* когда любили, благоговели и смирялись, мысль о кратковременности не могла не заботить, и никто из вдохновенных святынею не делал на этот счет вопросов, не унижался до требований доказательств. Душа всегда верна самой себе: человек, преисполненный ее блаженством в настоящем, отбросит ли бесконечность этого настоящего, чтобы устремляться к будущему и представлять его себе имеющим конец?!»

Теперь, когда некоторые воззрения творца «Опытов» предстали не только, может быть, на ваш суд, но и на возбуждение сочувствия к такому здравому, благонамеренному и всегда возвышенному образу его мыслей, можно решиться обратить ваше просвещенное внима-

ние на краеугольный и на закленный камень, завершающий свод учения Эмерсона. Среди непроницаемой мглы, со всех сторон сгустившейся над человеком, ничто благородному мыслителю не кажется за него так горько и обидно, как нежелание распознать самого себя и легкомысленное вероломство к своему лучшему *Я*. Когда все в природе: минералы, растения, животные, вещества стихийные — при приближении к ним человека являют немедленно свой отличительный характер и свойства, только им принадлежащие, как же целые поколения людей толкутся на земле и исчезают с ее лица, ничем не отметив своего существования, тогда как не должно быть такого человека, кому не был бы вверен оттенок, отголосок, крупица той или другой духовной силы, для которой он призван служить и символом, и проявлением? Кое-когда случай, удача или всепреодолевшее превосходство выдвинет из толпы несколько отборных лиц, но и в них — какой разлад и что за неполнота! Бессмертные существа, одаренные свободным произволом, здравым смыслом и духовным стремлением, превосходящим, без всякого сравнения, очевидные пользы инстинкта, будто приняли на себя чересчур разнообразные повадки стада, и, раз попав в такую-то колею, идут по ней шаг за шагом, в каком-то полусне. Разбудить живую душу в каждом человеке, восстановить ее преобладание, деятельность, и, разбив подавляющие толпы на единицы, на резко или мягкооттененные личности, каждой из них внушить *Доверие к себе*, — вот исходная точка, составляющая первую главу его законоположения. Эту опору предлагает он, разумеется, не для усиления кичливости и ненасытности эгоизма, а для водворения во всяком члене человеческого рода личного, собственно ему свойственного и сподручного, хотя чрезвычайно смиренного довольства, откуда может, наконец, сложиться та общая гармония, отзвуки которой уже слышатся гражданину Нового Света.

При этом, почти поименном воззвании к человеку, руководится он драгоценною чуткостью внутренних

ощущений, способствующей ясному распознанию мыслей, действий, чувств сознательных, направляемых волею и выбором, от тех мыслей и чувств, которые неотразимо овладевают всем бытием человека. Они мгновенно и ярко прорезывают неизгладимый след в душе, дают течению внутренней жизни нежданный поворот; беззвучно и безгласно, но неопровержимо, вносят новый свет в наши воззрения, наставляют на новые пути и всевластно, хотя невидимою рукою, отдергивают многие завесы и покровы. С помощью этой силы опасности отвращаются, и предстоящие события, отклоненные или ослабленные, распределяются совершенно иначе. Уследив в своем и в постороннем организме, во множестве случаев, подлежащих жизни внешней, еще же чаще доступных самым сокровенным нашим убеждениям, Эмерсон пришел к великолепному и утешительнейшему удостоверению, что никто из нас не оставлен без нужных пособий как внешних, так и внутренних; что *провидение* или *наитие* посещает нас для таинственного вразумления вечных истин, неуклонного долга и для возбуждения то той, то другой врожденной способности, призываемой к жизни и к деятельности для собственного нашего наслаждения, умудрения или облегчения и исправления, и на служение общей пользе. Сверх того, он так ясно распознал непреоборимые и непреложные законы, правящие землею и ее обитателями, что для него *здесь и там* – не разрыв, а неперемежающееся продолжение, в условиях лучших и высших, но с неуклонною справедливостью и с последовательностью, истекающей из предварительных причин.

Законное — можно сказать — богобоязненное доверие к себе ослабляется подлаживанием к большинству, стойкостью и «приноровлением к обычаям, до которых вам, в сущности, нет дела. Вот на что идут ваши силы, вот что лишает вас досуга, стирает все выпуклые особенности вашей природы. Здесь вы даете голос *pro* и *contro* разных партий; там — как наемный трактирщик — кормите на убой друга и недруга. За

всеми такими обстановками как трудно распознать, что вы такое на самом деле, не говоря уже о трате на пустяки наилучших способностей ваших. Но совершите дело, по природе свойственное вам, и вы тотчас на моих глазах выдвинитесь из толпы; совершите такое дело, и оно удвоит первобытные ваши силы».

«... Люди же до сих пор совершают свои добрые дела то в ознаменование своего мужества или своего голубиного сердца, то, будто как штраф, наложенный на них в наказание за то, что они не ежедневно являются на тот или другой общественный парад. Они отделываются от него извинениями и взносом доброго дела, чтоб получить дозволение жить. Да какая мне стать извиняться, платить вам за то, что я живу? Жизнь дана мне не на показ вам, она дана мне, чтоб я жил ею».

«... *Подлаживание* (к известному кружку, партии, секте) не делает людей лживыми в том или другом случае: оно уже сделало их лживыми повсюду и навсегда. С ними, два не два, четыре не четыре; доходит до того, что всякое их слово становится нестерпимо, и не придумаешь, чем бы опять навести их на разум... Кто хочет сделаться человеком, тот должен отбросить *подлаживание,* кто хочет овладеть пальмою нетления, тот пусть не смущается названием добра, а тщательно доискивается, где и что Добро. Ничего нет святее безукоризненной честности духа».

«... Кроме подлаживания, опасение другого рода ослабляет в человеке доверие к себе, это — *стойкость,* то есть пристрастие к тем нашим словам и поступкам, за которые люди, не обладающие другим мерилом, возымели к нам почтение, которого нам лишиться жаль. Да зачем же мы носим на плечах голову, непрестанно мыслящую? Зачем, с другой стороны, обременяем себя чудовищном грузом памяти и боимся ей противоречить, — потому что ей известно, когда и как я выразил иное мнение. Мне кажется — правилом мудрости не опираться на одну память, даже в таких случаях, которые относятся чисто к воспоминанию, и что нам, напротив, нужно

ставить прошедшее под стоокий обзор настоящего и жить каждым новым днем. Верьте движению вашей души! Если вы человек, высказывайте твердо и прямо то, что вы думаете сегодня, и столь же откровенными словами выразите и вашу завтрашнюю мысль, не беспокоясь о противоречии. Не пугайтесь, если в разнообразии ваших действий не окажется выдержки характера; довольно того, чтобы каждый ваш поступок был честен и натурален в свое время; если он таков, то и все прочие, несмотря на кажущееся несходство, примкнут к нему в стройности. Мнимые неравности исчезают на недальнем расстоянии или на небольшой высоте мысли: их сглаживает единство направления. Будьте просты, и предшествовавшие поступки, сделанные просто, оправдают и теперешние ваши действия. Хорошее прошедшее служит защитою и дает силу поступать открыто, пренебрегая мнением посторонних».

«... Мы преисполнены действиями механическими. Вмешиваемся, Бог знает зачем, в дела всего света до того, что все светские добродетели, хвалы и жертвы становятся нам отвратительны. Дела любви составили бы наше счастье, но и на нашем благоволении лежит зарок. Тяжелы делаются для нас под конец и воскресные школы, и общества вспоможения бедным. Мы скучаем, мы томимся и — не угождаем никому».

«... Если мы расширим горизонт нашего зрения, то окажется, что все стоит на одном уровне: изящная словесность, законодательство, житейский быт, религиозные секты, — и что все это будто заслоняет истину».

«Заметим еще, что все наши ощущения и понятия обморочены. Большие размеры вынуждают нашу почтительность; кроме того, мы таки присмиреем при одном слове *деятельность*. Это обман внешних чувств — больше ничего. Ум, убогий и скудный, может иметь сознание, что он ничто, если не владеет каким-нибудь наружным знаком отличия: квакерским платьем, местечком в собрании кальвинистов или в обществе филантропов; порядочным наследством, видною должностью и т. п.,

удостоверяющим его самого, что он нечто значит. Но ум, живой и могучий — обитатель солнца, а в самой своей дремоте — властелин мира. Мыслить — значит действовать. Мы же называем бездейственным поэта, потому что он не председатель, не купец, не водовоз».

«... Пора бы, наконец, человеку узнать себе цену! Что же, в самом деле, разве он какой пролаза, подкидыш, незаконнорожденное произведение этого мира, который весь принадлежит ему? Ему ли прятаться и озираться по сторонам?»

«... Верь в самого себя! чье сердце не затрепещет от рокота этой звонкой струны?»

«... Каждый из нас должен подстерегать и улавливать ту светоносную искру, которая вспыхивает и загорается в его собственной душе; для каждого из нас это имеет гораздо более важности, нежели открытие и наблюдение целого созвездия поэтов и мудрецов».

«... Но теперь мы стали настоящею чернью. Человек даже забыл и помнить, что он должен свято чтить человека; душе его не доводится даже узнать, что ее назначение пребывать в ясности и безмятежии, и вместо того, чтобы приготовить себя к общению с океаном духовной жизни, она нищенски вымаливает кружку воды из, водоема людей!..»

«... Мы же едва осмеливаемся пролепетать малейшую частичку того, что мы есть на самом деле, да и то, как бы стыдясь божественной идеи, которой бы каждый из нас должен служить глашатаем. Когда же утвердимся мы в вере, что божественная идея всегда направлена к целям возвышенным и что на нас лежит долг передавать ее людям со всевозможною точностью и полнотою, потому что к трусу никогда не обращен призыв на заявление о делах Божьих? С этой точки зрения нетрудно усмотреть, как большее доверие к себе и взаимная почтительность к божественности человека могут произвести самые важные перевороты во всех людских отношениях, занятиях, должностях; как могут измениться их образ воспитания, склад жизни, способы

располагать имуществом и все условия их частных и корпорационных сближений; цели их деятельности и отвлеченные изыскания и самая сущность их религии».

«... Мы хотели бы пояснить те основные причины, которые должны утвердить человека в доверии к самому себе и которые наводят его на открытия по части наук и художеств, озаряют лучом красоты каждый его поступок, изъятый от подражательности, проникнутый естественностью».

[Здесь появляется средоточная, царственная мысль вдохновенного писателя. От нее, как от солнца правды, редеет мрак нашего уныния и неведения, стихает тоскливый ропот, и мы поставлены под истинно-отеческое, божественное руководство во всей целости нашего бытия, способностей, талантов, чувств, ума, рассудка, внешних тягостных обстоятельств, внутренней борьбы и недоумений. Эта мысль — его вера в духовную прозорливость человека и в *наитие,* так называет он все дары, предлагаемые свыше каждому из нас поодиночке, «начиная от весьма редких явлений восхищения, восторга и пророческого вдохновения до светлого вразумления и тихих побуждений к добру».]

«Несмотря да недостаток священных слов, мне бы хотелось простыми словами указать на небо, откуда сходит на нас эта божественная сила, и облечь выражениями мои наблюдения о непостижимой простоте и силе высочайшего из всех законов».

«Наши изыскания приводят нас к Источнику, вмещающему в себе и сущность добра, и сущность гения, и сущность жизни; в силу высшего соизволения пробуждаются в нас врожденные способности и стремления. Для отличия от прочих пособий знания, которое есть не что иное, как усвоение преподаваемого метода, мы назовем это сообщение с нами Вечной Премудрости наитием. Наитие, этот неиссякаемый источник мысли и деятельности, от него веет тем животворным вдохновением, которое нельзя отрицать без святотатства и безбожия. Когда мы провидим, что такое любовь, истина, правосу-

дие, — мы сами нимало не содействуем нашему духовному зрению; лучи эти просто и прямо проникают в наше существо; и как бы ни расспрашивали мы себя, откуда и каким образом это взялось? как бы ни домогались отыскать в существе нашем причину этих фактов, — ни философы, ни метафизики не в состоянии дать нам на этот счет ответа. Присутствие или отсутствие вдохновения — вот все, что мы можем утверждать положительно. Каждый из нас может с совершенной ясностью отличать произвольные действия своей души от этих невольных провидений, и человек чувствует, что он обязан благоговейно почитать их. Он может передавать их ошибочно и слабо, но он знает, что они несомненны, как день и ночь. Все мои поступки, руководимые волей, все знания, мною приобретенные, — есть что-то шаткое и случайное. Но внезапное погружение в тишь мысленную, самое простое чувство, вдруг охватывающее мою душу, в то же время и привычны мне, как нечто родное, и, с тем вместе, имеют сладость нездешнюю. Люди бессмысленные будут, разумеется, опровергать наитие, как оспаривают они и убеждения, и еще с большею легкостью, потому что могут смешивать наитие со знанием. Они воображают себе, что я, по собственному выбору, вдумываюсь в тот или другой предмет. Нимало: в провидении руководишься не прихотью, а предназначением. Мне видится этот луч истины: его может увидеть и маленькое дитя, может увидеть со временем и весь род человеческий, хотя может случиться и то, что никто не видел его до меня; тем не менее, мое провидение истины есть факт такой же неопровержимый, как существование солнца».

«Сообщение души с Духом Божественным так свято и так чисто, что свершается без всякого посредничества. Если бы Господь удостоил обратиться ко всему миру, он сообщил бы не одно, а все: наполнил бы вселенную громом своих глаголов, из среды своей мгновенной мысли излил бы свет, природу, время, сонмы душ, новые создания и новые миры. Точно так, ког-

да божественная Мудрость коснется простой и внимательной души, в ней сглаживаются предания и ветхие поучения людей; в ней изобилует жизнь, и текущий час делается звеном соединения минувшего с будущим. Это естественно и очень понятно, а между тем сколько еще великих умов не осмеливаются внимать самому Богу».

«... Уже одно смутное провидение божественного перста в таком-то событии или в подтверждение такой-то истины волнует и восторгает человечество; благоговейный трепет переходит от одного к другому».

«... В откровении, которое касается нашей судьбы и личности, способность видеть не отрешена от возможности действовать: провидением вознаграждается наше повиновение, между тем как самое наше повиновение есть следствие восхитительного провидения. Оно разрешает также некоторые вопросы, предлагаемые не умом нашим, но душою. Ответ дается не словами, но указывается самый факт, который внезапно бывает усмотрен душою».

«... Озарить человека светом незаходящим, сделать все существо его способным проникаться законом непреложным — вот цель возвышенных посещений. Ими возлагается на человека долг, чтобы все малейшие подробности его жизни, куда только ни обратите вы своего взгляда: его слова, поступки, Богопочтение, домоводство, общественная жизнь; его радости, одобрение и противоборство, — все в нем служило явным выражением его свойств и природы. С такими содействиями человек делается вполне *самостоятелен;* но если он довольствуется состоянием *сбродным,* луч солнца не пронзит, истинный свет не озарит его; и глаз — даже полный участи — утомится, усматривая в нем тысячу разнородных направлений и существо, ни в чем не достигшее утверждения и единства».

«... О, кто и когда достойно удостоверит нас в высокой истине наития! Все, что мы здесь ни говорим, есть только слабая его тень и отдаленное о нем воспоминание. Когда вы постигаете добро, когда вы преисполнены

жизни, каким способом далось это вам, или было подготовлено? Не видно следов ничьих шагов, не видно лица человеческого, не слышно ничьего голоса и никакого названия вещей, а между тем, все озаряют мысли, соображения, сознание благ необычайных, небывалых. Полнота этой жизни овладевает всем бытием нашим, и будто отчуждает его от человечества. Все люди, когда-либо существовавшие, отвеваются от вас как призраки; страх и желание затихают, нет мольбы на устах, и самая надежда кажется чем-то унизительным, мы находимся в состоянии полного видения... Это не радость, даже не благоговение, — душа вознеслась выше всех ощущений: она созерцает творца сущего, она провидит самый источник истины и правосудия. Совершенное безмятежие, всемерное успокоение проникает весь состав наш: мы видим, что все добро! Что такое обширные пространства, земные, водные, небесные? что такое промежутки времени, годов, столетий? Дума и чувство поглощают всю предшествовавшую мою жизнь со всеми ее событиями; они получают высокое значение, достойное моего теперешнего состояния. И такое значение будут иметь и все возможные события; и то, что мы называем жизнью, и то, чему даем имя, — смерть».

«... Невозможно выразить этого сообщения Бога с человеком при всяком действии души. Все, кто честно и свято поклоняются Ему, доступны той благодати. Ее всеобъемлющие волны всегда обновительны, освежительны и пронизывают нас глубоким обожанием и благоговением. Как солнце привета и любви встает над человеком мысль о Боге, врачующем раны, нанесенные ему бедствиями и огорчениями; о Боге, изливающем жизнь и свет во все пределы вселенной, и восполняющем всякую неполноту. Не Бог, известный нам по преданиям, не Бог риторический, но — Бог, *наш* Бог, может воспламенить сердце своим присутствием. Тогда это сердце удесятеряется и, крепчая и расширяясь, видит для себя со всех сторон бесконечность и беспредельность. Вездесущность разрушает все границы его недоверия.

Оно не только имеет убеждение, оно обладает провидением, что добро и истина — одно. С этою помощью оно легко разгоняет все личные свои недоумения, опасения и полагается на будущие откровения для уяснения задач, еще временно темных. Оно уверено, что все, к чему оно стремится, естественно и прямодушно, драгоценно и для самого его Создателя. Всегда соблюдая в своем духе закон вечный, человек полон того всемирного упования, которое радостно повергает и свои самые сладостные надежды и отличается от всех глубоко обдуманных планов для устройства своего земного существования. Он знает, он верит, что его не минует его благая часть, что назначенное ему несется к нему само собою».

«О верь, что во все продолжение твоей жизни, всякое слово, сказанное на какой бы то ни было точке земного шара, всякое слово, важное и необходимое тебе услышать, раздастся в ушах твоих! Нет такой мысли, такой книги, такой поговорки, нужной тебе в опору и в утешение, которая бы не дошла до тебя неминуемо. Друг, которого жаждет не своевольная мечта, а твое великое, твое любящее сердце, сожмет тебя в своих объятиях. Как разные воды, облегающие земной шар, составляют в сущности один океан, имеющий те же приливы и отливы, так и душа наша, и быт, и все мы, с нашими потребностями, желаниями, стремлениями, находимся в хранении Вездесущего».

«Возможно ли прибавить что-нибудь к этим «священным словам», всеобъемлющим и всеосвещающим? Нам дозволено только надеяться, что они найдут доступ в ваши сердца и внесут в них твердость, мир и несокрушимые, благодатные верования. Станем и мы повиноваться верховным велениям: они имеют высокие цели! Перестанем то жаться по углам, то обращаться в бегство при одной мысли о возможности некоторых превратностей; но, с полною уверенностью, вручив себя, как благородную глину, деснице Всемогущего, будем и мы благотворить, искупать, воздвигать и все более сменять области хаоса и ничтожества».

ЧАСТЬ I

ОПЫТЫ

ДОВЕРИЕ К СЕБЕ

Я прочел недавно несколько стихотворений одного отличного живописца. Они были написаны с самобытностью, не на условный лад, а на таком основании предмета, который, каков бы он ни был, всегда доставит душе нашей новую, свежую заметку, и чувство, им возбужденное, будет гораздо важнее изложения и формы, в которые облек их автор. Отчего же мы не верим в свою мысль? Отчего не верим, что то чувство, которое наше сердце сознает истинным, не есть тоже истинное чувство и других людей? До сих пор право этого сознания оставалось за одним признанным гением, но следовало бы удостовериться и нам, что когда мы выразим самое сокровенное наше убеждение, то обозначится, что оно есть достояние и многого множества людей, потому что все субъективное может стать объективным. И заметьте, как часто случается, что наша собственная мысль возвращается к нам извне, с гласностью трубы судного дня.

Величайшая заслуга Платона, Мильтона состоит в том, что они обратили в ничто существовавшие до них книги и предания, выразили то, что думали сами они, а не то, что думали окружающие их люди. Каждый из них должен подстерегать и улавливать ту светоносную искру, которая вспыхивает и загорается в его собственной

душе для каждого из нас. Это имеет гораздо более важности, нежели открытие и наблюдение целого созвездия поэтов и мудрецов. Между тем, мы без внимания упускаем мысли, потому что они наши; когда же встретим их в творениях гения, они нас поражают величием своей простоты. И вот наилучший урок, который преподают нам образцовые произведения первостатейных мастеров: они научают нас оставаться спокойно и непреклонно верными нашему воодушевлению, хотя бы оспаривал его крик всей вселенной. Не далее как завтра первый встречный станет вменять вам то, что вы передумали, перечувствовали; а вам придется со стыдом принять из вторых рук собственные ваши помыслы.

Верь в самого себя! — чье сердце не затрепещет от рокота этой звонкой струны? И великие люди всегда этому следовали; они доверялись, как дети, своему духу и подчас веровали, что сам Бог воспламенил восторг в их груди, что Он действовал их руками, Он владел и распоряжался всем их бытием. Станем и теперь повиноваться верховным велениям: они имеют высокие цели! перестанем то жаться по углам, то обращаться в бегство при одной мысли о возможности некоторых превратностей, но с полным благоговением, вручив себя, как благородную глину, деснице Всемогущего, будем благотворить, искупать, воздвигать и все более стеснять области смерти и ничтожества!

В эпоху развития бывают минуты, в которые индивидуум ясно сознает, что подражание есть не что иное, как самоубийство, а зависть — незнание; что он обязан поверить в себя и, по доставшимся ему способностям, вывести итог, чем он хуже и чем лучше других. Он должен заранее убедиться в том, что, несмотря на обилие благ, находящихся в природе, его насытит только тот колос, который произрастает на почве, ему свойственной, и который будет взращен и пожат собственным его трудом. Человек счастлив только тогда, когда он может сказать, что исполнил свой замысел, что положил душу на труд свой и до-

вел его до конца, как нельзя было лучше. Но если он поступает иначе, то, и покончив с трудом, он не почувствует ни отрады, ни облегчения; талант его хиреет, муза ему не доброжелательствует, на него не нисходит ни вдохновение, ни упование. Заранее тоже должен он знать, что недаром такая-то физиономия, такой-то характер производят на него впечатление, тогда как другие не производят никакого: глаз поставлен именно на том месте, где его озарит тот луч, о котором ему надлежит свидетельствовать, и человек обязан высказывать свои верования, свои убеждения гласно, открыто, до последней йоты.

Мы же едва осмеливаемся пролепетать малейшую частичку того, что мы есть на самом деле, да и то как бы стыдясь божественной идеи, которой бы каждый из нас должен служить глашатаем. Когда же утвердимся мы в вере, что божественная идея всегда направлена к целям возвышенным и что на нас лежит долг передавать ее людям со всевозможною точностью и прямотою, потому что к трусу никогда не обращен призыв на заявление о делах Божьих?

Что за дивный образец предлагает нам природа в лице и в способе действий детей! Ребенок всюду как дома: он независим, он неответствен; поглядывая из своего уголка на людей и на все происходящее, он произносит свое суждение смело, проворно; объявляет вам без обиняков, что вы хороши, дурны, надоели ему, нравитесь или не нравитесь. Он не заботится ни о последствиях, ни о своей выгоде; его приговор высказан свободно и простодушно: вы можете ему льстить, он вашим льстецом не будет. Взрослый же человек всегда настороже и словно в тисках у самого себя. Кто лишь только раз выкажет себя делом, выскажет словом — кончено! человек скомпрометирован: за ним следует любовь или нелюбовь сотни неизвестных лиц, которых всех должно держать на счету. О, где желанные струи Леты! о, как бы ему опять вернуться к прежнему безличию, к прежней безвестности!..

Но если бы человек, раз вышедший из своего нейтрального безмятежия, продолжал бы вести себя прямо, естественно, неподкупно, откинув всякий страх и очистив свой взгляд от всякого предрассудка, он бы сделался богатырем, достойным поклонения всех людей, всех певцов. Его мощь получила бы закал вечной юности, его мнение обо всем случающемся не было бы мнением личным, но суждением вечным, абсолютным; его слова возымели бы власть; они вонзались бы как стрелы в уши людей и пробуждали бы их от застоя.

Такие голоса слышатся нам в уединении; но они слабеют и немеют, чем более мы вдаемся в свет. Общество повсюду в заговоре о том, чтоб удерживать своих членов в нескончаемом малолетстве; оно, как компании страхований, будет отпускать вам за известную плату столько-то продовольствия, столько-то охраны с условием, чтобы член его отрекся от своей свободы, от своего личного развития. Свет прежде всего любит, чтобы ему *подлаживали:* он ненавидит доверие к себе, ненавидит *суть* и существа, а благоволит только к навыкам и обычаям.

Кто хочет сделаться истинным человеком, тот должен отбросить *подлаживание;* кто хочет овладеть пальмою нетления, тот пусть не смущается названием добра, а тщательно доискивается, где и что Добро. Ничего нет святее безукоризненной честности нашего духа. Установите в себе это, и потом разрешайте сами собою все, что до вас ни касается: не замедлит и одобрение света. Мне стыдно припоминать, как уступчиво жертвуем мы словом и символом, как легко уживаемся с омертвелыми учреждениями и обычаями. Всякий господинчик, хорошо одетый и бойко болтающий, уже несколько ставит меня в тупик и прибирает меня к рукам более, чем бы это следовало по совести.

Пора бы, наконец, человеку узнать себе цену! Что же, в самом деле, разве он какой пролаза, подкидыш, незаконнорожденное произведение этого мира, который весь принадлежит ему?! Ему ли прятаться и робко озираться по сторонам? Нет! голова моя должна твердо и высоко стоять на плечах: я имею право жить моею жизнью, я имею долг говорить правду, чистую правду на всех перекрестках. Не дам дороги суете, лицемеру, пустосвяту, прикрывающему себя хламидою филантропии, соболезнования о меньших братьях. Не забочусь я и *о его бедных,* они не мои бедные. Я предал себя душою и телом тем, с кем связан родством духовным; за них пойду и в тюрьму, и на плаху, но ваш сумбур Обществ пособий для неимущих бездельников, Обществ учреждения школ для глупцов, Общин построения храмов для преподавания той религии, на которой останавливаетесь вы, — нет и нет! Я каюсь в каждом долларе, который вы еще исхищаете у моей слабости, это доллар не впрок; и я уповаю, что придет день, когда достанет у меня силы отказать в нем вам! Добродетель, по мнению толпы, еще представляется каким-то исключением, а не общим правилом: есть человек, есть и его *добродетели,* то есть его хорошие человеческие свойства. Люди же до сих пор отправляют свои добрые дела то в ознаменование своего мужества или своего голубиного сердца, то будто как штраф, наложенный на них в наказание за то, что они не ежедневно являются на тот или другой общественный парад. Они отделываются от него извинениями и взносом доброго дела, чтоб получить дозволение жить. Да какая мне стать искупать, извиняться, платить вам за то, что я живу? Жизнь дана мне не на показ вам, она дана мне, чтоб я жил ею. По-моему, я предпочитаю жизнь скромную, но естественную и самобытную. Конечно, я не прочь, чтоб мое существование было дорого для моих близких и громко сказалось бы чем-нибудь для далеких собратьев; тогда, несмотря на свое однообразие, оно

вместило бы все: дела любви и противоборства; испытания, одоление и стройность целого. Дайте и вы мне *исходным пунктом* удостоверение, что вы *человек*, а успеем ли мы доказать это друг другу делами и подвигами, то другой вопрос. Но как ни ничтожна моя теперешняя ценность, мои теперешние дарования, мне не нужно поручительства посторонних в том, что я на кое-что годен, и я не намерен платить как за привилегию за мое несомненное право пользоваться даром жизни.

Мой долг, а не людское мнение — вот о чем моя забота. Строго и трудно это правило во всегдашнем его применении и к жизни внутренней, и к жизни внешней деятельности, потому что вы на каждом шагу встретите людей преисполненных уверенности, что они лучше вас знают, в чем состоит ваш долг. Но это правило служит вернейшим оселком для распознавания великой души от небольшой. Легко жить по-своему в уединении; легко увлечься в свете мнением света; но человек, достойный этого звания, сохранит и в многолюдстве отрадную независимость уединения.

Приспособление к обычаям, до которых вам, в сущности, нет дела, — вот на что тратятся ваши силы, вот что лишает вас досуга, стирает все выпуклые особенности вашей природы. Здесь вы поддерживаете обветшалое учреждение, даете голос *pro* и *contro* разных партий; там, как наемный трактирщик, кормите на убой друга и недруга. За всем этим как трудно распознать, что вы такое на самом деле, не говоря уже о трате на пустяки наилучших способностей ваших! Но совершите дело, по природе свойственное вам, и вы тотчас на глазах моих выдвинитесь из толпы; совершите такое дело, и оно удвоит первобытные силы ваши. Если бы человек знал, что за *жмурки* эта игра в подлаживание! Вы принадлежите, например, к такой-то секте или партии, и я ни за что в свете не пойду на ваши совещания, на ваши спичи. Я заранее уж знаю,

что не услышу от вас ни одного слова свежего, вдохновенного, что вы все будете смотреть в одну сторону — сторону дозволенную; будете говорить не как человек, а как краснобай известного кружка. Впрочем, многие слушатели станут утирать глаза платком и вступят с вами в общение мыслей... Подлаживание не делает их лживыми в том или другом случае: оно уже сделало их лживыми повсюду и навсегда. Их истина не есть истина. С ними два не два, четыре не четыре; доходит до того, что всякое их слово становится нестерпимо, и не придумаешь, чем бы их опять навести на разум. Тем временем природа не зевает и облекает всех нас в однообразный костюм колодника, заключенного в такую-то партию; черты лица мало-помалу получают древесную неподвижность и приобретают отменно приятное сходство с ослом.

Есть еще выражение физиономии, которого нельзя не подметить в обществе: это та глупая рожа, корчащая неискреннее поддакивание, та вынужденная улыбка, с какою мы выносим скучный разговор. Мускулы лица, не будучи внезапно подернуты и оживлены ощущением удовольствия, но уложены посредством медленного и поддельного усилия, неприятно напрягаются по всей поверхности облика и производят самое тяжелое впечатление; выражение отвращения и презрения видится так ясно, что ни один честный молодой человек не снес бы его дважды.

Конечно, труднее перенести гнев общества, чем выговор Сената или Присутственных Мест; но когда знаешь, что его милость и немилость не имеют глубоких корней, а носятся по произволу ветра и ходячей молвы, то человеку твердому легко справиться с неблагосклонностью образованных сословий: их бешенство осторожно и чинно, они знают, что и сами не без греха. Но когда к их женоподобному гневу присоединится ярость черни, когда с ревом и воплем вздымается животное и неразумное буйство низших слоев общества, тогда оказывается, как необходимо

упражнение в религии и в великодушии, для того чтобы встретить и этот взрыв как безделицу, не стоющую внимания.

После рабского подлаживания опасение другого рода ослабляет наше доверие к себе, это наша стойкость, то есть пристрастие к тем нашим поступкам и словам, за которые люди, не обладающие другим мерилом, возымели к нам почтение, которого вам жаль лишиться.

Да зачем же мы носим на плечах голову, беспрерывно мыслящую? Зачем, с другой стороны, обременяем себя чудовищным грузом памяти и боимся ей противоречить, потому что ей известно, когда и как я выразил иное мнение? Да если бы вам и случилось противоречить себе, так что же? Мне кажется правилом мудрости не опираться на одну память, даже в таких предметах, которые относятся чисто к воспоминанию, и что нам, напротив, нужно ставить прошедшее под строгий обзор настоящего и жить каждым новым днем. Верьте движению вашей души! Положим, что в метафизических изысканиях вы пришли к пантеистическому заключению о безличии Бога, но, если религиозные чувства наполнят вашу душу, дайте им простор и жизнь, дайте им цель, несмотря на то, что они ограничивают Бога образом и личностью. Бросьте, по примеру Иосифа, вашу верхнюю одежду в руках блудницы и бегите прочь.

Нелепая стойкость — это пугало, всегда стоящее на часах при особе маленьких политиков, маленьких богословов и философов. Великой душе нет до нее никакого дела. Уж не следует ли человеку зашить себе рот или вечно стоять на одном месте, чтоб отбрасывать свою тень все на ту же стену? Отнюдь нет! Если вы человек, высказывайте твердо и прямо то, что вы думаете сегодня, и столь же откровенными словами выразите и вашу завтрашнюю мысль, не беспокоясь о противоречии. Ах, Господи! да вас не поймут, воскликнут сердобольные старушки. Не поймут —

велика беда! Был понят Пифагор? а Сократ? а Лютер? а Галилей, Коперник, Ньютон и все великие, чистые души, когда-либо принимавшие плоть? Быть великим — несомненное условие быть непонятым.

Впрочем, не беспокойтесь: человеку невозможно насиловать свою природу. Все побеги его своеволия сглаживаются основным законом его бытия; они незначительны, как выси Андов и Гималаев на круглости земного шара, и все ваши ухищрения над своею природою производят мало проку. Мы слывем такими, какие есть; сущность нашей природы обнаруживается помимо нашей воли. Люди воображают, что они выказывают свои добродетели и пороки одними поступкам очевидными и не замечают того, что их хорошие или дурные свойства ежеминутно выступают наружу.

Итак не пугайтесь, если в разнообразии ваших действий не окажется выдержки характера; довольно того, чтобы каждый ваш поступок был честен и натурален в свое время; если он таков, то и все прочие, несмотря на кажущееся несходство, примкнут к нему в стройности. Мнимые неровности исчезают на недальнем расстоянии или на небольшой высоте мысли: их сглаживает единство направления. Ход лучшего корабля совершается не иначе как зигзагами, но когда смотришь на него издали, эти неправильности исчезают в прямой, всюду одинаковой тиши. Так объяснятся и ваши поступки, простодушные, естественные; подлаживание же не объясняет ровно ничего. Будьте просты, и предшествовавшие поступки, сделанные просто, оправдают и теперешние ваши действия. Хорошее прошедшее служит защитою и дает силу поступать открыто, пренебрегая мнением посторонних. Не заботьтесь о последствиях, а действуйте благородно — всегда! Все доброе и великое ждет своего суда от будущего. Что дает мудрым руководителям Палат и героям ратного поля величие, восхищающее наше воображение? Воспоминание

славных дел и славных побед, неразлучно с ними связанных; они в глазах людей окружают их будто видимым сонмом ангелов. В голосе Чатама слышатся раскаты грома; вся осанка Вашингтона дышит высоким достоинством; явится Адамс — и, кажется, видишь олицетворенную Америку.

Смею надеяться, что в наше время уже совсем напоследок слышались проповеди о подлаживании к обычаям и о стойкости в мнениях. Предадим эти слова на съедение журналистам, пускай они за них стоят и перебрасываются насмешками! Мы же будем без страха оглядывать и порицать грустную посредственность и пошлое довольство нашего времени! Бросим прямо в лицо навыку и обычаю следующий первостатейный исторический факт, что там, где действует человек, действует великое драматическое лицо, действует великий мыслитель, что истинный человек не принадлежит такому-то месту, такому-то времени, но что он может сделаться средоточием мира. Он измерит людей, события, и вы будете принуждены идти под его знаменами. Родится Цесарь — и на несколько веков созидается Римская империя. Реформация возникает с Лютером, аболиционизм с Клэрксоном: всякое учреждение есть только удлиненная тень человека. Великая душа совмещает в себе все сотворенное, и человек должен стремиться к той точке, откуда уже равнодушно смотришь на обстоятельства и гнушаешься прибегать к средствам.

Мы читаем историю бессмысленно и бесплодно. Пышные имена: Король, Государство, Правительство, Аристократия — производят на наше воображение одуряющее действие. Положим, что король Густав-Адольф, король Альфред были добродетельны, но разве добродетель исчезла с лица земли вместе с ними, если смиренный мой сосед Джон или Эдуард захочет действовать для возвышенной цели, блеск величия перейдет на этого простого *джентльмена.* Конечно, мир и народы многому научились от ко-

ролей. Великий символ их сана представил людям пример того взаимного почтения, которое человек обязан оказывать другому человеку, а радостное доверие народов, уступившее своим владыкам честь раздавать отличия и земли деятелям на пользу и добро, — делам заслуги и правды, — не служило ли выражением того, что они понимают свои права и свое достоинство?

Теперь мы хотели бы изъяснить те основные причины, которые должны утвердить человека в доверии к самому себе и которые внезапно наводят его на открытия по части наук и художеств, озаряют лучом красоты каждый его поступок, изъятый от подражательности, проникнутый естественностью. Наши изыскания приводят нас к Источнику, вмещающему в себе и сущность добра, и сущность гения, и сущность жизни: в силу высшего соизволения пробуждаются врожденные нам способности и стремления. Для отличия от прочих пособий знания, которые есть не что иное, как усвоение преподаваемого метода, мы назовем это сообщение с нами Вечной Премудрости – *наитием.* Наитие! Это неиссякаемый источник мысли и деятельности; от него веет тем животворным вдохновением, которого нельзя отрицать без святотатства и безбожия. Посредством наития мы приближаемся к лону бесконечного Разума: он делает нас орудием своих предначертаний, храмом своих истин. Когда мы провидим, что такое любовь, истина, правосудие, мы сами по себе нимало не содействуем нашему духовному зрению, лучи эти просто и прямо проникают в наше существо; и как бы ни расспрашивали мы себя, откуда и каким образом это взялось, как бы ни домогались отыскать в существе нашем причину этих фактов, — ни философы, ни метафизики не в состоянии дать нам на этот счет ни малейшего разрешения. Присутствие или отсутствие вдохновения — вот все, что мы можем утверждать положительно. Каждый из нас может с совершенною яс-

ностью отличать произвольные действия своей души от этих невольных провидений, и человек чувствует, что он обязан благоговейно почитать их. Он может передавать их ошибочно и слабо, но он знает, что они несомненны как день и ночь. Все мои поступки, руководимые волею, все знания, мною приобретенные, есть что-то шаткое и случайное, тогда как внезапное погружение в тишь мысленную, самое простое чувство, вдруг охватывающее мою душу, в то же время и привычны мне, как что-то родное, и с тем вместе имеют сладость нездешнюю. Люди бессмысленные, разумеется, будут опровергать наитие, как оспаривают они и убеждения, и еще с большею легкостью, потому что смешивают провидение со знанием. Они воображают себе, что я по собственному выбору вдумываюсь в тот или другой предмет. Нимало: в провидении руководишься не прихотью, а предназначением. Мне видится этот луч истины; его может увидеть и маленькое дитя, может увидеть со временем и весь род человеческий, хотя может случиться и то, что никто не видал его до меня; тем не менее, мое провидение истины есть факт такой же неопровержимый, как существование солнца.

Сообщение души с Духом Божественным так свято и так чисто, что совершается без всякого посредничества. Если бы Господь удостоил обратиться ко всему миру, Он сообщил бы не одно, а все; наполнил бы вселенную громом своих глаголов, из среды своей мгновенной мысли излил бы свет, природу, время, сонмы душ, новые создания и новые миры. Точно так, когда божественная Мудрость коснется простой и внимательной души, в ней сглаживаются предания и ветхие поучения людей; в ней изобилует жизнь, и текущий час делается звеном соединения минувшего с будущим. Это естественно и очень понятно, а между тем, сколько еще великих умов не осмеливаются внимать самому Богу. Человек робок и все вымаливает себе снисхождения. Он едва отваживается сказать: я

есмь, я мыслю; но по большей части опирается на ту или другую цитату. Все мы похожи на детей, сперва повторяющих неопровержимые истины своих бабушек, потом — учителей, а по мере возраста, и других замечательных людей, попадающих им навстречу. С каким трудом стараемся мы вытвердить наизусть слова, слышанные нами; когда же дойдем до ступени, на которой стояли эти предшественники, и поймем смысл их слов, то с какою радостью стерли бы мы их из нашей памяти! Итак, при получении нового провидения, станем бодро очищать память от залежавшегося в ней хлама. Голос человека, живущего с Богом, обаятелен, как журчание ручейка, как шелест спелых колосьев, волнуемых теплым ветерком.

О! кто и когда достойно удостоверит нас в высокой истине наития! Все, что мы здесь ни говорим, есть только слабая его тень и отдаленное о ней воспоминание. Когда вы постигаете добро, когда вы преисполнены жизни, каким способом это далось вам или было подготовлено? Не видно следов ничьих шагов, не видно лика человеческого, не слышно ничьего голоса и никакого названия вещей, а между тем вас озаряют мысли, соображения, сознание благ необычайных, небывалых. Полнота этой жизни овладевает всем бытием нашим и будто отчуждает его от человечества. Все люди, когда-либо существовавшие, отеваются от вас как призраки; страх и желание затихают. Нет мольбы на устах, и самая надежда кажется чем-то унизительным, мы находимся в состоянии видения... Это не радость, даже не благоговение — душа вознеслась выше всех ощущений: она созерцает творца сущего, она провидит самый источник истины и правосудия. Совершенная безмятежность, всемирное успокоение проходят сквозь нас: мы видим, что все — добро! Что такое обширные пространства, земные, водные, небесные, что такое промежутки времени, годов, столетий? Душа и чувство поглощают всю предшествовавшую мою жизнь, со всеми ее

событиями, они получают высокое значение, достойное моего теперешнего состояния. И такое высокое значение будут иметь и все возможные события: и что мы называем жизнью и то, чему даем имя — смерть.

Свет не терпит проявлений души, потому что такие проявления ослабляют авторитет прошедшего, покрывают стыдом его знаменитости, ставят на один уровень богатого и бедного и учат людей не верить свету на слово. Верить и говорить на слово, — просто стыд! Станем лучше говорить о том, что нам открывается: вот где жизнь и движение. Все блага, все добродетели заключаются в величии и в возвышенности души. Один человек или целое общество людей, проникнутых этим началом, по самому закону природы, покорят страны, народы, государства: они призваны властвовать и над богачом, и над певцом, не имеющим их превосходных свойств.

Нам следует преимущественно обращать внимание на жизнь текущую, а не на жизнь прошедшую. Всякая деятельность прерывается во время покоя; она возвращается в момент перехода от состояния прежнего к состоянию новому: в минуту, когда бросаешься в пропасть или пустишься бежать к цели. Но теперь мы стали настоящею чернью. Человек даже забыл и помнить, что он должен свято чтить человека; душе его не доводится даже узнать, что ее назначение пребывать в ясности и безмятежности, и вместо того, чтобы готовить себя к общению с океаном духовной жизни, она нищенски вымаливает кружку воды из водоема людей!.. Нам нужно поучиться ходить одним. Одиночество должно предварять истинную жизнь в обществе. Как люблю я храмы, тихие, безмолвные до начала обрядов и проповедей, которые скоро огласят их; как величавы и недосягаемы кажутся мне церковнослужители, удаляющиеся в святилище. Станем и мы охранять наш внутренний мир, не забывая притом, что уединение состоит не во внешнем отчуждении, а в возвышении духа.

И потому будем по возможности всегда спокойны. Зачем, например, берем мы на себя вину нашего приятеля, проступок жены, дяди, сына по той причине, что они жили под одною с нами кровлей и что, как говорится, одна кровь течет в наших жилах? Но и у всех людей такая же кровь, как моя, а моя кровь такая же, как у всех людей. Разве из-за этого на мне лежит обязанность отвечать за всесветные глупости, безумства, преступления и считать себя покрытым позором и бесславием?

Если мы не в силах одним взмахом вознестись до святыни веры и повиновения одним законам вечным, будем, по крайней мере, сопротивляться искушению, станем на военную ногу и возбудим в вашей скандинавской груди мужественный дух Одина и Тора. Так можно поступать и в наше время искусственной деликатности и сентиментализма, высказывая всегда истину. Иногда случается, что весь мир сговорился терзать вас невыносимыми пустяками. Этот скучает, тому нездоровится; праздность, дела, нужда, недоумие толкутся в вашу дверь и кричат: ступай к нам! иди к нам! Но ты не ходи! Не расточай на это своей души, оставайся спокойно в твоем небе, в твоей горнице и отнюдь не вмешивайся в их *факты,* в эту бестолочь самых призрачных нелепостей; но проливай свет незыблемых законов на их смятение и безалаберность. Я не признаю, чтоб за людьми состояла власть налагать на меня муки ради их пустого поверхностного любопытства. Покончите с притворными узами приязни и изъявлениями гостеприимства; перестаньте раз и навсегда жить для исполнения ожиданий этих людей обманчивых и обманутых, с которыми вы водитесь. Скажите им: батюшка, матушка, друг мой, братец, до сих пор я жил с вами по всем условиям приличий, отныне же я принадлежу правде и буду следовать одним законам вечным. Я приложу все старания, чтобы доставлять пропитание моей семье и родственникам, и буду вернейшим мужем моей

жены, но все эти отношения обосную на начале новом, соответствующем духу моей природы, а не примеру других. Ваши обыкновения не по мне; я не могу долее для них уничтожаться. Если вы в состоянии любить меня таким, как я есть, это большое для нас счастье; если же нет, то верьте, что я все-таки буду достоин вашего уважения. Вникните еще раз, что мне должно наконец быть самим собою, перестать скрывать мои наклонности и мое отвращение, стоять за святыню моих глубочайших убеждений, и признаюсь вам, что я готов пред лицом вселенной приводить в действие мысли, наполняющие душу мою восторгом, и идти к цели, указываемой мне ею. Если в вас есть благородство, вы не лишите меня за это своей любви; в противном случае, я не оскорблю ни вас, ни себя лицемерною податливостью. Если, сами любя правду, вы не сознаете тех истин, какие сознаю я, ищите своих единомышленников, я буду искать себе моих. Не по духу гордыни или себялюбия решился я поступать так, но по смирению и искренности. Выгода моя, ваша, выгода всех людей — жить по правде, как долго не жили бы мы прежде по лжи. Мои слова кажутся вам теперь жестки, но не сегодня, так завтра, вы сами последуете внушениям своей природы, и если мы имеем в виду истину, она приведет и вас, и меня к одной цели.

Но, скажут мне, поступив таким образом, вы огорчите своих близких. Конечно, не могу же я, однако, закабалить и себя, и все силы моего духа из опасения потревожить их чувствительность. Притом на всех людей по временам находит рассудок, в такие минуты они ясно понимают, что добро, что истина, и в такие минуты я жду от них не только моего оправдания, но и подражания моему примеру.

И действительно, почти богоподобен должен быть тот, кто, отвергнув побуждения и причины, по которым обыкновенно действует человечество, решается иметь доверие к самому себе. Высока должна быть

душа, тверда воля, ясен взгляд у того, кто может заменить себе общество, навыки, постановления и довести себя до того, чтобы одно внутреннее убеждение имело над ним ту же силу, какой клонит других железная необходимость.

Но, глядя на теперешний дух общества, нельзя не убедиться в необходимости этого правила. Нервы и сердце человека высохли, и все мы стали робкими, оторопевшими плаксами. Мы боимся правды, боимся счастья, смерти, боимся один другого. Много ли есть в наш век личностей великих, доблестных? Нет, нет между нами ни мужчин, ни женщин, способных дохнуть обновлением на нашу жизнь, на наш общественный быт. Большая часть людей нам современных оказываются до того несостоятельными, что они не в состоянии удовлетворить своим собственным потребностям; их самолюбивые притязания стоят в разительной противоположности с их действительным могуществом, которое со дня на день хиреет и оскудевает. Все мы — ратоборцы гостиных, и когда нужно сразиться с судьбою, мы благоразумно обращаемся вспять, не понимая, что в таком-то именно бою и крепнут силы.

Нашим молодым людям не посчастливится первая попытка, и они впадают в уныние; не повезет с первого шага новичку-купцу, и добрые люди твердят: он разорился! Если самый дивный гений, когда-либо учившийся на школьных скамейках, не имеет через год после учебного курса порядочного места в Бостоне или в Нью-Йорке, то и приятелям его, и ему самому уже чудится, что следует опустить крылья и горевать во всю остальную жизнь. О, да явятся среди нас твердые духом, которые растолковали бы людям, что в них есть множество данных и множество средств и что с доверием к себе в них обнаружатся новые возможности и силы! Да научат они нас, что человек есть слово, сделавшееся плотью; слово, назначенное для врачевания ран, нанесенных человечеству разными учреждениями, обычаями, книгами, идолопоклонствами!

С этой точки зрения нетрудно усмотреть, как большее доверие к себе и взаимная почтительность к божественности человека могут произвести самые важные перевороты во всех людских отношениях, занятиях, должностях; как могут измениться их образ воспитания, склад жизни, способы располагать имуществом и все условия их частных и корпорационных сближений; и цели их деятельности, и отвлеченные изыскания, и самая сущность их религии.

К слову о религии; посмотрим, в чем, по большей части, состоят молитвы людей и что такое молитва? Молитва есть доступ в бесконечность; она должна испрашивать у Бога даровать душе новую доблесть, поддержать, окрылить ее силою неведомою, неземною; молитва совокупляет видимое с невидимым, обыденное и знаемое с дивным и сверхчувственным. Молитва — это обзор всех событий жизни с высочайшей точки зрения, это одинокая беседа души, погруженной в созерцание и восторг от дел своего Создателя; души, согласной с Ним в духе и исповедующей, что всякое Его даяние благо и всяк дар совершенен. Но просить себе молитвою такую-то особую утеху, вне добра вечного, — недостойно человека; но смотреть на молитву, как на орудие к достижению той или другой житейской цели, — низко и постыдно. Такая молитва есть доказательство раздвоения, а не единения внутреннего сознания с законом естества, потому что человек, слившийся воедино с Богом, радостно отрекается от своей личности: возвышение духа сопровождает его и возбуждается на каждом шагу. Лодочник при всяком напоре на весло, земледелец пред началом работы, испрашивая благословения свыше, произносят молитву настоящую, понятную для всего созданного, хотя их цель кажется маловажною и одностороннею.

Другой род ложных духовных вспомогательств составляют наши соболезнования и изъявления участия; в них виден недостаток самоуверенности и не-

дуг воли. Сожалейте о постигшем его бедствии, если вы тем облегчаете страждущего; или принимайтесь бодро за дело и исправляйте причиненное зло. Но наше сочувствие также трусливо, как и наши сожаления. Мы стремглав бежим к тому, кто плачет, — часто из-за пустяков, — потом садимся и громким кликом сзываем к делу утешителей каких ни попало, тогда когда следовало бы наставить его на путь истины и оздоровления хорошими электрическими ударами и тем восстановить снова деятельность его души. Тайна всех удач заключается в бодрости духа. Благословен богами и людьми человек, имеющий к себе доверие. Все двери растворяются пред ним настежь, о нем говорят на всех языках, его венчают все поэты, сердца всех несутся к нему навстречу потому именно, что он может обойтись без всего этого. Мы ревностно и щедро сыплем ему хвалы за то, что он шел своею дорогою и пренебрегал нашим одобрением. Боги любят того, кого возненавидит толпа.

Наши молитвы и соболезнования доказывают недуг воли; по немощи же разума мы слишком крепко полагаемся на то, что нам внушит чужой ум, более самобытный и деятельный. Явится какой-нибудь Локк, Лавуазье, Бентам, Шпурцгейм, подчинит множество людей своей классификации и — увы! своей системе. Чем глубже лежит его мысль, чем многочисленнее разряд предметов, затронутых им и поставленных под уровень понятий ученика, тем заманчивее кажется его система. Ученик с восхищением гнет все на свете под вновь изобретенную терминологию, и точно, на время, он многим обязан учителю, развившему своими сочинениями его мыслительные способности. Но для скольких ограниченных голов классификация становится идолом, концом из концов, а не средством скоро истощаемым; за пределами своей системы их глаз перестает видеть и дальний небосклон, и беспредельность вселенной. Им становится невозможным вообразить себе, чтобы вы, не-

знакомый с их системою, могли тоже иметь глаза, видеть ими далеко и ясно, и они заключают, что вы, вероятно, поживились лучом их света, не замечая того, что свет незаходимый, вечно юный, чудодейственный горит над миром, как в первый день сотворения и поглощает в своем сиянии все преходящие школы и системы.

Благодаря недостатку самобытного развития еще держится страсть к путешествиям и идольское поклонение Греции и Италии. Я не восстаю против путешествий, предпринимаемых для наук, искусств или образования; я желал бы только, чтобы прежде чем пускаться в дальние края, вы установились бы в самом себе и осмотрелись вокруг себя. Тот же, кто путешествует с целью рассеяться и для того, чтобы взглянуть вскользь на предметы, которые он с собою не унесет, *тот убегает от самого себя,* старается на первых порах молодости, и его ум, его воля делаются развалинами, такими же дряхлыми, как развалины Фив и Пальмиры. В часы трезвого уразумения мы сознаем, что долг наш там, где мы; что приятные спутники и услады даются нам своевременно, без нашего домогательства, и что нам не годится кидаться за ними в погоню.

Страсть к путешествиям есть признак глубокой порчи, закравшейся в наши умственные способности. Наш разум сбит с толку, образ же нашего воспитания еще более мечет его туда и сюда; оттого и ум гоняется у нас за тем и за другим, хотя тело поневоле сидит дома. Мы принимаемся тогда подражать отдаленному, чужеземному; по этим образцам пьем, едим, строим себе дома, перенимая вкусы, мнения, дух народов иностранных, времен прошлых, с раболепством служанки, следящей глазами за госпожой.

Поверьте мне, душа, одна душа создала искусства, где бы они ни появлялись. Художник находил свои образцы не в дали, а в собственном своем духе, прилепляясь мыслью к задуманному труду и сообразу-

ясь с условиями, которые надлежало соблюсти. Напирайте на самого себя, не подражайте никому! Придет тот час, когда вам возможно будет выказать дар, вам свойственный, во всей силе сосредоточенной целою жизнью, посвященною на его образование; тогда как даром перенятым вы пользуетесь на миг, и пользуетесь им наполовину. Где тот профессор, который образовал Шекспира, Франклина, Бэкона, Вашингтона, Ньютона? Изучение Шекспира сделает ли из меня второго Шекспира? Между тем как принявшись за дело, мне сродное, без излишней дерзости и самонадеянности, я могу придумать для его исполнения такую сноровку, которая, несмотря на различие, не уступит той, что облегчила Фидию ваяние, египтянам зодчество, Данту его поэзию. С другой стороны, если я вполне понимаю то, что говорят родоначальники мысли, без сомнения, и я имею способность отвечать им с тою же силою слова. Вселитесь в животворные области простоты и благородства, повинуйтесь своему сердцу, и еще раз воссоздадите вы угасшие миры красоты и стройности.

Как нет ничего самостоятельного ни в нашем богопочитании, ни в воспитании, ни в изящных искусствах, так нет ничего положительного и в духе нашей общественной жизни. Весь свет хвалится прогрессом человечества, и никто нейдет вперед. То же самое заметно и в обществе: зайдя далее в одну сторону, оно отступает с другой; прогресс его мнимый, оно только хвастается за беспрерывные перемены: варваризм и образованность, роскошь и наука, — все это различные положения, а не коренные улучшения. Сверх того, каждое подобное приобретение сопряжено с некоторым лишением; общество обогатится, например, новым открытием, а между тем утратит некоторое свойство, врожденное в каждом из нас. Какая разница между американцем, прекрасно одетым, пишущем, читающем, думающем, имеющем в кармане часы, карандаш, банковый билет, и обитателем Новой Зеландии, на-

гим владельцем одной палицы, рогожи и спящем, где случится! Но сравните здоровье этих двух людей, и вы увидите какого врожденного первостатейного преимущества лишился белый человек. Если верить путешественникам, рана дикаря, просеченного топором, заживает в день или два, тогда как такая же рана спровадит белого в могилу.

Образованный человек имеет экипажи, но едва владеет своими ногами. У него прекрасные женевские часы, но ему не узнать времени по солнцу; он купит астрономический календарь и, полагаясь на то, что найдет в нем все нужное, не сумеет отличить ни одной звезды на небе, не подметит ни весеннего, ни осеннего равноденствия, и все великолепные знаки зодиака не находят ни малейшего отражения на его мысли. Разумный человек всегда приходит назад к тому, что собственно необходимо для человека. Художества, открытия и изобретения суть только наружные вывески такого-то времени и не придают мощи человеку. Вред механических усовершенствований притупляет их пользу: Гудсон и Беринг, со своими простыми рыбачьими лодками, превзошли Парри и Франклина, чьи суда вмещали все пособия наук и художеств. С одною подзорною трубкою Галилей усмотрел целый ряд таких великолепных фактов, что все последующие открытия немного пред ними значат, а Колумб достиг Нового Света на самом дрянном корабле.

Еще вопрос: огромные собрания книг — плодоносны ли они для ума? Общества страхований уменьшают ли бедственные случаи? Не променяли ли мы на внешнюю утонченность нравов большое количество внутренней энергии? А установив чин и обряды Богослужения, много ли поддерживаем его пламенным, бестрепетным духом? В секте стоиков каждый был стоик, но между христианами всякий ли христианин?

В законах нравственного порядка нет уклонений, точно так же, как нет их в физических законах тяго-

тения и быстроты движения: прогресс человеческого рода не зависит от времени. Все знания, все искусства, все философии и секты XIX столетия не произведут людей выше «великих людей Плутарха». Тот, кто по духу сродни Фокиону, Сократу, Анаксагору, тот, не называясь их именем, остается просто сам собою и в свою очередь делается главою новых последователей.

По недостатку доверия к себе люди с величайшим тщанием поддерживают раз установившийся порядок: гражданский, учебный, религиозный; из боязни, чтобы удары, нанесенные этим учреждениям, не отозвались на их собственности; они до того опираются на внешность предметов, что на самый прогресс души человеческой, выражаемый в гражданственности, в просвещении и богопочтении, смотрят как на оплот своих владений. Их уважение измеряется богатством того и другого, а не внутренним достоинством человека. Но человек истинно просвещенный стыдится своих владений, своих капиталов, из уваженыя к своему *я*. Еще более ненавистно ему его богатство, если оно досталось случайно, по наследству, в подарок или через преступления предков; он чувствует тогда, что оно не имеет с ним тесной внутренней связи, но держится в его руках, покамест не нашелся еще на него вор, или не похитила его революция.

Но по самому существу своему человек обязан приобретать, и его приобретения должны быть так жизненны и прочны, что никакие революции, правительства, толпы, бури, пожары и банкротства не могли бы потревожить его и чтобы такая собственность, где бы он ни находился, всюду имела силу обновления. «Будь покоен, — говорил Калиф Али, — твоя судьба ищет за тебя; так не пускайся же вдогонку по ее следам». Зависимость от благ, нам чуждых, внешних, доводит нас до рабского почтения многочисленности. Политические партии навалом являются в собрания: Ура! ура! вот уполномоченные Эссек-

са, — демократы Нью-Гемпшайра, — виги Мэна! — каждый молокосос приободряется, примкнув к сторукой и к стоокой толпе. Таким же образом составляют и реформаторы собрания из своих соумышленников: обсуждают и решают полчищем.

Нет, не при таких условиях, о друзья мои, Господь удостоит прийти и вселиться среди вас, — не при таких! А на основании, совершенно противоположном, — это тогда, когда человек отвергает гнилые, внешние опоры и, ничего не прося от людей, среди беспрестанных колебаний остается несокрушимым столпом окружающего. Человек, верьте мне, есть существо многозначащее, и тот, кто знает, что могущество заключается в душе, что он слаб, когда ищет силы вне себя, и, заметив это, неуклонно предастся идее, его одушевляющей, — то, обуздав и тело, и дух, делается властелином, идет прямо и свершает чудеса. Он похож на человека, который, стоя на своих ногах, естественно сильнее того, который опрокинулся головою вниз.

Поступайте так же и с тем, что называют *счастьем;* много у него поклонников и гонцов: подержат его в руках и потеряют при обороте колеса. Не увлекайтесь такими преследованиями, они противозаконны; держитесь только правила причины и следствия, — вот исполнители Божественной воли. Добывайте себе все трудом и волею, этим налагаются оковы на колесо случая, которое навсегда покатится вслед за вами. Торжество вашей партии, понижение и возвышение биржевого курса, выздоровление от болезни, возврат отсутствовавшего друга, то или другое обстоятельство радуют вас, и вы начинаете надеяться, что для вас готовятся дни счастья. Не надейтесь — не сбудется! Никто не умиротворит вас, кроме вас самих, и ничто не удовлетворит, кроме торжества ваших убеждений.

БЛАГОРАЗУМИЕ

Какое имею я право писать о благоразумии? У меня его не то мало, не то состоит оно во мне в положении чисто отрицательном. Все мое благоразумие заключается в том, чтобы избегать неприятностей или же идти наперекор им, а не в том, чтобы выдумывать отменные руководства и правила. Я не обладаю тайною ловко держать себя и любезно извернуться при виде сделанного мне зла. Нет у меня и умения мудро распоряжаться деньгами, домоводством; и кто только взглянет на мой сад, то немедленно сообразит, что не мешало бы мне развести другой. Однако я люблю положительность, ненавижу нерешительность и людей, не имеющих ясного, дальновидного взгляда. Следовательно, мое право писать о благоразумии совершенно то же, какое я имею толковать о поэзии, о святости. Мы пишем по влечению, и прямому, и противоположному, а не вследствие собственной опытности, и часто описываем свойства, которых у нас нет.

Итак, начнем о благоразумии!

По моему мнению, благоразумие есть добропорядочность внешних чувств; изучение наружного, видимого. Это самое объективное действие нашей души; это — божество, промышляющее о животном. Благоразумие обращается с миром физическим по законам мира физического; подчиняясь им, оно охраняет здоровье телесное; бодрость же духа охраняет оно своим повиновением законам духовным. Мир внешних чувств есть мир призрачный; он существует не сам для себя, но он облечен характером символа. Похвальное благоразумие, или знание внешнос-

ти вещей, сознает соприсутствие других законов; оно понимает, что его радение второстепенно и что его блюстительность относится к оболочке, но не к самому сердцу предметов. Благоразумие, отчужденное от других качеств, есть ложное благоразумие. Оно законно лишь в смысле естественной истории воплотившейся души, лишь в своей должности развивать пред нею многоценный свиток законов природы под тесным небосклоном ее внешних чувств.

Степени для успешного ознакомления с миром бесчисленны; для настоящего нашего обзора достаточно обозначить их три. Есть такой род людей, который живет только ради *пользы* символа; в этом отделе богатство и здоровье почитаются наиважнейшими благами. Другой разряд, повысившись над предыдущими торгашами, прилепляется к *красоте* символа: сюда относятся естествоиспытатели, ученые, поэты, художники. Третий отдел всем своим бытием уже переступает за черту красоты символа и поклоняется самой *сущности,* для которой символ служит только отражением: это люди мудрые. Первые имеют толк, вторые — вкус, третьи — духовное провидение. Много уходит времени, пока человек добирается до вершины лестницы; но, достигнув ее, он проникает смысл символа и наслаждается им вполне. Око его отверзается для красоты нетленной, и если он водрузит шатер свой на священной и светоносной вершине видимой природы, уже не житницы, не дома примется он там строить, но возблагоговеет пред величием Творца, которое провидится ему с лучезарностью солнца, через каждую скважину, каждую расселину.

Наш свет переполнен поступками и пословицами, внушенными благоразумием унизительным, обожающим одну материю, как будто в человеке нет ничего другого, кроме ушей, нёба, носа, глаз и пальцев! Как будто единственное назначение благоразумия состоит в спросе: *А выпечется ли из этого хлеб?* Благоразу-

мие такого рода, — точь в точь та болезнь, которая утолщает кожу до того, что уничтожает этим все прочие органы тела. Развитие же духа, удостоверяя нас в высоком начале видимого мира и устремляя человека к совершенству, как к высшей цели его назначения, низводит все остальное: здоровье, богатство, земную ли жизнь — на степень средств. Подобное развитие доказывает, что благоразумие не есть какая-то особенная добродетель, но только имя, которое принимает мудрость в своих отношениях к телесному составу и к его потребностям. И потому всякий вполне образованный человек и думает, и говорит, что богатство, вес общественный и гражданский, сильное личное влияние, увлекательная и неотразимая ловкость, имеют значение чрезвычайно важное, как свидетельства могущества духа. Но если такой человек видит, что его собрат потерял равновесие, что он мечется во все стороны за делом или за удовольствием из одной страсти что-нибудь делать и как-нибудь веселиться, то он заключает, что такой собрат еще может быть звеном или колесом в механизме всемирном, но что сам по себе он развит еще недостаточно.

Дрянное благоразумие, не ищущее ничего далее своих пяти чувств, есть божество глупцов и трусов. Над ними подшутила сама природа, и их-то по преимуществу и литература, и комедия избирают целью своих насмешек. Но законное благоразумие ставит пределы чувственности вследствие своего знания мира внутреннего, действительного. Нам стоит только раз приобрести это знание и определить своей длительности и своему времяпровождению место, им соответствующее, чтобы каждое заявление нашего внимания к условиям физического мира получило вознаграждение. Потому что бытие наше, которое, по-видимому, находится в такой зависимости от природы внешней, от солнца, от луны, от перемены времен года, но которое, однако, осваивается и обживается во всяком климате, — это бытие, всегда го-

товое на добро и на зло, пристрастное к роскоши, избегающее холода, голода и досадной уплаты долгов, оно тем не менее вычитывает все свои первые уроки — помимо открытых скрижалей природы — в своем внутреннем мире ощущений и сознаний.

Благоразумие не пойдет наперекор природе и не станет спорить о том, зачем она такая, а не другая; оно принимает ее законы, так как они есть, в ее условиях, подходящих с наилучшею соответственностью к естеству человеческому. Благоразумие чтит пространство, время, сон, телесные потребности, закон полярности, роста, смерти. Оно убеждается, что солнце и луна, эти всем известные *формалисты* небесной тверди, совершают свои суточные и годовые круговращения для того, чтоб очертить пределами и законами времени человека, это вечно уклоняющееся существо, что его со всех сторон облегает упорная, неподатливая материя, никогда не отдаляющаяся от своей химической рутины, что человек живет на шаре, насквозь проникнутом, везде и повсюду окруженном уставами природы, и что на своей поверхности этот шар размежеван на гражданские участки и владения, которые налагают стеснения и ограничения на каждого из его временных обитателей.

Прекрасны законы времени и пространства! Ниспровергая их, по невежеству и непониманию, мы открываем за ними мрачные вертепы и опасные логовища. Пошарьте в улье неосторожными руками, и вместо меда вы вызовите на себя рой пчел. Человек обязан в точности ознакомиться с обыденными вещами, из которых слагается наша жизнь. У него есть руки — пусть ими касается и осязает; у него есть глаза — пусть ими смотрит, измеряет. Самые слова и поступки хороши тогда, когда сказаны и сделаны вовремя. Как гармонирует с ясным июньским утром чиркание косы о точильный камень! Но как уныл этот звук в глухую осень, в руках запоздалого косаря! Люди ветреные, непредусмотрительные, всюду опаздыва-

ющие или являющиеся невпопад, портят гораздо более, нежели свои дела: они портят нрав тех, кто имеет с ними дело.

Сколько людей, преданных науке и умозрению, заставляют нас краснеть от двусмысленности своей жизни! Посмотрите на этого ученого: он превосходен, когда в нем действует побуждение, которое выше благоразумия; но в случае, где необходим здравый смысл, он нестерпим. Вчера Юлий Цезарь едва приходился ему по плечо, сегодня он валяется на свалке, жалостнее Иова. Вчера, облитый сиянием мира горнего, мира ему привычного, это был первый из первых; сегодня пришла нужда, постигла хворость, и он прибегает к похвальбе, он рисуется, потому что верно уж никто другой не станет его чествовать в теперешнем виде. Он похож на тех потребителей опиума, что шатаются по константинопольским базарам, иссохшие, пожелтевшие, оборванные, отупевшие, до того часа, как откроются лавки. Настанет вечер, они проглотят свою порцию и делаются покойны, оживленны, почти вдохновенны. И пред кем из нас не пронеслась трагедией безрассудная растрата сил у людей с гениальными способностями, которые потом целые годы маются в нужде, в лишениях, и — гиганты, заколотые булавками, клонятся долу, оскудевшие, оледенелые, не принеся своих естественных плодов.

Мы выдумали очень громкие слова, для того чтобы прикрывать нашу чувственность; но никакой талант в мире не может облагородить привычек невоздержания. Даровитые люди делают вид, что нарушение чувственных законов считают пустяками в сравнении со своим благоговением к искусству; но искусство вопиет за себя и уличает их, что никогда не наставляло ни на разврат, ни на кутеж, ни на наклонность собирать жатву там, где ничего не было посеяно. Искусство их умаляется с каждым понижением нравственности, умаляется от каждой погрешности против здравого смысла. Пренебреженные основы

мстят своим хулителям, и пренебрегавший малыми вещами погубит себя еще несравненно малейшими. Гётев «Тасс» не только превосходный исторический очерк, но и настоящая трагедия. Бедствия тысячи людей, угнетенных и умерщвленных каким-нибудь извергом Ричардом III, по моему мнению, не причиняют таких страданий, как эти страшные раны, которые обоюдно наносят один другому Антонио и Тасс. Оба, по-видимому, полны прямодушия; только один просто и откровенно живет по правилам светской мудрости, тогда как другой, пламеневший всеми божественными чувствами, предается, однако, наслаждениям материальным, хотя бы и рад не подчиняться их владычеству. Вот страдание, которое испытываем все мы! Вот узел, который мы не в силах развязать! И то, что сбылось с Тассом, часто встречается в современных биографиях. Человек гениальный, пылкого темперамента, не щекотливый насчет законов чувственных, много позволявший и все себе извинявший, в весьма скорое время становится пасмурным, задорным, *недотыкой,* настоящим терновым кустом для себя и для других.

Но кто осмелится обвинять другого в неблагоразумии? Кто из нас благоразумен? Те, которых мы называем великими людьми, еще неблагоразумнее прочих. Есть, есть роковой разлад в ваших отношениях с природою; он исказил весь строй нашей жизни, он сделал к нам враждебным каждый из ее законов, и теперь эти законы природы побуждают, как мне кажется, все умы и все сердца водворить между нами новый лучший порядок. Да, да, нам необходимо приступить со многими вопросами к высочайшей Мудрости, испросить Ее советов, и от Нее узнать — красота, гений, здоровье, составляющия теперь исключения, — не суть ли в своем основании всеобщее достояние человеческой природы? Нам незнакомы еще до сих пор ни свойства растений, ни свойства животных, ни законы физического мира, и, несмотря на

нашу любознательность и склонность к этим предметам, все, их касающееся, подлежит еще догадкам и вымыслу. Возьмем другой пример: поэзия и благоразумие должны бы быть тождественны. Если бы эта тождественность существовала на деле, законодателем был бы поэт, и самое высшее лирическое вдохновение служило бы не поводом к укору и к оскорблению, а к обнародованию кодекса просвещения и гражданственности, к распределению трудов, занятий и назначения каждого дня. Теперь же эти свойства как будто непримиримо разлучены. Мы нарушили один закон за другим, стоим посреди развалин и, если где-нибудь случайно заметим совместимость разума с вдохновением, так считаем это чудом.

Красота должна бы быть принадлежностью каждого мужчины, каждой женщины, а между тем красота — редкость; точно то же можно сказать о здоровье и о крепости тела. А гений? Разве это отвлеченность, а не воплощение? Разве не следовало бы ему быть не гением, одиноко стоящим, взявшимся Бог весть откуда, а, напротив, законным, *гениальным сыном гениального отца,* и каждому ребенку уже рождаться вдохновенным? Где же теперь гений без примеси и в каком младенце может он надежно сохраниться? Из одной учтивости называем мы *гением* полупроблески света; этим именем величаем мы талант, променянный на звонкую монету; талант блестящий сегодня для того, чтобы славно пообедать и славно поспать завтра, и посмотрите: повсюду человеческие общества находятся в руках — как их по справедливости называют — *людей партий,* а не людей божественных. Такие люди пользуются своим преобладанием для того, чтобы еще более утончить чувственные наслаждения, а не для того, чтобы вести против них открытую войну. Напротив того, истинный гений — аскет по природе, аскет, полный благоговения и любви. Прекрасные души смотрят на чувственные влечения как на немощь; они видят красоту в границах,

которые их сдерживают, и в нравах, которые им противодействуют.

Так не лучше ли человеку покориться при первых наказаниях и горьких проучениях, которые не замедляет насылать ему природа с целью вразумить его в том, что он не должен дожидаться других благ, кроме плодов, выработанных собственным трудом и владычеством над самим собою? Конечно, и богатство, и пропитание, и климат, и общественное положение имеют свое значение, и мы должны сообразоваться с их справедливыми требованиями. Но пусть человек более смотрит на природу, как на свою верную, неотступную наставницу, и пусть ее совершенно правильный ход служит для нас мерилом наших уклонений. Некоторая доля мудрости непременно добудется из каждого поступка естественного и благонамеренного; время, рано или поздно, открывает нам цену самых простых фактов, таких, например, что не худо делать из ночи ночь, из дня день; не худо умерять свою расточительность и убедиться, что почти столько же нужно благоразумия для хорошего управления своим частным домом и хозяйством, сколько для управления целым государством. В этом смысле можно многое сказать в защиту оптимизма и указать на тихие струи радости и довольства, которые могут повстречаться вам и на улицах предместий, и в каждом укромном уголке этого прекрасного мира, пусть только человек остается верен раз постановленным законам, и удовлетворение его не минует. Есть гораздо более разницы между качеством, чем между количеством удовольствий, почти равном для каждого из нас, несмотря на их разнообразие.

Человек обязан ознакомиться и с благоразумием высшего разряда; он должен знать, что все в мире, даже самые пушинки и соломинки, подлежит законам, а не случайности; таким образом, и он пожинает только то, что посеял. Ему будут принадлежать плоды, взращенные его трудами; ему предоставлено достижение самообладания и его охранение от посягательства

других, с которыми не следует завязывать отношений горьких и докучных, помня, что наибольшая выгода, доставляемая состоянием, есть все-таки независимость. Не должно пренебрегать и добродетелями второстепенными. Сколько из человеческой жизни тратится времени на ожидание! Сколько слов и обещаний оказываются обещаниями салонов, тогда как они должны бы быть непреложны, как судьба.

Мы не беремся в наших «Опытах» касаться основных законов какой бы то ни было добродетели, уединив ее от всего прочего. Природа человека симметрична; она не любит ни односторонности, ни крайностей. Благоразумие, доставляющее внешние блага, не должно быть предпочтительною наукою такого-то кружка людей, между тем как другой кружок посвятит себя изучению героизма, святости и т. п. Нет, этим различным свойствам необходимо примириться. Конечно, благоразумие имеет в виду время текущее, лица живущие, их быт, их собственность; но так как всякий факт имеет свой корень в душе, то и самое умение распоряжаться предметами видимыми проистекает из основательного знания их причин и начала, и потому добрый человек должен быть в то же время и человеком мудрым, и великий политик — человеком великого простосердечия. Всякое нарушение истины есть не только некоторый род самоубийства для души, свершающей это преступление, но оно есть притом удар кинжала в самое сердце человеческого общества. Ход событий превращает в разорительную дань самую прибыльную ложь, тогда как искренность оказывается наилучшею политическою мерою, потому что, вызывая откровенность, облегчает взаимные, обоюдные отношения и меняет сделку на дружбу. Имейте к людям доверие, и они будут доверчивы к вам; обходитесь с ними великодушно, и они проявят свою возвышенность с вами, хоть, может быть, по исключению и наперекор своим принятым правилам.

При обстоятельствах затруднительных и неприятных благоразумие заключается не в увертках и в побеге, но в

мужестве. Кто хочет вступить в светлые области жизни, тот должен приковать себя к решимости прямо смотреть в лицо тому, что наводит на него страх, и страх снимется как рукой. Латинская пословица говорит: «в битве поражение начинается с глаза»; и точно: оробевший глаз чрезвычайно преувеличивает предстоящие опасности. Ужас, наводимый бурею, по преимуществу забирается в каюты и камеры, но матросы и кормчий безустанно спорят с нею, и их силы возобновляются в борьбе, пульс бьется ровно, как в майский солнечный день.

Истинное благоразумие тоже не дозволит нам вести вражду с кем бы то ни было. Мы часто отказываем в сочувствии и в короткости окружающему, но дождемся ли мы лучшего сочувствия, большей короткости? Жизнь проходит в наших приготовлениях жить. Друзья наши и спутники умирают далеко от нас; мы становимся слишком стары, чтобы следовать за новизною или искать покровительства сильных и богатых. Конечно, в среде, нас окружающей, много найдется недостатков; конечно, в мире есть имена, восхитительные для воображения, звучные для лепета уст наших, — хороша и сладка была бы жизнь, когда бы можно проводить ее с желанными спутниками... Но если по различным особенностям характера вы не сойдетесь с ними душа в душу, они останутся для вас недосягаемы. Когда не Божество, а самолюбие завязывает узел людских сношений, могут ли они быть хороши, могут ли быть продолжительны?

Итак, истина, искренность, мужество, любовь, смирение и всевозможные добродетели служат опорою благоразумия или, говоря иначе, умения упрочить за собою земные блага. Не знаю, убедятся ли когда-нибудь в том, что весь материальный мир образован из одного газа — водорода ли, кислорода; но мир нравственный положительно весь выкроен из одного целого, неделимого: начните, откуда угодно, вам придется вскоре удостовериться, что необходимо протвердить десять нам данных заповедей.

ГЕРОИЗМ

У старинных английских драматургов, в особенности у Бьюмонта и Флетчера, до того постоянно высказывается понимание чести и благородства, что можно прийти к заключению, что благородство поступков составляло отличительный характер общественной жизни в их время, точно так же, как в нашем американском народонаселении отличают людей по цвету кожи. Явится ли, например, на сцену какой-нибудь Родриго, Педро, Валерий, и неизвестный и незнакомый, — тем не менее, герцог или градоначальник тамошней страны тотчас воскликнет: *«Вот истинный джентльмен!»* и начнет расточать ему вежливости и учтивости. Некоторый героический полет в характере и в речи, что так хорошо идет к красоте и к блестящей наружности, которыми эти авторы любили одарять своих героев, например Бонду-ку, Софокла, Безумца-Любовника и проч., придает говорящему лицу столько пылкости, столько чистосердечия и так прямо истекает из самой сущности его природы, что при малейшем поводе, при малейшем обстоятельстве простой разговор сам собою возвышается до поэзии.

Не вдаваясь в разбор весьма малочисленных примеров героизма, представленных поэтами и прозаиками, вспомним только о Плутархе, этом преподавателе и летописце героизма. Он изобразил нам Бразида, Диона, Эпаминонда, Сципиона и других исполинов времен минувших, чья жизнь служит опровержением трусости и безнадежности политических и религиозных теорий новейших времен. Отважное мужество, бодрая твердость, не навеянные той или другою школою, а почерпнутые в самой крови, так и дышат в каж-

дом о них анекдоте и доставили «Жизнеописаниям» Плутарха их огромную знаменитость.

Такие книги, которые возбуждают в нас здоровые, жизненные силы, гораздо нужнее для нас всех трактатов о политической или домашней экономии. Жизнь может сделаться пиршеством для одних людей умудренных; если же станешь рассматривать ее из-за угла благоразумия, она обратит к нам лицо грозное, истомленное.

Нарушения законов природы, свершенные и предшественниками, и современниками, налегли на нас и искупаются нами. Неловко и тяжело каждому живущему человеку... Что же это, как не доказательство попрания законов, и естественных, и разумных, и нравственных? И не только доказательство, но полное удостоверение в том, что нужно было нарушение за нарушением для того, чтобы дойти до накопления такой многосложности бедствий, окружающих нас со всех сторон. Война, чума, голод, холера обнаруживают какое-то озлобление в природе, которое, будучи возбуждено преступлениями человека, должно быть искуплено человеческими страданиями.

На просвещении лежит обязанность снабжать человека оружием против зла. Оно должно заблаговременно научить его, что он рожден в эпоху, когда мир стоит на военном положении, что общество и собственное его благосостояние требуют, чтобы он не прохлаждался в застое миролюбия, но, разумный и спокойный, не вызывал и не страшился бури. Что жизнь и его доброе имя находятся в полном распоряжении человека и что с безукоризненною чистотою действий, с неуклонною правдою на устах и с соблюдением наилучших уставов приличий ему нечего бояться черни и ее суждений.

Что такое героизм? Вот что: человек решается в своем сердце приосаниться против внешних напастей и удостоверяет себя, что, несмотря на свое одиночество, он в состоянии переведаться с бесчисленным сонмом своих врагов. Эту-то бодрую осанку души называем мы героизмом. Первая к нему ступень: пренебрежение приволия и

безопасного местечка. Затем следует доверие к себе и убеждение, что в действительной энергии есть достаточно могущества, чтобы исправлять все приключающиеся с человеком бедствия и отместь мелкие расчеты благоразумия. Герой отнюдь не думает, будто природа заключила с ним договор, в силу которого он никогда не окажется ни смешным, ни странным, ни в невыгодном положении. Но истинное величие разделывается обыкновенно, раз навсегда, с общественным мнением и нисколько не заботится исчислять пред ним то свои милостыни, то свои заслуги, чтоб принести себе оправдание и снискать его похвалу. В доблестной душе равновесие так установлено, что внешние бурные смятения не могут колебать ее воли, и под звуки своей внутренней гармонии герой весело пробирается сквозь страх и сквозь трепет, точно так же, как и сквозь безумный разгул всемирной порчи.

Героизм есть высшее проявление природы индивидуума; героизм следует чувству, а не рассуждению, и потому он прям во всех своих действиях. Сущность его — доверие к себе; средства — презрение ко лжи, к несправедливости, и сила переносит все, что ни постараются навлечь на него клевреты зла. Героизм откровенен и правосуден, великодушен, гостеприимен, воздержан; он гнушается мелочными расчетами и пренебрегает пренебрежениями. Дрянность обыденной жизни и ложное благоразумие, благоговеющее пред богатством и здоровьем, служат предметом его добродушных насмешек. Герой может некоторое время стоять в разладе с целым родом человеческим, не исключая людей великих и мудрых; но он не унывает, а повинуется своему врожденному, внутреннему призванию. И кто же в состоянии усмотреть всю разумную причину такого-то действия, как не тот, кто свершает его, ясно понимая, в чем оно заключается! Вот почему даже в людях мудрых и справедливых зароняется временное недоверие до той поры, как они убедятся, что подобные действия вполне соответствуют их собственным воззрениям. Со своей стороны, люди благоразумные косятся на такой *поступок*, за его совершенное проти-

воречие их чувственным понятиям о благополучии, потому что всякий героический поступок измеряется своим презрением благ внешних. Когда же, напоследок, и внешние блага не обходят героя, тогда и осторожные люди принимаются величать и восхвалять его до небес.

Если наш дух не властелин мира, то он делается его игралищем. Каждый безграмотный человек может прочувствовать не раз в своей жизни, что в ней есть что-то, не заботящееся ни об издержках, ни о здоровье, ни о жизни, ни об опасностях, ни о ненависти, ни о борьбе; что-то, заверяющее его в превосходстве и возвышенности его стремлений, несмотря на всеобщее противоречие и безвыходность настоящего положения. О, какие блага вселюбящая природа хранит для нас, своих нищих детей! Не существует, кажется, и промежутка между ничтожностью и величием. А между тем, смазливый блондинчик, умирающий с появлением проседи на голове, какими невинными глазами смотрит он на жизнь! Как легкомысленны и самоуверенны все его суетствия! Он то занимается нарядами, то печется о своем вожделенном здравии, то вымышляет хитросплетения и расставляет сети и западни, чтобы подтибрить лакомый кусочек или упиться одуряющим нектаром; то кладет он всю душу и все блаженство на приобретение ружья, верховой лошади и осчастливлен пустячною болтовнею, крошечным комплиментом...

Добрые люди, живущее по законам арифметики, замечают, как невыгодно гостеприимство, и ведут низкий расчет трат времени и непредвиденных издержек, которых им стоит гость. Напротив того, высокая душа гонит в преисподнюю земли всякий неприличный, недостойный расчет и говорит: «Я исполню веление Господа, он промыслит огонь и жертву!» По величию собственных свойств такая душа знает, что предлагая свой дом, свое время, свои деньги не из тщеславия, а из доброжелания, точно будто на самого Бога возлагаешь долг оказать и ей, в случае нужды, такое же вспомоществование, потому что закон возмездия исполняется в совершенстве по всей вселенной. Время, по-видимому, утра-

ченное, вознаграждается; заботы, принимаемые нами о других, сами собою несут благословение. Великодушные существа развевают по всей земле пламя любви к человеку и возносят над всем человеческим родом знамя общественных добродетелей. Постановив себя выше «стоимости съестных припасов и ценности драпировок», великая душа, оказывая гостеприимство, как услугу и как ласку, предлагает вам все, что она в состоянии предложить, и такой кусок хлеба, такой стакан воды слаще и вкуснее роскошнейших пиров всех столиц в мире.

Воздержанность героя проистекает не из одного уважения к своему человеческому достоинству, нет, он любит умеренность за ее изящность, а не за узкость; и не станет терять времени на то, чтобы высокопарно и горько сетовать на обычай пить вино, чай, опиум, есть разные мяса, одеваться в шелк, украшаться золотом. Сам он едва замечает, что подносят ему за обедом, что он носит на плечах, и жизнь его, нераспределенная по методе и по щепетильной аккуратности, близка к природа и к поэзии. Наш апостол индейцев Джон Элиот пил одну воду, но он отзывался о вине так: «Это славный, благородный напиток, и мы должны благодарить Бога, который дал его нам. Однако сколько мне помнится, вода сотворена прежде вина».

Нам рассказывают, будто Брут, после сражения при Филиппах, закалывая себя мечом, произнес стих Эврипида: «Всю жизнь следовал я за тобою, о добродетель, и теперь вижу, что ты — мечта!» Я вполне уверен, что этот рассказ — клевета на героя: великая душа не променяет на деньги своего благородства и своей правоты; она не гонится за вкусными обедами и за мягкими постелями. Сущность величия заключается именно в убеждении, что добродетель удовлетворяет сама себя, что ее красит бедность; ей не нужны богатства; при их потере она сумеет обойтись и без них.

Из всех качеств людей-героев более всего прельщает мое воображение их невозмутимая добродушная веселость. Торжественно страдать, торжественно отважиться и предпринять еще можно и при исполнении весьма обык-

новенного долга. Но великие души так мало дорожат успехом, мнением, жизнью, что не имеют и в помыслах склонять врагов просьбами или выставлять напоказ свои огорчения: они всегда просто — велики. Томас Морус шутит на эшафоте; Сократ осуждает себя за то, что принимал почести в Пританее; Сципион, обвиненный во взяточничестве, не унижает себя оправданиями, но пред лицом своих судей рвет на клочки отчет в израсходованных суммах.

Не обойдем молчанием важный факт: нашу любовь к герою. Кто из нас не забывал самого себя, читая рассказы о высоких исторических личностях и, еще ребенком, не прятал под школьные скамейки заветного романа, увлекавшего его воображение. Все описанные возвышенные качества и выспренные доблести принадлежат уже нам. Если наше сердце переполняется восторгом, слушая повествования о твердости души такого-то грека, о величии такого-то римлянина, — это знак, что подобные чувства уже сделались доступны нам самим. Тогда выясняется пред нами обязанность сознать с первых шагов и от первой ступени лестницы восхождения, что одни предрассудочные мнения по одной своей привычке все обусловливают временем, местом, пространством, числом. И зачем словам Греция, Рим, Восток, Италия так сильно потрясать наш слух? Будем лучше стараться о том, чтобы в нашем, по-видимому, тесном жилище, на нашей еще незнаменитой родине устроить храм, достойный вмещать высоких посетителей. Поймем наконец и прочувствуем, что там, где жива душа, туда нисходят и Музы, и Боги, а не такое-то место, ознаменованное географическим положением. Этот факт важен — учтите его и вскоре увидите, что в том самом месте, где живете вы, не замедлят посетить вас искусства и природа, надежды и опасения, и друзья, и ангелы, и Верховное Существо.

Великий человек дарует славу месту своего рождения; он знакомит и дружит свою родину с воображением людей, и воздух, которым дышит он, кажется самою животворною стихией для развития и образования многостороннего ума и преизящного вкуса. Самая прекрасная

страна та, где живут самые прекрасные люди. Те дивные образы, которые носятся пред нашим воображением, когда мы читаем про то, что мог свершить Перикл, Ксенофон, Колумб, Баяр, не доказывают ли нам, до какой степени мы опошляем нашу жизнь, без всякой надобности, тогда как живя всею глубиною жизни, мы украсили бы наши дни великолепием более нежели патриотическим, присовокупив к тому действия по таким началам, которые касались бы и человечества, и природы, во все продолжение нашего существования на земле.

Мы сами видали необыкновенно даровитых молодых людей, или мы слыхали о них, и что же? Они никогда не достигали зрелости, и роль их, при нынешнем складе общества, отнюдь не была необыкновенна. Бывало, лишь только они заговорят о книгах, о жизни, о религии — их вид, их осанка, их речи заставляли нас дивиться их превосходству, так справедливо казалось их отвращение к порядку вещей, всемирно существующему, и так походил их голос на голос юного гиганта, имеющего власть и посольство все изменить к лучшему. Но, с получением должности, с началом карьеры, гиганты понижаются до уровня обыкновенных людей. Бывало, им служило, их окружало чарами стремление к тому идеалу, в сравнении с которым *действительность* кажется такою пошлою. Но закосневший свет отплачивает за это; он кладет свое клеймо на их грудь, лишь только они спустят ноги со своего огненного рысака. Не нашли они притом ни образцов, ни сотоварищей и пали духом! Так что же? Урок, преподанный их первоначальными стремлениями, тем не менее, есть сама истина, и со временем другой человек, с большею силою, чистотою и праведностью духа, осуществит их помыслы, оставшиеся в бездействии, и пристыдит этим мир. Почему и женщине оставаться в подчиненности пред другими женщинами, уже прославленными в бытописях? Сафо, г-жи Севилье и Сталь, быть может, не вполне удовлетворяют наши помыслы, но почему же не удается это ей? Обязанность разрешить множество новых и самых увлекательных вопросов лежит и на женщи-

не. Да идет каждая возвышенная душа ясно и твердо, своим избранным путем, пускай перенесет испытания, возлагаемые на нее каждым новым опытом, и поочередно применяет все дары, посылаемые ей Богом, на укрепление своей силы и благодати. Молодая девушка, которая, гнушаясь происками, установит в себе, по собственному выбору, некоторые точные правила и мерила высокого; такая девушка, не заботясь о средствах нравиться, но оставаясь всегда искреннею и благородною, вдохнет некоторую часть своего благородства в каждого из своих поклонников. Она найдет одобрение в своем безмолвном сердце, найдет и освежение духа во всем существе своем. О друг мой, не робейте при начале плавания, бодро идите к пристани или носитесь по волнам с Богом в помощники! Верьте мне, не напрасно вы живете: вы веселите, вы очищаете каждый взгляд, брошенный на вас.

Нет такого человека, в котором бы никогда не прорывалась мимолетная вспышка, — трепет — припадок великодушия. Но героизм истинный, непритворный, отличается своею выдержкою. Если в вас есть величие, живите более с самим собою и не пытайтесь, из трусости, жить в мире с целым светом. Героизм — вещь не пошлая, а пошлость — не героизм. А между тем, за всеми нами водится слабость заискивать одобрение людей в действиях, превосходство которых состоит именно в том, что они выше сочувствия сегодняшнего дня и подлежат более поздней оценке правосудия. Вы решились оказать услугу ближнему? И не отступайте назад под предлогом, что умные головы вам этого не советуют. Будьте прямы в каждом своем поступке и радуйтесь, если вам случится сделать что-нибудь необыденное, замечательное и тем прервать однообразие века чопорных и лицемерных условий. Душе простой и мужественной совсем нейдет извиняться и оправдываться в том, что ей следовало исполнить; она может обозревать все свои поступки со спокойствием Фокиона, который, соглашаясь с тем, что сражение окончилось благополучно, объявил, однако же, что не раскаивается в желании и усилиях уклониться от него.

Времена героизма обыкновенно бывают временами ужасных переворотов; но есть ли такое время, в которое эта стихия человеческой души могла бы не найти себе упражнения. Говоря исторически о таких-то эпохах, о таких-то странах, — обстоятельства, в которых теперь живет человек, может быть, лучше прошедших. С большим просвещением всюду проникло более свободы; люди уже не хватаются за оружие при малейшем разногласии в мнениях, но героическая душа всюду найдет возможность заявлять свои высокие убеждения. Все доброе так еще нуждается в поборниках и в мучениках, и гонения все еще продолжаются. Не вчера ли еще храбрый Ловеджой* выставил грудь свою на пули черни для охранения прав свободы мысли, свободы слова и умер, потому что предпочел смерть — жизни.

Говорить правду, даже с некоторою строгостью, вести образ жизни умеренный, но вместе с тем благородно-щедрый, — вот что нам кажется духовным подвигом, предписываемым благою природою всем, кто находится в довольстве и в избытке, хотя бы для одного того, чтобы прочувствовать свое братство с большинством людей, пребывающих в нужде. Такой подвиг необходим не только для упражнения души добровольно возложенным искусом уединения, воздержания, постоянного хладнокровия, но и для того, чтобы подготовить свой дух и к исключительным напастям, которым мы можем быть подвержены: мучительные и отвратительные болезни, крики ненависти и проклятий, насильственная смерть.

Я не нахожу никакого другого средства достигнуть совершенного мира души, как следовать ее собственным указаниям. Если окружающее общество стоит в разладе с такими естественными правилами, лучше от него

---

* Ловеджой, один из самых ревностных аболиционистов, ездил из города в город, печатал журналы, издавал брошюры против торга и неволи негров. Преследуемый своими противниками как лютый зверь, он вынужден был бежать, настигнутый наконец ими, умерщвлен в собственном своем доме.

отшатнуться и пробираться своею избранною тропою. Чувства простые и высокие, беспрепятственно возникающие в сердце, служат закалом для характера и научают действовать с честью, — если того потребует необходимость, — и в народных волнениях, и на плахе. Все бедствия, когда-либо постигавшие людей, могут постигнуть и нас, и весьма легко, особенно в республике, где обнаруживаются признаки религиозного упадка. И потому не излишне каждому, а тем более молодому человеку, освоить свою мысль с бесстыдною клеветою, с огнем, с виселицею, с кипящею смолою и убедиться в необходимости так твердо установить в себе сознание долга, чтобы не оробеть и пред подобными муками, если завтрашнему журналу или достаточному числу соседей заблагорассудится провозгласить вас мятежником.

Впрочем, сердце самое трепетное может успокоить все опасения грядущих бедствий, усмотрев, с какою скоростью природа кладет конец чрезмерным ожесточениям всякого зла. Мы так быстро приближаемся к пределу, за которым не погонится за нами ни один из наших врагов. «Пусть их себе безумствуют, — говорит поэт, — твой сон безмятежен в могиле!» Среди мрака нашего неведения, того что будет, в те грустные часы, когда мы глухи к божественным голосам, — кто из нас не завидовал предшественникам, чьи великодушные усилия достигли желанного конца? Глядя на мелочность нашей политики, кто не поздравит в душе своей Вашингтона, не сочтет его счастливцем, потому что он давно обернут саваном и сошел в могилу, прежде чем в нем вымерла вера в человечество? Кто из нас никогда не завидовал тем добрым и доблестным, уже не страдающим от треволнений земного мира, но с благосклонным любопытством выжидающим в областях высших окончания перемолвок и отношений человечества с природою вещественною? А между тем, Любовь, которая может оскудеть здесь, от умножения беззаконий, уже отнимает у смерти ее жало и мощно заверяет, что она бессмертна и исходит из глубины неиссякаемого лона Существа абсолютного и предвечного.

ЛЮБОВЬ

Каждая душа — небесная восходящая звезда другой души. У сердца есть свои дни субботние, свои юбилеи; в продолжение их весь мир кажется ему брачным пиршеством, на котором и шелест листьев, и журчание вод, и голоса птиц напевают ему эпиталамы. Любовь присуща всей природе как побуждение и как награда. Любовь — высшее выражение из всего дара слова человека. Любовь — это синоним Бога.

Каждое стремление, каждый обет нашей души получает исполнения неисчислимые; каждое приятное удовлетворение соответствует новой пробудившейся в нас потребности. Природа, эта неуловимая, но безустанная прорицательница, при первом движении нежности в нашем сердце, уже внушает нам всеобъемлющее благоволение, которое поглощает в своем сиянии все расчеты себялюбия. Преддверием к этой полноте блаженства служит личная наклонность к любви между всем живущим на земле; наклонность эта делает жизнь человека очаровательною; в некоторую эпоху его существования она одушевляет его почти божественным восторгом, производит переворот в его душе и теле, скрепляет его связь с человеческим родом и племенем, убеждает его подчиниться обязанностям семьянина и гражданина, вселяет в него новое сочувствие к природе, удваивает силу его органических способностей, вдохновляет воображение, присовокупляет к его свойствам полеты героические, священные, служит основою брака и продолжением человеческого общества.

Естественная связь чувства любви с пылкостью крови, может быть, требует от того, кто хочет описать эту страсть яркими красками, такого качества, которое не отвергнет мгновенно полученная опытность молодой девушки или пламенного юноши. Я говорю о качестве молодости в самом живописце. Восхитительные мечты юности отклоняются от терпкого вкуса зрелой философии и обвиняют ее в желании охлаждать своими годами и педантством кипучую пурпуровую кровь молодых сердец. Почти уверен, что таким членам Двора и Парламента Любви я покажусь холодным и жестоким; но на этих непреклонных судей я подам апелляцию тем, кто еще старее меня. Потому что нужно взять в соображение то, что чувство любви, начинающееся в ранней молодости, не оставляет в пренебрежении и старость, или, вернее сказать, оно ограждает от старости своих истинных поклонников, а воспламеняет людей, несмотря ни на какой возраст, хотя весьма велика разница в понимании и в степени благородства любви между неопытною молодостью и умудренною зрелостью.

Любовь — огонь вечный. Сперва случайная искра, вспыхнув в одном сердце, заронится в другое и истлеет потихоньку в его уютном уголке; потом этот огонь разгорается, он блестит, он сияет на бесчисленное множество мужчин и женщин, отогревает их душу и весь свет, всю природу озаряет своим великодушным пламенем. Итак, мы будем заботиться об указании, какова бывает любовь в двадцать, в тридцать лет и какова она в восемьдесят; описывая ее проявления в самом начале или в конце жизненного поприща, можно упустить из виду многое из главных или из завершающих ее черт. Мы будем надеяться на одно, что посредством тщательного изыскания и с помощью вдохновительницы — Музы — нам удастся проникнуть в самое святилище закона любви, который представит нам истину вечно юную, вечно прекрасную и до того составляющую средоточие вселенной, что к ней устремляется взор, под каким бы углом ни смотреть.

Для достижения этой цели мы поставим первым условием откинуть слишком робкое и слишком узкое соглашение его с фактами, с существующим, а рассмотрим чувство любви так, как оно вносится в душу со своими обетами, со своими упованиями, без применения его к событиям. Ибо почти каждый из нас воображает себе, что его жизнь смята, обезображена, хотя в сущности жизнь человека не такова, и ему самому доля других кажется прекрасною, идеальною, тогда как в своей собственной он видит, какою грязью заблуждений покрыты малейшие плоды его опыта. Так, перенесясь воспоминанием к той дивной встрече, к той краеугольной красоте бытия, чье сердце не встрепенется опять и опять! Но, увы! Бог знает почему, в зрелые годы бесчисленные сожаления изливают свою горечь на все воспоминания любви и облекают трауром каждое милое имя. С точки зрения разума и в смысле истины, все оказывается прекрасным; но до чего печально все изведанное по опыту! Какое уныние навевают подробности, хотя целое полно достоинства и благородства. Тяжело признаться, до чего наш мир — мир скорби и горести; до чего утомительно это царение времени и пространства и сколько в нем кишит всеподтачивающих червей страха и забот! По милости идеала и мысли, в нем благоухает и роза упоения, поочередно воспеваемая всеми музами; возможна и ненарушимая ясность духа; но по влиянию имен и лиц, по раздроблению стремлений на вчера и сегодня, сколько, сколько в нем печального!

Меня укоряли в том, что основание моей философии — нелюдимость и что даже в публичных лекциях мое поклонение сути вещей делает меня неправым и равнодушным к отношениям живых людей. Теперь я трепещу, припоминая такие приговоры, потому что область любви состоит из живых людей, и самый черствый философ, излагая обязанности юной души, затерянной в природе и жаждущей любить, готов карать как противоестественное вероломство все, что удаляется от стремлений к общежительности.

Можно судить о могуществе этой прирожденной всем склонности по месту, какое занимают в разговоре рассказы о сердечной связи двух личностей. Слыша о замечательном человеке, мы более всего любопытствуем узнать историю его любви. Какие книги читаются по преимуществу? И сколько прочувствуется нами при чтении правдоподобного романтического вымысла? Что в течении жизни наиболее может привлечь наше внимание, как не тот случай, который обнаружил пред нами взаимную истинную любовь двух душ? Может быть, мы уже перестали их видеть и никогда более не увидим, но они обменялись взглядом, они выказали глубокое потрясение души, и они уже нам близки, понятны, мы принимаем живейшее участие в ходе их романа. Весь род человеческий — это бесспорно — любит образцового героя любви. И действительно, несмотря на то, что этот божественный восторг, нисходящий на нас с неба, по большей части застигает нас в молодости, и несмотря на то, что за тридцать лет мы едва ли встретим красоту, вне всякого сравнения и критического разбора, однако память о таком видении превосходит все прочие воспоминания и обвевает мимолетным цветом молодости лица, давно увядшие. И как бы ни были горьки плоды частной опытности, никто в мире не забывает той поры, когда сила небесная охватила его сердце и думы, возродила в глазах его всю вселенную, озарила пурпурным светом всю природу, пролила неизъяснимые чары на поздние часы ночи, на ранний час утра и стала для него предрассветною зарею поэзии, музыки, изящных вдохновений. Никто в мире не забывает той поры, когда от одного звука голоса так сильно билось его сердце; когда самое ничтожное обстоятельство, соприкасаясь с милым существом, хранилось как клад в сокровищнице памяти; когда недоставало глаз, чтоб налюбоваться; когда юноша делается часовым у окна, любовником перчатки, ленточки, колес экипажа; когда нет места, достаточно уединенного, и нет такого затишья, где бы он мог вдоволь предаться наплыву новых мыслей, досыта на-

говориться с воображаемою собеседницею, с которою ведет сладкие, нескончаемые речи, какие и не приходили ему на ум с наилучшими друзьями: «ибо, — как говорит Плутарх, — образ, движения, малейшие слова возлюбленной не рисуются, подобно прочим предметам, на поверхности вод, они врезаны в ярком пламени и становятся целью полуночных дум».

Позднее, гораздо позднее, уже на склоне жизни, мы трепещем при воспоминании о том времени, когда счастье еще не было полным счастьем, но жаждало слез и волнений для своего пополнения. Хорошо понял тайну этого чувства тот, кто сказал: «Все остальные радости жизни не стоят печали любви».

Любовь пересоздает мир для молодой души, всему дает жизнь и значение. Природа делается одушевленною. Пение птички находит отзвук в любящем сердце, несущиеся облака расстилают пред ним образы; травы, деревья, цветы одарены смыслом, и ему страшно проговориться перед ними о тайне, которую они так и хотят выведать. Глаза открываются и не на одни красоты природы; чувство любви пробуждает склонность к гармонии, к поэзии. По факту, часто замечаемому, многие, под вдохновением страсти, писали превосходные стихи, каких не писывали никогда ни прежде, ни после.

Любовь действует так же сильно и на прочие способности. Она расширяет чувство, дает ум шуту и храбрость трусу. Она может до того воодушевить мужеством и решимостью, что для снискания благосклонности влюбленный, по природе малодушный, даже низкий, бывает, готов померяться с целым светом. Но всего важнее то, что когда человек приносит ее в беззаветный дар другому, любовь осыпает собственно его самыми щедрыми дарами. В нем обновляется все бытие, являются новые воззрения, новый образ понятий, отчетливость, выдержка и стремления, проникнутые священною торжественностью. Теперь он уже не порабощенное достояние семьи, общества; он сам стал нечто: он человек, он душа.

Присмотримся ближе к свойству этого влияния, имеющего столько власти на молодые годы человека. Вот она, красота воплощенная! Мы поклоняемся ей с удивлением, благословляем ее появление нашему взору всюду, где соизволяет она воссиять. Как дивно ее очарование! Самой ей, кажется, ничего не нужно, но сердце, благоговеющее пред нею, может ли представить ее себе в бедности, в одиночестве? Чистая, прелестная, как весенняя роза, она всему дает жизнь, всюду пробуждает кроткое умиление и делает понятным для своего поклонника, почему красоту всегда изображали окруженную амурами и грациями. Красота есть одно из сокровищ мира; тот, кто с любовью поклоняется ей, может равнодушно смотреть на все остальное и находить его ничтожным, не стоящим внимания; она вознаграждает за все лишения, перенося его в сферу вольную, широкую, всемирную, где стираются личности, и одна эта красота делается олицетворением всего, что нас манило и привлекало. Друзья могут находить, что она похожа на отца, на мать свою, напоминает даже такое-то постороннее лицо, но тот, кто ее любит, тот знает, что она может иметь сходство лишь с тихим летним вечером, с солнечным утром, пышащим золотом и алмазами, с небесною радугою, с соловьиною песнью.

И всегда красота останется тем, чем считали ее древние: *божественною,* называя ее порою цветения добродетели.

Кто изъяснит нам это непостижимое трудное действие, которое при виде такого-то лица, такой-то осанки поражает нас, как внезапный луч света? Мы проникнуты радостью, нежностью и не знаем сами, откуда взялось это сладостное умиление, откуда сверкнул этот луч. И действительность, и воображение решительно запрещают нам приписывать такое ощущение влиянию организма; не проистекает оно и из тех поводов к любви и к дружбе, которые известны свету и общеприняты в нем. Как мне кажется, оно веет на нас из среды прелести и нежности неземной, из сферы, не сходной с нашею и для нас не доступной; из того края волшебств,

которому здесь служат символом розы, фиалки, лилии, возбуждая в нас о нем предчувствие.

Нам не наложить цепей на красоту; сходная по своему существу с переливчатою игрою голубиных крыльев, она склонится над нами и исчезнет. В свидетельство своей однородности со всем, что есть обаятельного на земле, она дарит нас радужными проблесками, но обращает в тщету усилия человека овладеть ею и сделать из нее свое обыденное употребление. Слова наши подтверждаются тем, что сказал Жан-Поль Рихтер о музыке: «О смолкни, смолкни! Ты нашептываешь мне о вещах, которых я никогда не находил, которых мне не найти никогда».

То же самое можно заметить о произведениях пластического искусства. Статуя прекрасна тогда, когда циркуль и аршин не могут служить ей мерилом, но когда силою воображения находишься в состоянии постигнуть ее и воспринять то действие, которое она готовится свершить. Ваятель всегда изображает своего героя или полубога в состоянии переходном между тем, что видимо, и тем, что невидимо нашим внешним чувствам; при таком условии статуя перестает быть камнем. Эта заметка может отнестись и к живописи. Что касается поэзии, то успех ее не верен, пока она довольствуется услаждать нас и баюкать; но он несомненен тогда, когда она поражает нас изумлением, восторгом и наполняет жаждою *недостижимого*. Убежденный в этом факте, Лендор* ставит вопрос: не имеет ли поэзия отношений к чему-то чище ощущений и выше опытности?

Такова должна быть и воплощенная красота, предмет любви своего поклонника. Она восхитительна, когда, при полной естественности, кажется, однако, недоступною; когда, отторгая нас от всякой определенной цели, она будто начинает нам сказывать бесконечную волшебную сказку и, вместо того, чтобы удовлетворять наши земные желания, будит в нас предчувствия, пред-

---

* Севедж Лендор, отличный поэт и прозаик. Автор *«Вымышленных разговоров»*.

видения, а сама сдается нам «слишком превосходною, слишком роскошною для насущного хлеба человека»; наконец, восхитительна она тогда, когда зароняет в любовнике сознание, как он ее недостоин, как невозможно ему — будь он сам Цезарь — укрепить за собою права над нею, потому что невозможно же ему присвоить себе и твердь небесную, и великолепный закат солнца.

Есть пословица: «Если я вас люблю, какое вам до того дело». Говоря так, мы хорошо понимаем, что любовь наша не зависит от вашей воли, но преобладает над вашею волею, потому что мы любим тот луч, исшедший из вас, — не собственно вас, не вашу личность, но то *нечто*, которое вы даже не сознаете в себе и, может быть, никогда не сознаете.

Это согласуется как нельзя лучше с возвышенными понятиями о красоте, которыми услаждались древние философы. «Душа человека, — говорили они, — окованная на земле плотью, блуждает туда и сюда в поисках другого мира, своей настоящей родины, которую она покинула для пришествия сюда; но, ослепленная светом вещественного солнца, она может различать одни предметы здешнего мира, которые не что иное, как тень предметов существенных. Затем-то, навстречу души, Божество посылает Юность и Красоту, дабы прекрасные телесные образы служили ей крыльями для возношения воспоминаний о добре и о красоте небесной. Вот почему при виде красавицы мужчина стремится к ней и вкушает величайшее наслаждение от созерцания лика, движений, разума прекрасной женщины, оттого, что ее присутствие наводит на его мысль отражение красоты несотворенной и источника всякой красоты».

Но если, слишком обживясь с телом, душа человека огрубела и предполагает все свое наслаждение в материи, единственным ее достоянием будет тоска и разочарование, потому что телу невозможно осуществить обетов красоты. Если же, достойно приняв дары, приносимые ей красотою в предвидениях и вдохновениях, душа, проникнув сквозь плоть, прямо устремляется к отличитель-

ным чертам свойств и любящие оценивают друг друга по выражению души в словах и поступках, тогда вступают они в храм красоты нетленной; любовь их все более возрастает, усиливается, и как от блеска солнца меркнет пламень очага, так в сиянии такой любви угасает унизительность склонностей, и все становится чисто и свято.

От беспрерывной беседы с прекрасным, великодушным, возвышенным и чистосердечным, любящий достигает весьма тонкой оценки всего благородного, священного и объединяется с ними все теснее и горячее. И в довершение, вместо того чтобы любить все прекрасное в одном предмете, он полюбит его во всех предметах; таким образом, прекрасная душа, обожаемая им, делается преддверием, через которое он проникает в святилище, где пребывают сонмы душ правды и чистоты. С другой стороны, вследствие короткого сближения с подругою, изощряется его проницательность. Он начинает различать недостатки и пятна, наложенные на нее человечностью; однако с взаимною радостною готовностью и без тени оскорбления, даже помыслом, они замечают друг другу погрешности, несовершенства и простирают руку помощи на обоюдное уврачевание. Напоследок, улавливая почти в каждой душе черты красоты божественной и отделяя божественную часть от порчи, заимствованной от земли, по различным ступеням высоты душ человеческих, любящее сердце восходит до вершины любви, красоты и постижения божественного.

Все истинные мудрецы, во все времена, не преподавали о любви иного учения. Оно ни ново, ни старо. Его излагали Платон, Плутарх и Апулей; его исповедывали Петрарка, Микеланджело и Мильтон. В наши дни необходимо развить такой взгляд и твердо противопоставить его тому подземному благоразумию, по внушению которого устраиваются нынешние браки, где все слова взяты случайно, где не слышится ни малейшей посылки на мир высший и где глаз до того уставлен на хозяйство, на обиход, что в самом обмене наиважнейших мыслей все еще пахнет кухонным чадом. Горше этого то, что такое

чувственное и грязное благоразумие проникает в воспитание молодых девиц, иссушает наилучшие надежды и стремления всего человечества толкованием, будто бы брак значит хорошо устроенное хозяйство и будто бы цель жизни женщины заключается единственно в этом.

Видение любви, как оно ни прекрасно, составляет, однако, лишь одну сцену в драме жизни. На пути своего развития из внутреннего во внешнее, как свет, исходящий из небесного светила, как кремень, брошенный в лоно вод, душа наша беспрестанно расширяет круг своих действий и обозрений. Лучи ее сначала озаряют предметы ближайшие: игрушки, домашнюю утварь, кормилицу, слуг, дом, сад, прохожих, словом, круг семейного быта; потом они падают на науку, на знания политические, исторические, географические. Но, по условию нашего бытия, все группируется около нас по законам высшим и неотъемлемо нам принадлежащим. Мало-помалу соседственное, численное, привычное, личное теряет над нами свое могущество, и настает пора властвования причины и следствия; пора сочувствий истинных, желаний установить гармонию между потребностями души и внешними обстоятельствами; пора стремлений возвышенных, прогрессивных, идеализирующих все, чего они ни коснутся, — о, тогда попятиться, снизойти от отношений высших к отношениям низшим становится решительно невозможно. Так и с любовью: обоготворение известного лица незаметно и бессознательно, со дня на день становится все безличнее.

Молоденькие девочки и мальчики, которые из конца в конец многолюдной залы перебрасываются такими значительными взглядами, и не помышляют, и не предугадывают, какой драгоценный плод созреет со временем из их теперешнего суетного желания нравиться наружностью! Так в царстве растительном жизнь сперва пробуждается от *раздражительсности* коры и возникновения листьев. Обменявшись взорами, они доходят до изъявлений внимательности, до угождений; наконец, взаимная склонность завершается брачным союзом. В пылу страсти предмет ее кажется всесовершенным единством,

в котором душа телесна, а тело духовно: «Ее кровь, чистая, красноречивая, так ясно выражалась рдением щек, что было видно, как все ее тело дышит думою».

О, как хотелось бы Джульетте, чтобы тело умершего Ромео раздробилось в звезды, на освящение небес! Так и для этой четы в жизни нет другой цели: Ромео не ищет ничего, кроме своей Джульетты, Джульетта живет одним Ромео. Ночь и день, наука, искусства, судьба царств, религия — все сливается в этой форме, преисполненной души, в этой душе, которая вся обаятельная форма! Сладостны для любящих обоюдные внимательность, признания, ласки; их разлука облегчена воспоминанием и беспрерывным обращением друг к другу. Видит ли он эту звезду, это облако? Читает ли он ту самую книгу, то же ли чувствует теперь, что я? Они погружаются в измерение, в постижение своей любви; умышленно воображают себя обладателями несметных богатств, почестей, друзей и удостоверяются с восторгом, что охотно и радостно отдали бы все эти блага за него, за этого единственного друга и, напротив, никак не потерпели бы, чтобы хоть один волосок насильственно был снят с его возлюбленной головы.

Но и эти дети имеют удел, общий всем смертным. Их не обходит горе, опасность, страдание. Любовь прибегает тогда к молитве и в своих мольбах делает договоры, воссылает обеты к Силам вышним; им поручает она охранение любимого существа. Связь, скрепленная таким образом и придающая такую цену каждому атому в природе, потому что она превращает в золотой луч малейшую нить всей ткани отношений и омывает душу стихиею новою, более чистою, — и такая связь есть только состояние временное. Цветы, перлы, поэзия, страстные клятвы, даже то святилище, принявшее нас в сердце другого, не могут навсегда удовлетворить величественной души. Пробуждение настает: она высвобождается из тесных человеческих объятий, облекается во всеоружие и ищет цели всеобъемлющей и бесконечной. Души супругов, жаждущие блаженства и совершенства, не могут не подметить одна за другой недостатков, странностей, неполноты гармо-

нии. Это не обходится без болезненного удивления, столкновений, страданий; между тем то, что с самого начала привлекало их друг к другу, то есть проблески добра и любви, хоть и не с прежним обаянием, но все продолжают появляться и поддерживают их союз; однако внимание, прежде сосредоточенное на одном, начинает переноситься с проблесков на суть. Она врачует неудовлетворенное или раздраженное чувство. Тем временем жизнь идет своим чередом, беспрестанно изменяя обстоятельства, положения, отношения обоих супругов, и, становя их друг перед другом во всевозможных видах, дает им способ изведать всю полноту их силы и их слабости. И таковы сущность и конечная цель брачного союза, чтобы каждый из супругов олицетворил другому весь род человеческий. Все, находящееся в мире, должно быть познано человеком, который сам есть вместилище всего, что находится в мире. «Друг, данный нам любовью, подобно манне, представляет на наш вкус все, что ни есть на свете».

Земля совершает свои круговращения, обстоятельства меняются ежечасно. Все ангелы, обитающие в храме тела человеческого, проглядывают в окна; проглядывают из-за них и духи зла и пороков. Основанием брака служит добро. Если есть оно, супруги откровенно сознаются в своих недостатках и стараются избежать их. Любовь, прежде слишком пламенная, очищается временем и, теряя свой избыток, вознаграждается опытностью и делается взаимным добрым согласием. Они устанавливают без малодушного ропота обмен теми услугами, которые мужчина и женщина — каждый в духе своего пола — должны оказывать друг другу, и страсть, которая, бывало, искала себе пищи в одном лицезрении обожаемого предмета, обращается в менее ребяческую и более дельную опору, предлагаемую обоюдно и в присутствии, и в отсутствии. Наконец, они удостоверяются, что обаятельные чары и священный призыв, которые так сильно влекли одного к другому, преходящие по своему применению, имеют, однако же, цель определенную, походя в этом отношении на подмостки, необходимые для возведения здания, но которые должны быть сняты, когда окончено здание.

Очищение сердца, просветление разума — вот истинная цель брака; цель предусмотренная, предуготовленная от начала и без их ведома. И когда я подумаю о достижении подобной цели посредством брака, которым мужчина и женщина — два лица, одаренные свойствами столь различными и столь относительными, — соединяются на житье под одним кровом в продолжение сорока или пятидесяти лет, я не удивляюсь тому, что сердце с самого раннего детства пророчит нам это верховное свершение; я не удивляюсь тому, что столько чар и приманок инстинктивно увлекают человека к брачному ложу и что все изящные искусства, все произведения ума наперерыв несут свои дары и свои песни на хвалу Гименея.

Это путь к той любви, которая уже не знает ни пола, ни лиц, ни пристрастий, но которая всюду ищет добро и мудрость, не заботясь более ни о чем, как о приращении добра и мудрости. Склонные по природе к наблюдательности, мы, следовательно, способны из всего извлекать поучения. Вот наша постоянная опора.

Нам случится дойти и до сознания, что чувства, бесценные в глазах наших, были одним кратковременным отдыхом. Не без борьбы, не без боли предметы нашей привязанности изменяются, как предметы нашего мышления. Бывает пора, когда чувство вполне властвует над человеком, поглощает все его существо и делает его зависимым от одного или от нескольких лиц. Но отрезвление настает, дух снова начинает прозревать неизмеримую твердь, сияющую незаходимыми светилами. Жгучие привязанности, жгучие опасения, которые надвигались на нас как тучи, теряют свою земную грузность и обретают Бога, венец совершенств.

Не будем бояться развития души под какими бы то ни было видами; доверимся ей до последней крайности с полным убеждением, что чувство, прекрасное, неотразимое чувство любви, может быть заменено и замещено только такими чувствами, которые еще прекраснее, еще возвышеннее его.

ДРУЖБА

Мы не сознаемся ни себе, ни другим, до какой степени мы доступны привязанностям. Наперекор эгоизму, остужающему землю, как северные ветры, стихия любви своею божественною атмосферою обтекает весь род человеческий. Сколько у каждого из нас сохраняется в памяти таких личностей, с которыми едва обменялся словом, и между тем знаешь, что любишь их, а они нас. Сколько людей попадутся нам то на улице, то в церкви, и в нас вдруг пробудится чувство радости, и всегда от безмолвной встречи с ними опять становится весело на душе. Вникните в смысл многих случайно бросаемых взглядов: он очень понятен сердцу.

Человеческое сочувствие коснется вас — и все вокруг приветно улыбается. Впечатления, производимые на нас поэзией, дружескою беседою или знаком участия и доброжелательности, можно сравнить с благодатным действием тепла и огня. Но еще живительнее, еще ярче озаряет душу и вызывает ее на деятельность и на подвиг то лучшее благо жизни, наша способность чувствовать, начиная от простого движения доброго расположения до высшей степени пламенной любви.

Сами наши умственные силы увеличиваются от меры привязанности. Сочинитель садится писать; он долго обдумывал предмет, но прекрасных мыслей нет и следа; выражения не ладятся, как ни бейся; вдруг он принимается за письмо к другу — и прелестнейшие мысли, образы стекаются со всех сторон и находят себе слова, как на подбор. Посмотрите, в том доме, полном радушия и уважения к человеку, гото-

вятся принять в первый раз знаменитого гостя. Что за волнение в добрых сердцах, что за суета! «И тот и другой наговорили уже нам о незнакомце, но мы одни в состоянии вполне оценить его прекрасные редкие качества. Он олицетворит нам наконец образец человечества... Но что же сделаем мы? Как вступим с ним в разговор, в близкое сношение?» На нас почти находит страх и беспокойство. По счастью, они подстрекают, одушевляют нас. Изжит на время любимый наш дух молчания: мы говорим лучше, чем когда-либо, выносим из хранилища давнишней и самой затаенной опытности целые кипы богатых, задушевных, остроумных замечаний; знакомые и родственники не надивятся: откуда у нас все это набралось; мы готовы не смолкать целые часы. Но, по мере того как знаменитый гость начинает перед нами обнаруживать здесь — пристрастие, там — недостаток, а там — присяжную систематичность, очарование прерывается, оно исчезает.

В первый и уже в последний раз слышал он от нас превосходные наши речи. Увы! он для нас уж не великий Неизвестный: ограниченность, недоразумения, грубая пошлость — какие старинные знакомые! Теперь, когда он опять придет, его примет моя прибранная и принаряженная обстановка, мое праздничное платье, мой хороший обед; но трепета сердца, но излияний души — их он уже не дождется.

Если о дружбе, то, каюсь, я по природе склонен к чрезмерному увлечению. Для меня почти опасно приближать уста к сладкому яду опрометчивых привязанностей. Новое лицо всегда бывает для меня событием огромной важности и всю ночь не дает мне заснуть. Еще недавно замечтался я после встречи с двумя-тремя добрыми малыми, но к утру восторг мой охладел и остался без последствий: он не оплодотворил во мне ни одной мысли, он ни в чем не улучшил моего образа действий. Такие непостоянные вспышки хороши для любопытства, но не для жизни;

им не должно поддаваться: это ткань паутинная, а не прочная одежда.

Иногда я сильно досадую на общество и бегу в уединение; однако во мне еще держится справедливость и я никогда не запру своих дверей для людей милых, мудрых, благородных по природе; и тот, кто меня выслушивает, и тот, кто меня понимает, становится моим всегдашним, моим достоянием вечным. Природа не бедна! Время от времени она посылает мне это наслаждение, и тогда мы принимаемся кроить общественную ткань по нашему мерилу, по новому образцу отношений. Разнообразные мысли как звенья примыкают одна к другой и сами собой образуют сплошное целое: смотришь, мы сами уже очутились вслед за ними в мире новом, сотворенном нами; мы уже не иноплеменники, не бездомные скитальцы на планете, покоящейся на преданиях нам и довременных, и чуждых.

Возможно ли не обращать внимания на порывы чувства, воссоздающего для каждого из нас мир во всей его юной прелести? Что может сравниться с прямым и твердым соединением двух душ в одном стремлении, в одной привязанности, в одной мысли! Самые шаги существа правдивого, одаренного свойствами неба, отдаются в сердце ликованием; от одного его вида светлеет солнце. В то время, когда мы изведываем, что такое истинное чувство, вся земля преображается; мы не замечаем ни мрака, ни зимы, забываем о житейских драмах, о томительной скуке; забываем о самих обязанностях. Светлые образы наших любимцев одни носятся пред нами в вечности, и если бы душе нашей далась непоколебимая уверенность хоть когда-нибудь, в какой бы то ни было области вселенной, навсегда соединиться с возлюбленным существом, она бы рада, она бы готова провести в одиночестве целые десятки столетий.

Со всевозможным благоговением благодарю я Бога за моих друзей, старых и новых, и называю Его,

ежедневно украшающего жизнь мою новыми дарами, красотою верховною. Друзья обретаются мне без моих поисков: их приводит ко мне Господь всемогущий. Я схожусь с ними в силу неразрывного родства всех добродетелей между собою и в силу непоколебимых прав их — одной на другую; или, говоря лучше, схожусь с ними не я, но то божественное начало, находящееся и в них и во мне, рушит разделяющие нас преграды обстоятельств, лет, пола, нрава, внешнего положения и внезапно сливает многих воедино. О, с каким восторгом восхваляю я вас, превосходные мои друзья! Вы, которые открыли мне новый и глубокий смысл жизни и обогатили мой разум возвышенными понятиями!

Друг? Это не такой-то человек, сухой и чинный; это поэзия, только что излившаяся из лона Божества, поэзия свежая, как ее источник, вольная, как сама муза; это гимн, ода, эпопея.

Настанет ли разлука для меня и для друзей моих — не знаю, но я не боюсь ее, потому что наша связь основана чисто и просто на сродстве душ; и знаю еще я, что это же средство возымеет свою силу в отношении и других мужчин и женщин, превосходных, как и мои первые друзья, и всюду, где бы я ни находился.

У нас дружба доходит до мелкой и жалкой развязки оттого, что она кажется нам упоением, мечтою, а не задевает самых мужественных струн человеческого сердца. Законы дружбы величественны, непреложны, вечны, как законы нравственности и природы. Мы же ищем в дружбе маленьких, скореньких выгод и льнем губами к только что предложенной отраде. С каким легкомыслием бросаемся мы срывать едва завязавшийся плод, который созревает медленнее всех в вертограде Господнем, и должен быть снят по прошествии многих зим и многих лет. Мы подступаем к своим друзьям не с благоговейною почтительностью, а с каким-то прелюбодейным желанием поскорее прибрать их к рукам. Оттого мы и окружены

хилыми противоборцами, которые исчезают при нашем приближении и, вместо поэзии, выдают нам весьма вялую прозу. Оттого-то почти все люди и падают в цене при учащенных свиданиях. Большая их часть сносны на время, и, что всего прискорбнее, цвет и благоухание самой прекрасной природы облетает и испаряется от частых столкновений с другими людьми. Почти беспрестанно, при нынешнем складе общества, чувствуем мы недочет в сближении с людьми, даже очень даровитыми и очень добродетельными. Вначале внимание и предупредительность стройно и мирно ограждали наши беседы; вдруг нас начинают колоть, терзать насмешками; то обдадут неуместным холодом, то изумят падучим припадком умничанья или страстности, который приходится терпеть во имя пламени мысли и чувства. Когда принято за правило не выказывать своих способностей во всей их правде и во всей полноте, то лучше разойтись и искать покоя в одиночестве. Во всех отношениях людских необходимо равенство. Что мне за удовольствие в длинных разговорах, в многолюдстве, если в нем нет мне равного?

Впрочем, и это служит спасительною уздою нашей поспешности. Отталкивающая холодность, суровая сдержанность, без собственного ведома, будто какою сенью, охраняют нежные организации от преждевременной скороспелости. Они бы погибли, если б сознали и расточили себя прежде, чем возмужают здесь те превосходные души, которые их разгадают, наставят и укрепят.

Чтите медленный ход природы: она употребляет тысячелетие на образование и отвердение алмаза. Небесные гении нашей жизни не впускают в свой рай необузданную отвагу. Любовь, это свойство Бога, созданная на увенчание всех достоинств человека, создана не для безрассудных. Не будем для удовлетворения неспокойствия сердца поддаваться ребяческому увлечению, но станем руководить им с разборчивою муд-

ростью: пойдем на встречу к другу с твердою верою в правду его сердца, в глубину его бытия, а не с преступною самонадеянностью, что нам стоит только захотеть, чтобы все в нем предать волнению.

Предмет, рассматриваемый теперь мною, возбуждает мое полнейшее сочувствие; я не в состоянии ему противиться; итак, оставлю в стороне разбор второстепенных общеполезных благодеяний, доставляемых дружбою, но займусь тем, что есть священнейшего и изящнейшего в свойстве этого чувства, которое знаменует род абсолютного блага и обладает языком до того чистым и до того божественным, что перед ним стихает подозрительный и избитый язык любви.

Я бы не хотел, чтобы друзья обращались между собою с церемонною деликатностью, но с мужественною искренностью. Когда чувство истинно, оно не хрупкое стекло, не лед, тающий по поветрию; оно тверже и несокрушимее всего, что только есть в мире. Длинный ряд веков опыта, чему научил он нас о природе и о нас самих? Род человеческий еще не сделал ни шагу к разрешению загадки своей собственной судьбы, и во всем, что касается этого вопроса, он будто поражен карою безумия. Но я встречаю друга, — душа моя сливается с душою брата, и всепроникающее умиротворение и безмятежность моей радости возникают плодом истинным, которому все вещественное и все мыслимое в природе служит только как оболочка, как скорлупа. Дом, который он удостоит своим хоть однодневным посещением, должен бы походить на кивот завета или на пиршественный чертог. Счастлив и он, если постигнет торжественность этого отнюдь не бесплодного союза и почтит его законы. Избранник, призванный на такой союз, восходит как Олимпиец к высокому назначению, которого жаждут все великие души. Он обрекает себя на борьбу: против него будет ратовать и время, и нужда, и опасность; победителем из нее выходит

только тот, за кем стоит правда, охраняющая цвет его нетленной красоты от повреждений и опустошений, наносимых теми роковыми губителями. Наделен ли он или нет житейскими благами — это не идет в расчет: исход борьбы зависит от безукоризненного благородства, от презрения мелочных предрассудков.

В состав дружбы входят два элемента, до того равные могуществом, что не знаешь, которое из них назвать первенствующим. Один элемент — *правда,* другой — нежная и преданная *любовь.* Что такое друг? Это то лицо, с которым я могу быть откровенен; откровенен, начиная от самой поверхности кожи до сокровенной глубины души. При нем я мыслю вслух, в его присутствии вижу человека до того истинного и до того равного мне, что могу наконец сбросить все до одной личины притворства, околичностей и эту *заднюю мысль,* неотвязную от людей. С ним же я обхожусь с простотою и естественностью химического атома, который сплотился с другим единородным ему атомом.

Откровенность, как венец, как полновластие, есть роскошь, предоставленная лицам самого высокого сана, они могут высказывать истину, потому что им нет высших, к которым нужно подлаживаться и сыпать комплименты. Мы все откровенны сами с собою, но войдет кто другой, и лицемерие начинается. Мы оберегаем и защищаем себя от людей оружием учтивостей, болтовни, забав и дел; мы укрываем нашу мысль под бесчисленные изворотливости из боязни, чтобы чужой глаз не подстерег ее. Я знал одного человека: под влиянием религиозной мании он сбросил все драпировки, под которыми мы прячем наши убеждения и мысли, и, откинув все приторные и пошлые обороты речи, обращался к внутреннему сознанию каждого с чрезвычайною проницательностью и с редким даром слова. Сначала он встретил большое сопротивление; его провозгласили сумасшедшим, но он, не отклоняясь от своего пути, достиг того пре-

имущества, что все знакомые вошли с ним в сношения прямой, неподдельной правды. Кривые уличные о нем толки и сплетни прекратились, и, благодаря его откровенности, всякий решался снимать пред ним свою маску и признаваться, сколько в нем таилось любви к природе, к прекрасному и сколько поэтических и мистических символов было заключено в душе его.

К большей части из нас люди даже не становятся лицом к лицу, а, разом обернувшись, показывают им только спину. Не правда ли, безумно желать повсеместно установить сношения, действительные, истинные, в век лжи и притворства. Мы почти разучились ходить прямо; всяк встречный присваивает себе право требовать от нас угождений, развлечений; если же в голове его завелась какая-то филантропическая или религиозная затея, вы уж лучше молчите: он терпеть не может, чтоб ему перечили.

Но друг мой человек здравого смысла; он может делать испытания мне, но не моему чистосердечию; разговаривая с ним, я могу обойтись без ужимок, могу не картавить, не раболепствовать... Все эти черты представляют друга каким-то парадоксом в природе. В моем одиночестве я могу из всего, что существует, положительно утверждать несомненность собственного моего бытия, но вот я встречаю свое подобие, воспроизведенное в образе другого, с тою же любознательностью, многосторонностью, высотою помыслов. Как не дивиться, как не видеть в нем самого художественного произведения природы!

Другая неразлучная стихия дружбы — глубокая привязанность. Мы прикованы к людям разнородными цепями: родства, гордости, боязни, надежды, корысти, нужды, ненависти, удивления, — просто не перечислить всех недостойных поводов и пустяков; в кругу всего этого не верится, чтобы существовал кто-нибудь, могущий приковать нас к себе любовью. Живет ли на свете тот благословенный, которому

могли бы мы принести в дань нашу любовь? А если живет, достойны ли мы к нему приблизиться? Полюбив человека, я достигаю высшего предела счастия.

В книгах мало сказано такого, что захватывало этот предмет за живое. Добрые люди смотрят на дружбу как на удобство; это — обмен подарками, маленькими и большими услугами, это — соседи-гости, ухаживание во время болезни, присутствие и слезы на похоронах. Непростительно и для поэта, говоря о дружбе, делать из нее прекрасную, но призрачную ткань, забывая, что основу ее составляют все свойства великой души: справедливость, точность, верность, сострадание. О, я хотел бы, чтоб такая дружба была с руками и с ногами, не с одними выразительными глазами да красноречивыми устами! Я бы хотел, чтоб она сначала сделалась достоянием земли, а потом уже мира идеального; чтоб она была добродетелью человеческою, а не одною ангельскою.

Но как ненавижу я всуе расточаемое имя дружбы, которое дают прихотливым светским отношениям. Я предпочитаю общество угольщиков и чернорабочих этим друзьям, разодетым в шелк и празднующим свое соединение катаниями, обедами у лучших рестораторов и разными другими пустыми забавами.

Цель дружбы — скрепить связь, такую тесную, такую неразрывную, какая только может быть постигнута человеком. Дружба дана нам на ясные дни, на доказательства сердечного участия, на приятные уединенные прогулки по полям и лугам; но, вместе с тем, и на стези трудные, утомительные; она дана нам на бедность, на гибель всего остального, на злые гонения; хороша она для остроумной болтовни, хороша она и для восторга, стремящегося к Богу.

Ежедневный быт жизни, самые обыкновенные занятия и потребности человека, без всякого сомнения, должны быть окружены достоинством и облагорожены рассудительностью, единодушием, мужеством. Тем более не должна дружба впадать в обыденное,

пошлое, приглядевшееся; она, напротив, должна быть предупредительна, изобретательна, чтобы уметь придавать значение и прелесть тому, что прежде казалось пошлостью.

Для упрочения дружбы во всем ее совершенстве требуются природы отменные и прекрасные, которые так счастливо умеряли бы одна другую и, несмотря на различия нрава и врожденных способностей, такт, стройно, полно и согласно совпадали бы между собою, что подобные образцы могут покамест осуществляться весьма редко. Вообще, духовное сходство и сочувствие необходимы для всякого сближения. Останутся с глазу на глаз или соберутся большим обществом люди, не имеющие между собою ничего общего, ничего одинакового — скучают донельзя друг другом и ввек не отгадают силы, заключенной в каждом из них. Часто говорят о необыкновенном даре слова таких-то лиц и думают, что они владеют им постоянно. Нимало! Человек, вполне заслуживший славу красноречия и обилия мысли, не найдется что сказать своему дяде или двоюродному брату; эти сердятся на его молчание также справедливо, как могли бы гневаться на беспутство солнечных часов, поставленных в тени. Дайте им солнца — циферблат покажет час: восхищайтесь, слушая человека даровитого, красноречивого, — он найдет при вас свою способность.

Дружбе необходима та редкая «середина на половине» между сходством и несходством, дающая в то же время чувствовать каждому из двух друзей и присутствие силы иной, и одобрение собеседника. Я предпочту всю жизнь оставаться одиноким, нежели стерпеть, чтобы мой друг исказил одним словом, одним взглядом свое действительное убеждение или сочувствие: мне равно обидно его притворное сопротивление и его вынужденное соглашение. Он должен во всем, всегда оставаться самим собою: все умение, доставляемое мне его дружбою, заключается именно в том, что *не я* сделалось *я*. День пре-

вращается в ночь, сердце изнемогает в груди когда замечаешь, что вместо мужественной опоры или, по крайней мере, откровенного опровержения, попадаешь на ворох равнодушных уступок. Пусть моим другом лучше будет репейник, чем отголосок.

Условие высокородной дружбы — сила, могущая обойтись и без нее; на выполнение этого условия нужны качества огромные, выдающиеся. Сначала положительно должно быть *двум* для того, чтобы слиться в *одно.* Так соединяются две мощные природы, которые сперва измеряют, страшатся одна другую, а там, осознав глубину их неопровержимой тождественности, подают друг другу руку на союз вечный.

На такой союз способны только души благородные, которые знают, что истинная доброта и истинное великодушие не любят расточать себя, и которые не торопятся вмешиваться в свою судьбу. Дайте алмазу время отвердеть и перестаньте думать, что своими усилиями вы можете ускорить рождение лучшего чада вечности. С дружбою надобно обращаться с благоговением, без причуд, без недоверия. Мы говорим о выборе своих друзей, но выбор этот совершается по естественному порядку вещей, и уважение играет в нем большую роль.

Как смотрите вы на великолепное зрелище? На некотором расстоянии, не правда ли? Точно так же смотрите и на вашего друга. Дайте ему простор и место выказать свои качества, развернуть их, в них установиться. У него есть достоинства, не точь-в-точь те же, что у вас, и которым вы будете не в состоянии дать и цены, если сожмете его в своих объятиях. Что вы, в самом деле, друг ли пуговиц на платье вашего друга, или наперсник лучших его дум? Для великой души друг долго должен оставаться чуждым во многих отношениях, для того чтобы тем ближе сойтись с ним на святой земле прекрасных обетований. Предоставьте маленьким мальчикам и девочкам думать,

что друг — это есть собственность; пусть они потешаются короткою и смутною забавою вместо того, чтобы извлечь из такой встречи всю полноту благости.

Купим ценою долгого испытания право вступления в подобное общение. Как сметь нарушать святыню душ прекрасных и благородных? Домогаться насильственного в те души втеснения? К чему с излишнею поспешностью завязывать личные сношения с другом? Желать быть принятым в его доме, познакомиться с его матерью, сестрами, братьями, зазывать его к себе? Это ли составляет важность союза?.. Заискивания, торопливость — прочь! От них скорее грубеет и вянет дружба. О, пускай мой друг будет для меня духом! Пускай когда-нибудь получу я от него весть, дар одной мысли, взгляда, слова искренности, поступка прямоты — с меня довольно; но прошу избавить меня от его соусов, от пустых россказней. О политике, о новостях и делах я могу вдоволь наговориться с каждым из моих знакомых; беседа же с моим другом должна быта поэтична, чиста, великолепна, необъятна, как сама природа. Подымем все уставы горе, вместо того чтобы понижать их долу.

Глаз, блестящий негодованием, красота пренебрежительной осанки, красота великодушных действий нашего друга приказывают нам не унижаться, а мужать и возвышаться духом. Не старался и ты, чтоб в угоду тебе он стал ниже хоть единого своего помысла; но принимай их все и отвечай на все. Ничего не люби так, как превосходство твоего друга; смотри на него с некоторым трепетом, будто на противника, прекрасного, доблестного, непобедимого, глубокоуважаемого, а не так как на вещь, которую легко и взять, легко и бросить.

Почтим же законы дружбы обузданием нашего нетерпения овладеть небесным цветком до времени его полного расцвета. Возьмем сперва в совершенное распоряжение самих себя, а потом уже отдадим себя другим. Преступники — говорят — находят

большую усладу в том, что могут обходиться по-панибратски со своими соучастниками; это подтверждается и латинскою пословицею: *«Crimenquos inquinat, oequat»*. Но возможно ли так обходиться с теми, кого любишь, кому удивляешься? А между тем, по моему убеждению, недостаток самообладания портит все отношения дружбы, потому что нет глубокого мира, нет обоюдного глубокого почтения между двумя душами, из которых каждая не служит другой полною представительницею вселенной.

Дружбу, высокое, величественное чувство дружбы, мы обязаны окружать всевозможным великолепием. Будем молчаливы — и мы услышим тихую речь богов. К чему вы бросаетесь во все стороны и всякому пришельцу сообщаете мысли, которые следовало бы поведать душам избранным? Перестаньте услаждать сами себя вашими словами, то остроумными, то пламенными, то глубокомысленными. Ждите, пока не заговорит душа, пока вас не осилит неотразимое и бесконечное; ждите, пока и день и ночь сами не изберут ваших уст для выражения своих тайн. Ищите божество, и найдете его; ищите добро, и оно наградит вас собою; умейте сами быть другом, и вы встретите истинного друга. Поздно, очень поздно догадываемся мы, что представления, рекомендации, частые посещения и прочее заведенное в обществе нимало не способствуют к установлению дружеских сношений с теми, кому мы удивляемся и кого желали бы иметь друзьями, но, что единственное для того средство состоит в том, чтобы довести свою природу до высоты их природы; тогда мы сойдемся с ними, как вода с водой; если же не сойдемся, значит, нам этого не нужно, потому что мы сами уже то, что *они*. Бывало, люди обменивались именами со своими друзьями, как бы для выражения того, что каждый из них любил в друге свою душу, потому что в окончательном результате дружба есть отражение личного достоинства человека на других людей.

Чем возвышеннее образ дружбы, который мы носим в душе своей, тем труднее его олицетворение в плоти и в крови. Мы очень одиноки в этом мире. Друзья, призываемые нами, желаемые нами, что они? Не мечта, не сказка ли? Нет! Вдохновенная надежда ободряет верное сердце предсказанием, что там, в безграничных пределах вечности, есть души, живые, деятельные, чувствующие, которые могут полюбить нас, которых будем любить мы. И благо вам, если провели пору малолетства, легкомыслия, заблуждений и уничижений в тоске одиночества! Когда достигнем возмужалости, для нас настанет возможность протянуть руку, чистую и честную, другой руке, чистой и честной.

Из всего, уже изведанного нами, постараемся взять себе за правило не вступать в дружеские отношения с лицами, с которыми дружба невозможна. Мы безрассудно кидаемся в связи, которые не может ни освятить, ни благословить никакое божество. И ничто не приносит такого строгого наказания, как эти неравные союзы. Оставаясь верны своему пути, вы можете потерять на мелочах, но непременно выиграете в итоге. Характер ваш обрисуется окончательно, и оградит вас от посягательств ложной дружбы. Взамен этого вы привлечете к себе тех первородцев земли, тех небожителей, которые только в числе двух или трех нисходят на нашу планету, и в сравнении с которыми великие люди толпы — одни тени и призраки. Безумна и унизительна боязнь вступать в союз слишком духовный; мы не утратим через это ни одной из естественных наклонностей и простодушных привязанностей; и какая бы перемена ни совершилась в наших прежних мнениях — вследствие духовного просветления, мы можем вполне быть уверены, что природа все более и более будет вводить нас в области высшие и что, лишая нас, по-видимому, некоторых удовольствий, она вознаграждает нас, в сущности, радостями лучшими.

Иногда бывает необходимо сказать «прости» и самым дорогим друзьям: «Расстанемся, я не могу долее оставаться в порабощении. Но, о брат мой, разве ты не видишь, мы расстаемся оттого, что еще слишком велика наша любовь к самим себе; после этой разлуки мы встретимся опять на вершинах, более возвышенных, и будем полнее принадлежать друг другу». В истинном друге, как в Янусе, соединены два лица. Он обозревает наше прошедшее; это прошедшее, в котором он, еще не встреченный, был нашим любимым помыслом; он провозвестник и всех дней грядущих. Он предтеча друзей, еще выше его, потому что свойство всех божественных достояний — воспроизводиться бесчисленно и бесконечно.

Еще недавно утвердилось во мне убеждение, что, несмотря на общее в том сомнение, очень совместимо и с нашим достоинством, и с нашим величием быть другом и в таких отношениях, где дружба не равна. К чему печаль над тем грустным фактом, что друг мой не понимает меня? Заботится ли солнце о том, что столько-то его лучей падают на бесплодную пустыню? Потщимся, потщимся вдохнуть наш жар и наше великодушие в холодную, замкнутую грудь нашего собрата. Если мы отовсюду найдем в нем отпор, тогда отвернемся, предоставим его воле делаться спутником существ низких и грубых. Велика будет наша скорбь при мысли, что от него уже отвеяло великодушное пламя, что ему уже не направить своих крыльев к жилищу богов... единственное врачевание такой печали то, что кругозор нашей любви расширился от чрезмерности света и тепла, которые мы изливали на него.

Вообще полагают, что любовь невзаимная есть какое-то унижение, но великие души знают, что любовь не может остаться без награды. Истинная любовь немедленно перерастает предмет недостойный, водворяет в вечности, живет вечным, и в час, когда спадает жалкая личина, истинная любовь чув-

ствует, что развязалась с горьким юдольным и что теперь за нею упрочена ненарушимая независимость.

Впрочем, едва достает духу вымолвить нечто подобное о трехкратно священном союзе дружбы. Малейшее в ней сомнение есть уже вероломство. Она вся прямота, великодушие, доверенность. Дружба должна откинуть всякую тень подозрительности и недоверчивости; она должна смотреть на своего избранного, как на божество, для того, чтобы два существа человеческие, основавшие между собою союз дружбы, были, так сказать, *обожествлены* каждое посредством другого.

ВОЗМЕЗДИЕ

Еще с самого детства мне хотелось написать кое-что о возмездии; до того мне всегда казалось, что насчет этого предмета жизнь поучает нас лучше, нежели богословие, и что простой народ знаком с ним более, нежели проповедник. Мне казалось, кажется и теперь, что верование в возмездие могло бы указать людям один из лучей Божества: вездесущее присутствие Мироправителя, и что такое верование могло бы наполнить душу человека морем любви и приблизить его к достойному сообщению с Тем, Который был, есть и будет. И если бы это верование было притом выражено словами, сходными с теми лучезарными провидениями, которыми сказывается нам эта и всякая другая истина, оно, как мне кажется, могло бы сделаться путеводною звездою, и в часы мрака, на трудных стезях жизни, предохраняло бы нас от многих заблуждений, даже от погибели. Недавно во мне опять возбудилось это желание по случаю услышанной мною проповеди. Проповедник, говоря о Страшном Суде, излагал, что в этом мире справедливость полного удовлетворения не оказывает: *нечестивец* здесь счастлив, добродетельный страдает, и в заключение обещал, кому вознаграждение, кому расправу — в веке будущем. Сколько я заметил, его речь не внушила ни малейшего опровержения ни одному из слушателей. А между тем, какова была ее сущность? Хотел ли пастор выразить ею то, что вот, куда ни оглянись, люди безнравственные имеют дома, земли, места; лошадей, вина, нарядов у них вдоволь, тогда как праведник остается в нищете и в пре-

небрежении; пусть потерпит! Его непременно ожидает вознаграждение: и капиталами, и шампанским, и страсбургскими пирогами...

Если не о таком, о каком же другом *вознаграждении* говорил проповедник? Если же награда добрых состоит в назначении благословлять и молиться, любить людей, помогать и служить им, так не то ли же делают они и теперь?

Главная погрешность догматов такого рода заключается в ошибочно распространенном мнении, будто правосудие медлит здесь исполнением, будто нечестивцы счастливы! И ослепленный проповедник оценивал достоинство высокого преуспевания по подлому курсу рынков и торжищ. И вместо того, чтобы поставить человека лицом к лицу с вечною истиною, вместо того, чтобы показать, какими сокровищами может обогатиться душа, каким могуществом окрылиться благая воля, он ставил пред Судилище мертвецов и на этом основании водружал два различные знамени: для добра и зла, для успеха истинного и подложного.

В этом и в следующем «Очерке» я помещу несколько заметок, могущих служить указанием на те данные, по которым совершается закон возмездия, и как буду я счастлив, если мне удастся твердо и отчетливо начертать самую малейшую дугу этого необъятного круга.

Полярность действия и противодействия встречаются в каждом отделе природы: возьмите свет и мрак, жар и холод, морской прилив и отлив, пол мужской и женский, вдох и выход растений и животных. В биении сердца, в колебании воздуха и звука, в силе центробежной и центростремительной, в электричестве, в гальванизме, в химическом сродстве — словом, всюду в природе обнаруживается неизбежная двойственность, так что каждый отдельный предмет составляет только половину и неминуемо наводит мысль на тот, другой предмет, который должен его дополнить, например: внешность — внутренность, дух — плоть,

мужчина — женщина, субъект — объект, низ — верх, движение — покой, да — нет.

Эта двойственность, присущая природе, проявляется и во всех условиях, которым подчинен человек. Пословица «Нет худа без добра», и наоборот, всюду находит себе приложение. Со всякого излишества, со всякого злоупотребления, видимо или невидимо, взимается пеня. Закон возмездия правит странами и народами и ни на йоту не уклоняется от своей цели. Против него тщетно злоумышлять, строить козни, придумывать средства обороны: сама суть вещей не поддается продолжительному дурному руководству. Бедствия, причиненные злом, могут быть скрыты, но они существуют и непременно выйдут наружу. Гибельный произвол, пошлая искусственность не благословляются долготою дней, между тем как истинная жизнь и все, что дает человеку, истинное благо, остаются будто неподвластны чрезмерности гонений или излишеству земных даров и с полнейшим хладнокровием крепнут и мужают среди наплыва разнородных неприязненных обстоятельств. Влияние характера на собственную судьбу человека сохраняет всю свою силу, сохраняет ее непременно, под каким бы то ни было правлением, начиная от Турции до Новой Англии, и история честно исповедует, что под былыми деспотами Египта индивидуум пользовался всей свободою, доступною степени его тогдашней образованности.

Все во вселенной проникнуто нравственным началом. Душа, которая внутри меня, есть сознание, вне меня есть ее закон: мое *я* сознает его веления, тогда как внешние события объясняют мне его неотразимую силу. Эта сила всемогуща; все существующее в природе чувствует над собою ее власть: «*она в мире, и мир через нее произошел*». Она вечна, она не медлит правосудием и неуклонно держит весы между всеми отделами жизни. «Боги всегда остаются в выигрыше». Тайны обнаруживаются, преступление на-

казуется, добродетель вознаграждается, кривды выпрямляются; иногда неслышимо и невидимо, но непреложно — всегда.

Каждый поступок уже содержит в себе свою реакцию, или, говоря иначе, каждый поступок совершается под двояким видом: во-первых, *в сути*, то есть в своей действительной природе; во-вторых, *в факте* или в природе мнимой, кажущейся. Люди называют факт возмездием, тогда как *беспосредственное* возмездие неразлучно с сутью и видимо только душе. Возмездие, оплаченное событием, доступно нашему разумению; оно тоже содержится в сути, но часто долго остается скрытым и обозначается по истечении многих лет. Раны, нанесенные обидою, могут выказаться много спустя после обиды, но они выкажутся непременно, потому что это именно обида нанесла их. Проступок и кара растут на одном стебле. Кара — это плод, который, сам того не зная, срывает виновный в одно время с цветком наслаждения, прикрывающим плод. Причина и следствие, семя и плод — ничто из этого не может быть разрознено одно с другим, потому что следствие уже содержится в причине, а плод в семени.

А между тем, мы, тогда как мир силится воспроизвести единство и удержать его неприкосновенность, мы пытаемся действовать частями, отрывками; все разрознить, всюду прибрать к рукам то одно, то другое. В угоду чувственности мы отделяем, например, материальное наслаждение от потребностей сердца и ума, и наша наивность все тщится разрешить задачу, как бы похитить чувственную усладу, чувственное могущество, чувственный блеск, помимо нравственного наслаждения, нравственной твердости и нравственной красоты. А это так же возможно, как возможно снять легонькую поверхность, отделив ее от коренного основания, с которым она срослась; как возможно схватить один конец, не притянув к себе и другой.

Душа говорит: есть надобно — и тело задает себе пиры. Душа говорит: мужчина и женщина составят одну плоть, один дух, — а тело соединяется с одною плотью. Душа говорит: властвуй надо всем, для торжества добра, — а тело похищает власть для порабощения всего своим целям.

Сильно борется душа наша за то, чтоб жить, чтоб действовать, наперекор всем противопоставляемым препятствиям. Этот факт должен бы сделаться нашим единственным руководителем, и тогда бы все прочее воссоединилось и спаялось: и могущество, и радости, и знание, и красота. Но как поступаем мы? Нет такого индивидуума, который бы не обосабливался и не искал во всем себя; он торгует, ездит верхом, наряжается, пирует, правит миром — напоказ. И как не возвеличить себя людям! как не гоняться им за богатством, за властью, за саном, за известностью, тем скорее, когда они мнят, что, сделавшись сильны и богаты, они станут вкушать в мире одни сласти и обойдут другую его сторону — горечь.

Но закон природы не поддается такому дележу, и приходится признаться, что от начала мира даже до сего дня ни один подобный посягатель не имел ни малейшего успеха. Лишь только мы попробуем выделить себе часть из целого, то наберем себе удовольствий — без удовольствий, доставим себе выгоды — невыгодные, облечем себя властью — не властвующею. Как что ни делай, а разделенная вода сольется под рукою, и нам так же невозможно усвоить себе одни чувственные блага, как найти внутреннее во внешнем, свет во мраке:

Гони природу в дверь:
Она влетит в окно.

Жизнь наша обставлена заставами, которых обойти нельзя, и которые глупцы стараются обойти. Они хвастаются тем, будто подобные условия им неизве-

стны и их не касаются, но их похвальба на одних только устах, между тем как душа их испытывает весь фатализм этих постановлений. Если они увернутся от них с одной стороны, то будут задеты ими с другой, и в самое живое место. Если они, по-видимому, выскользнули совершенно — это знак того, что в них погублена настоящая жизнь, что они продали, предали самих себя, и тогда, карою им — окончательное омертвение. Велика ошибка домогаться каких бы то ни было благ, помимо не разлучных с ними обязанностей: лучше и не приниматься за невозможное осуществление. Если же безумие вовлечет кого в подобную попытку, тогда противозаконность *восстания* и *хищения* немедленно и неотвратимо ведет за собою помрачение чистого разума: человек перестает видеть Бога во всей его полноте, в каждом из предметов; эти станут представлять ему тогда одну чувственную приманку, а он будет лишен способности распознавать в то же время невыгодную сторону таких приманок. Он увидит голову сирены, хвоста же дракона не увидит и возмечтает, что добыл то, что ему хотелось, и отвязался от того, что не было ему в угоду: «О, как таинственны пути твои, живущий на небесах, Господи! Неустанные судьбы твои наводят слепоту на глаза людей, предающих себя необузданным влечениям» *(Блаженный Августин)*.

Человеческой душе известна непреложность этих фактов, и она выразила их аллегориями и историей, законами и пословицами, изящными искусствами и ежедневными разговорами. Таково значение древнего мифа о Немезиде, которая надзирает за всею вселенною и не оставляет без отмщения ни одного вреда, ни одного оскорбления. «Фурии — прислужницы Фемиды, — говорили древние, — и если бы солнце сбилось со своего пути, они наказали бы самое солнце.» Поэты провозглашают, что каменные стены, и стальные мечи, и кожаные ремни имеют тайное соотношение с бедствиями их владельцев: Гектор был

привязан к колеснице Ахилла поясом, подаренным Аяксом; Аякс же заколол себя именно тем мечом, который подарил ему Гектор. Они рассказывают тоже, что когда фазияне воздвигли статую Феогену, победителю на играх, один из его соперников, придя ночью, старался свалить ее с подножия. Расшатанная статуя пала, но своим падением задавила и умертвила завистника.

Каждое наше действие, наперекор нашей воле, подчиняется законам природы и получает от них свойственный ему отпечаток. Можно сказать, что каждым своим словом человек передает себя на суд нелицеприятный; что он, волею и неволею, рисует свой портрет для собеседников. Мы обидим другого, а страдаем сами. Изувер в религии, запирающий двери рая ближнему, сам остается за дверью. Обходитесь с людьми холодно, как с пешками, и вам будет так же больно, как им. Чувственность обращает во что-то бездушное и женщин, и детей, и несчастливцев.

В отношениях общественных всякое нарушение закона любви и справедливости получает скорое наказание. Это наказание — страх. Пока мои отношения к людям чистосердечны, мне не тягостно встречаться с ними. Мы сходимся друг с другом, как вода с водой, как струя воздуха с другою воздушною струею: просто, естественно, со взаимным прозрением наших внутренних свойств. Но лишь только я удалюсь от простоты, начну разграничивать и отделять: это мое, а это его, — мой ближний почувствует мою вину перед ним; он расходится со мною, как я разошелся с ним; его взгляд перестает искать мой взгляд; вражда между нами началась; он не любит меня, я боюсь его.

Таким же образом караются все закоснелые злоупотребления гражданских обществ, и большие мировые, и мелкие частные: страх не приходит просто так, он правдивый прорицатель переворотов. Он всегда учит вас тому, что где является он, там есть злоупотребление. Страх похож на ворона или на другую

хищную птицу; если они начнут носиться над каким-нибудь местом, вы можете быть уверены, что там завелась мертвечина. Пугливы наши обладания, пугливы наши законы, пугливы наши высшие сословия; страх, уже в течение нескольких столетий, размножает знамения и провозвестия в среде правительств и собственников. Эта нечистая птица угнездилась меж ними недаром: она обозначает большие провинности, которые должны быть поправлены.

То же случается и с отдельными личностями: деятельность внезапно прерывается; они ждут перемены. Страшен яркий полдень без туч, страшен перстень Поликрата, страшно счастие без тени. При такой обстановке всякая душа чувствует потребность возложить на себя добровольные лишения, или искус добродетельного подвига; это как бы колебание стрелки весов, ищущей восстановить равновесие в духе и в сердце человека.

И люди опытные знают, что гораздо лучше, при всяком случае, платить свой пай, не то дорого обойдется ничтожная бережливость. Какова чистая прибыль человека, получившего сотни одолжений и не оказавшего ни одного? Или что приобрел этот лентяй или тот хитрец, пробавляющийся вещами, лошадьми, деньгами своего соседа? Лишь только заем сделан, тотчас обрисовывается, с одной стороны, благодеяние, с другой, ответственность; то есть немедленно чувствуется превосходство и зависимость; всякая новая неравная сделка кладет все более резкий оттенок на взаимные отношения, и часто приходится убеждаться, что лучше бы отбить себе ноги о мостовую, чем влезать в кареты добрых людей.

Мудрый применяет уроки мудрости ко всему, что случается в жизни; он знает, что всего благоразумнее честно смотреть в глаза каждого заимодавца и на всякую справедливую просьбу отвечать своевременно, своим уменьем и своим сердцем. Платите за все; не то, рано или поздно, придется выплатить долг спол-

на: люди и события могут протесниться между вами и правосудием, но это только на время; вы все-таки будете принуждены расквитаться. Благотворение есть цель природы, однако пошлина взимается со всякого блага, выпавшего на вашу долю. Велик тот, кто оказывает наиболее благодеяний, но мерзок — и решительно, это единственная мерзость в целой вселенной — тот, кто, получая одолжения, не возвращает их никому. По существующему порядку вещей мы очень редко можем воздать благодеяниями тем, от кого мы их получали, тем не менее, благое дело должно быть выплачено ухо в ухо, копейка в копейку. Бойтесь набрать слишком много добра: оно скоро плесневеет и заводит порчу. Пускайте его в оборот, живо, проворно, тем или другим образом.

Так как превосходный закон возмездия царит во вселенной и всюду стойко держит равновесие между: *получил? — раздавай!* — то и всякий труд наш огражден теми же непреклонными постановлениями. Благоразумные люди находят, что всего дороже обходится дешевый труд и дешевый товар. В метле, в ковре, ноже, вагоне мы покупаем некоторую долю чужого ума и толка, примененного к нашим ежедневным потребностям. Мы платим садовнику за его знание садоводства, моряку за опытность в мореходстве, слугам нашим за порядок дома, за рукоделие, за поварское мастерство. Такими сподвижниками мы удесятеряем, усотеряем наше присутствие и размножаем свое собственное бытие, каково бы ни было наше общественное положение. Но так как все имеет свою двоякую сторону, то обман не удерживается нигде. Вор обкрадывает самого себя, мошенник плутует над самим собою, потому что подлинная, чистая плата за труд — это добро и знание; наружным признаком служит им благосостояние и общественное доверие. Конечно, эти признаки можно украсть и подделать, как ассигнации, однако же того, что они представляют, то есть добра и знания, не украдешь,

не подделаешь. Эта цель труда достигается только действительным упражнением способностей духа и повиновением побуждениям, чистым и бескорыстным. Плуту, игроку, тунеядцу ли захватить эти блага, это понимание природы физической и нравственной, которые даются рачительности и неутомимости добросовестного труженика? Закон природы таков: соверши это дело — и ты обогатишься силою, скрытою в нем; у тех же, которые дела не делают, откуда возьмется их сила?

Я убежден в том, что высочайшие нравственные законы могут быть усмотрены человеком на каждом шагу, при самых обыденных его обстоятельствах и поступках. Эти неподкупные законы, отражаясь на стали его резца, надзирая за мерою его ватерпаса, его аршина, за итогами счетной книги его лавки, не менее истории обширных государств удостоверяют его в том, что ремесло его стоит хвалы, что доброкачественность его занятий достигает возвышенности его помыслов.

Неразрывная связь между добром и природою неволит все и всех смотреть на порок враждебным оком. И прекрасные законы, и все существующее в мире преследуют и бичуют злодея. Он более, чем мы с вами, убежден, что все на земле подчинено только истине и добру; что на всем ее протяжении нет места для негодяя, нет места для тайны. Преступление совершено, и кажется, будто по всей земле разостлана та легкая пелена снега, которая указывает охотнику, куда пробежал заяц, порхнула куропатка, где скрылась белка, лисица.

С другой стороны, закон возмездия служит несокрушимою опорою всякому действию чистосердечия. Любите, и вы будете любимы. Любовь точна математически, точна, как члены алгебраического уравнения. Великодушный человек обладает верховным благом, которое, как огонь, все очищает и все заставляет являться в настоящем виде, так, что ничто не в силах

ему повредить. Различные бедствия, болезни, обиды, нищета делаются его благоприятелями: *«Воды приносят, ветры навевают мужу добра — силу, бодрость, превосходство; а между тем, сами по себе, воздух и вода — ничто.*

Самая слабость и беспомощность служат в пользу добрым. Беспомощность порождает твердость. Пока нас не потерзают и не пожалят, пока вражьи силы не пустят в нас своим зарядом, в нас не пробуждается то благородное негодование, которое привыкает искать себе обороны в мощи духа. Великому человеку очень бы хотелось оставаться маленьким человеком. Пока он лежит на пуховике удачи и приволья, он дремлет, засыпает... Но когда его примутся толкать, бить, колоть, — пинки преподадут ему урок, и он отрезвится, возмужает. Ему станут знакомы и обстоятельства, и его собственная неопытность; он излечится от безумных мечтаний, приобретет умеренность и настоящую разумность. Мудрый всегда идет открыто на своих противников. Ему самому еще важнее, чем его врагам, дознаться, в чем его слабая сторона: тогда раны его скоро заживут, струп опадет, как простая засохшая кожа, и пока враги приготовляются восторжествовать над ним, он уже сделался невредим. Вообще, всякое несчастие, не одолевшее нас, становится нашим благодетелем. Мы вбираем в себя силу искушения, которое мы превозмогли; так житель Сандвичевых островов думал, что в него входит крепость и отвага убитого им неприятеля.

Те же хранители, которые оберегают нас от бедствий, от неприязни других и от собственной слабости, защищают нас и от себялюбцев, и от обманщиков. Суды и тюрьмы еще не стоят в ряду наших лучших учреждений; тонкость в ведении дел не есть еще признание высочайшей мудрости — мы это знаем, и всю жизнь мучимся суеверным страхом, что нас проведут, обманут... Да кто же иной может обмануть человека, как не он сам себя? Возможно ли чему-либо, в

то же время, и быть и не быть? Не бойтесь, есть, есть третье лицо, безмолвно присутствующее при всех наших сделках и соглашениях: оно берет на себя ответственность за всякое условие, оно наблюдает за тем, чтобы всякая честная услуга получила свою надлежащую награду. Это третье лицо — дух ваших действий. Вы служите господину неблагодарному, — служите ему как можно долее, вселите в самого Бога участие к себе, и вы через него получите, что вам следует. Чем долее медлили платою, тем лучше для вас, потому что небесное правосудие имеет обыкновением увеличивать капитал приращением процентов на проценты и выплачивать всю сумму сполна.

Вспомните историю различных гонений, тяготевших над человечеством. Что она, как не история противоестественных восстаний, перечень тщетных домогательств вить веревки из песка, заставлять воду течь снизу в верх покатости? Дело не в числе гонителей: один ли тиран, целая ли их толпа. Толпа — не что иное, как сброд людей, по собственной воле теряющих рассудок и бегущих без оглядки напролом всего, что основано рассудком. Толпа все равно что человек, добровольно унижающийся до животного; ей всегда время действовать, и действия ее безалаберны, как и само сборище. Она гонит убеждения, с радостью высекла бы истину и надеется раз навсегда отделаться от правоты, предав огню и мечу жилища людей, одушевленных этим божественным началом. Ее припадки безумия похожи на блажь детей, бегающих с головнями, для того чтобы затмить блеск алой зари, разливающейся по тверди небесной. Но беспорочный дух недосягаем, и озлобление против него обращается на гонителей. Мученик не может быть обесчещен; каждый удар лозы возвышает его славу; каждая тюрьма становится обителью все более знаменитою; сожженная книга, испепеленный дом освещают мир, и каждое зачеркнутое или запрещенное слово расходится отголосками по всему земному протяжению.

Напоследок люди стряхивают безумие, разум предстает пред ними оправданный, и лукавое видит воочию, как напрасен был его труд: бичёван бичеватель, низвергнут тиран.

Так все в мире заверяет нас, что обстоятельства не значат ничего, а человек — все. Нет вещи, которая не имела бы двух сторон: хорошей и дурной, и как выгоды без невыгоды нет, то я научаюсь довольствоваться тем, что имею. Прочитав такое замечание, люди поверхностные могут возразить мне: какая-де польза поступать хорошо? Между добром и злом есть соотношение: приобрету я добро — я должен буду за него поплатиться; потеряю на хорошем и вместо него найду другое — не все ли равно, что ни делать?

Нет! верование в возмездие не есть вера индифферентизма. В душе есть начало еще глубже возмездия: это ее собственное естество; душа — не возмездие, не равновесие, она — *жизнь,* она — *суть.* Превыше колеблющегося моря обстоятельств, которых прилив и отлив определен с наиточнейшею соразмерностью, пребывает Дух, действительно сущий; не часть, не отношение, но *Все,* содержащее в себе все отношения, все времена, все существа и поколения. Это нескончаемое *Да,* отвергающее всякое отрицание. Все законное, доброе, естественное подобно потоку, истекает из этого всевышнего Существа; порок — это отсутствие Его, отлучение от Него. Ложь и нигилизм — это мрак, это непроницаемая ночь, на которую, как бы на черный фон картины, вселенная кладет свои краски. Ложь и нигилизм бесплодны, в них нет сущности, нет жизни: они непроизводительны ни для добра, ни для зла.

Мы ошибочно думаем, что зло не получает здесь своей мзды, потому что преступник упорствует в своем пороке и не сознается в своей каре, потому что видимый суд редко над ним совершается, потому что ни пред ангелами, ни пред людьми он не расторгает своей связи со злоупотреблениями. Но чем более таит

он в себе лжи и лукавства, тем более он утесняет свое собственное бытие, и рано или поздно уличение в дурных делах сделается ясно и для его понимания; мы можем не видеть этого, но мертвящие следствия зла лягут верным итогом на счетах вечного правосудия.

С другой стороны, мы не покупаем ценою каких бы то ни было лишений наши приобретения духовных усовершенствований. Не положена пеня за добро и его действия; не положена пеня за мудрость: добро и мудрость — не что иное, как придаток вечного Естества к отдельному естеству человека. *Я есмь* в точном смысле слова тогда, когда свершаю то или другое дело добра; таким действием я распространяю свет, я вношу победоносное знамя в пустынные пределы хаоса и ничтожества и вижу, как мгла редеет на небосклоне. В любви, в значении, в красоте не может быть излишества, когда созерцаешь эти свойства и эти дары в их чистейшей сущности. Не по нутру душе ограничивать свою мощь и свои стремления; она всегда клонится к оптимизму, к пессимизму — никогда!

Жизнь души в усовершенствовании, а не в застое; условием ее жизни есть доверенность. Во всех сближениях между людьми наш инстинкт всегда более или менее имеет в виду *причастие* души, а не *бездушие*. Мужественный человек ценится выше труса; человек правдивый, мудрый, благосклонный гораздо более *человек*, чем этот негодяй, этот бездельник.

Мы сказали, что за вечные блага добра и мудрости не взимается никакой пошлины: эти блага составляют удел самого Бога. За всякое же благо внешнее платить следует, и если оно досталось вам незаслуженно, без пота и труда, то может и исчезнуть при первом дуновении ветра. Тем не менее, все блага, какие только есть в мире, принадлежат душе и могут быть куплены на монету подлинную, узаконенную и пущенную в оборот самою природою, то есть ценою труда, от которого не откажется ни наше сердце, ни наша голова.

Я, например, не желаю никаких благоприобретений; не гонюсь ни за кладом, ни за почестями, ни за властью, ни за вынужденною милостью особ, зная, что такие блага возложат на меня новую ответственность, что с ними прибыль наружна, а платеж неизменен. За знание же факта, что закон возмездия существует и всегда находится в действии, я не заплатил ничего, но, обладая им, я живу ясный, спокойный, и живу приятно. Тщательно стараясь суживать пределы и протяжения напастей, которые могут меня постигнуть, я научаюсь понимать мудрые слова святого Бернара: «Я один могу нанести себе вред неисправимый; если я делаюсь защитником зла, оно заражает меня, я вношу его в себя, и, право, я действительно страдаю тогда только, когда сам бываю виновен».

Душа, по своей природе, имеет дар и возможность сглаживать все неравенства условий. Корень многих неприятных, даже трагических столкновений, по большей части, держится на различии, существующем между *плюсом* и *минусом.* Как не страдать *минусу,* как не чувствовать ему недоброжелательства и зависти к *плюсу?* С другой стороны, стоит поглядеть на тех, у кого большой недостаток в способностях, и становится грустно, и не знаешь, как с ними быть; иногда случается, что глазу оскорбительно даже глядеть на них, и почти боишься, чтоб они не были укором Богу на земле... Что им делать? Не вопиющая ли это несправедливость?.. Нет! Идите прямо к средоточию факта, присмотритесь ближе, выведите настоящую поверку, и громадные неравенства исчезнут. Их сгладит любовь: от нее, как от солнца, тают горы ледовитых морей. Если бы сердца и души составляли одно, исчезла бы горечь, причиняемая «твоим» и «моим». Мне принадлежит твое; я и мой брат одно: мы просто могли бы меняться личностями. Если мне понятно превосходство, величие власти надо мною моего ближнего, — что ж — я полюблю его, я широко распахну дверь его величию! Любовь усваивает

себе все качества, все заслуги своего любимца, и, сблизясь с ним на этом основании, я увижу, что брат мой, которому я так завидовал и недоброхотствовал, не иное что, как мой казначей, и что он готов служить мне своими дарованиями и своими силами. Да, бессмертной душе человека принадлежит право брать в свою собственность все, что существует и когда-либо существовало. Не дышит ли и теперь душа моя частью духа Святых, долею гонения Шекспира? Любовь и поклонение вынуждают все чистое, прекрасное и великое снисходить в обитель вашего внутреннего я.

Таков также и естественный смысл наших бедствий и превратностей. Перемены, в небольших промежутках нарушающие житье-бытье людей, суть увещания природы, по законам которой всему надлежит расти и развиваться. Увлекаемая этою основною необходимостью каждая душа бывает временами принуждена изменять свой быт, свой круг друзей, свои деяния и свои верования; так моллюски покидают время от времени свои красивые раковины, сделавшиеся тесными и задерживающие их рост: должно сызнова приниматься за медленное устройство нового известкового жилища. Учащение таких переворотов соответствует бодрости сил индивидуума; они беспрерывны для некоторых счастливцев; в таком случае все их внешние отношения имеют простор и, не касаясь того, что составляет их истинную жизнь, облекают их тонкою прозрачною плевою, а не сдавливают тяжелым неуклюжим зданием, построенным в разное время, без толку и без цели, подобным тем, в которых мается большая часть людей.

Человеческая природа эластична; она способна возобновляться так, что сегодняшний человек едва может узнать вчерашнего себя. И такова должна бы быть летопись жизни человека в его отношениях к временному: ежедневное высвобождение из под теснин отжитого, сходное с ежедневною переменою одежды. Но для нас, живущих с такою нелепостью,

тупо и упрямо обосновывающихся на одном месте, вместо того чтобы идти вперед; для нас, противодействующих божественным призывам, наш рост сопровождается потрясениями и припадками.

И нам ли расстаться с нашими друзьями, нам ли выпустить из объятий наших ангелов? И нам ли заметить, что если скроются ангелы, то их место заступят архангелы!.. Все мы идолопоклонники старины. Мы не верим в сокровища души, в ее могущество, в ее вечное бытие. Мы не верим, что в мире есть сила, могущая сегодня войти в соперничество с тем, что казалось нам прекрасно вчера; что в мире есть сила обновления. Мы не можем решиться покинуть те ветхие шатры, где нашли питье, еду, кров и радости; мы не можем уверовать, что дух промыслит для нас в другом месте кров, пропитание и опору. Мы не можем вообразить себе ничего милее, дороже, слаще изведанного. Но напрасно усаживаемся мы и принимаемся плакать. Голос Всемогущего говорит нам: Встань и иди! Оставаться среди развалин нельзя, ступить вперед страшно — и похожи мы на какие-то чудовища, идущие вперед, с головою, обороченною назад.

Но время настает, и самому нашему разуму становятся понятны воздаяния, следующие за бедствиями. Болезнь, увечье, потеря друзей и состояния на первых порах кажутся нам несчастием, и неисправимым, и ничем не облегчимым. Но годы неминуемо растолкуют нам глубокий смысл врачевания, скрытого под такими испытаниями. Смерть, лишающая нас друга, брата, жены, возлюбленного, со временем являет их нам в виде доброго гения, верного руководителя. Подобные потери, всегда производя в жизни некоторый переворот, полагают конец эпохе детства или молодости, которым уже настала пора прекратиться; они выводят нас из застоя привычек, устаревшего образа жизни, занятий и дают нам возможность вступить в новые отношения, несомненная важность

которых и благодетельное на нас влияние обнаружатся в будущем. И тогда мужчина или женщина, которые остались бы похожи на сад, где есть и цветы, и солнце, но где от тесноты, корни дерев переплетаются, а вершины сохнут от солнцепека, благодаря падению ограды делаются подобны величественному банану, принимающему под свою сень и питающему своими плодами бесчисленное множество людей.

ЗАКОНЫ ДУХА

Когда в нашем уме установится размышление, когда мы начнем обозревать себя при свете мысли, нам открывается, что вся наша жизнь обвеяна красотою. По мере нашего от них отдаления, все предметы, как облака на небе, принимают пленительные образы. Не только обыденное и старое, но и страшное и трагическое расставляется частными картинами в нашей памяти. Прошедшее придает прелесть берегу речки: раките, наклоненной на ее воды; ветхому домику; самым обыкновенным личностям, случайно проходившим мимо нас. Самый труп, на который надели саван, вот в этой комнате облек дом чем-то торжественно священным.

Душе не известны ни безобразие, ни муки. Если бы в часы светлых провидений, в те часы, когда дух вполне владеет своим величием, нам привелось изречь сущую истину, мы бы, вероятно, сознались, что мы не понесли никакой невознаградимой утраты. Такие-то часы убеждают нас, что нам невозможно потерять ничего из истинно важного. Бедствия, лишения — это все частности; целое остается неприкосновенным в нашей душе. Признаемся, что есть некоторые преувеличения в рассказах людей самых терпеливых и самых жестоко-испытанных; признаемся, что, может быть, никто еще в мире не описал своих страданий так просто и правдиво, как бы это следовало. В сущности, в нас изнемогало, в нас обуревалось конечное, между тем как бесконечное покоилось в своем улыбающемся безмятежии.

И право, не стоит терять духа в превратностях и в других подобных безделицах! Духовную жизнь на-

добно сохранять в здравии и в благоуханной чистоте, если хочешь жить согласно с природою и не хочешь обременять себя не касающимися нас утруждениями. Нынче всякий сызмала терзается над решением богословских задач: о первородном грехе, о происхождении зла, о предназначении и над прочими подобными умозрениями, которые на практике не представляют никаких затруднений и нимало не затмевают пути тех, которые для таких поисков не сбиваются со своего. Многие умы должны предложить себе на рассмотрение и такие вопросы; они в них то же, что корь, золотуха и другие едкие мокроты, которые душа должна выбросить наружу, чтоб после наслаждаться отличным здоровьем и предписывать целебные средства другим. Простым натурам подобные сыпи не необходимы. Нужно иметь редкие способности для того, чтобы самому себе отдать отчет в своем веровании и другим ясно выразить свои воззрения относительно свободного произвола и его соглашения с судьбою человека. Для большинства же людей, взамен наукообразной пытливости, весьма достаточно иметь несколько верных инстинктов, немного удобопонятных правил и честную, здравую природу.

Чинно распределенный курс учения, целые годы, проведенные в университетах и на профессорских кафедрах, не преподали мне фактов разительнее тех, на какие навели меня случайные неклассические книги, припрятываемые мною под скамьями латинского класса.

То, что мы не называем воспитанием, имеет гораздо более цены, чем то, что величается этим именем: при воспитании часто бессознательно употребляются все усилия, чтобы сдержать и переиначить врожденный магнетизм, который с безошибочною верностью избирает себе приличное.

Нравственная наша природа точно так же бывает искажена безвременным напряжением воли. Люди по

сих пор изображают добродетель как битву; с высокомерием повествуют о своих борениях и победах; всюду в ходу правило: добродетелен тот, кто наиболее бьется с искушениями. При этом забывается одно: присутствие или отсутствие души. Забывается и то, что характер прекрасен по мгновенности и естественности своих главных стремлений и что мы тем более любим человека, чем менее он приневоливает себя к добродетелям, чем менее ведет им счет и гордится ими. Встречая душу, все поступки которой царственны, восхитительны, миловидны, как роза, нам бы должно возблагодарить Бога, дозволившего ей проявиться и существовать среди нас, — мы же круто отвернемся от ангела и скажем: «Нет, Горбач лучше: он бранью и кулаками разгоняет всех чертей, лезущих на него».

Всюду в практической жизни столь же очевидно превосходство природы над волею. Наши преднамерения управляют событиями гораздо менее, чем мы думаем. Мы приписываем Цезарю и Наполеону и тайные замыслы, и глубоко обдуманные и выдержанные планы, тогда как вся сила была не в них, а в природе. Люди, имевшие чрезвычайный успех и необыкновенную гениальность, всегда в минуты прямодушия повторяли одно и то же: «Не нами! Не по нашему произволу!» Весь их успех основывался на параллельности действий с помыслом. Этому они не ставили препятствий, и чудеса, которым они служили проводниками и орудием, казались их собственным делом. Разве металлическая проволока производит гальванизм? Она только его проводник. Шекспир мог ли объяснить теорией, каким образом образуются Шекспиры?

Урок, несомненно преподаваемый нам такими наблюдениями, состоит в доказательстве, что наша жизнь могла бы быть гораздо проще и легче, нежели мы ее делаем; что мир мог бы быть гораздо счастливее теперешнего; что можно бы обойтись без побоищ, без судорог отчаяния, скрежета зубов, ломания

яростных рук и что многие бедствия устраиваются собственно нами.

Мы переполнены действиями механическими. Вмешиваемся, Бог знает зачем, в дела всего света до того, что все светские добродетели, хвалы и жертвы становятся нам отвратительны. Дела любви составили бы наше счастье, но и на нашем благоволении лежит зарок. Тяжелы делаются для нас под конец и воскресные школы, и общества вспоможения бедным. Мы скучаем, мы томимся и — не угождаем никому.

Есть простые средства для достижения целей, которые эти учреждения имеют в виду; да за те мы не принимаемся. Зачем, например, всем добродетелям упражняться на один лад и топтаться все по одной тропинке? Почему каждая из них обязана давать все одни деньги? Для нас, сельских жителей, это совсем неудобно, и мы не так-то верим, чтобы добро произошло именно из нашего неудобства. У купца есть доллары — пускай он и даст доллары; но у землевладельца есть хлеб; у поэта — его песнь; у женщин — рукоделия; у детей — цветы; у чернорабочих — трудовые руки. Да и к чему во всем христианстве завелась эта смертная тоска — воскресные школы? Прекрасно и естественно детству желать познать, зрелому же возрасту прекрасно и естественно желать научить; но всегда придет пора отвечать на вопросы, когда за ними обратятся. Не усаживайте детей против их воли на церковные скамейки; не принуждайте их задавать вам вопросы, о которых они и не помышляют.

Мы сами, очевидно кладем препятствия благосклонности к нам природы, суясь туда, куда не надо. Не всякий ли раз, — когда мы ступим на священную землю прошедшего, или приблизимся в настоящем к высокому уму, — обнаруживается в нас способность видеть, что мы окружены законами духа, которые повсюду идут своим чередом? Возвышенный покой внешней природы внушает нам то же самое. Природа не любит никаких треволнений, ни нашего коп-

чения небес. Она остается равнодушною к предметам наших поисков и пристрастий, и нимало не веселится нашими коварствами, войнами, победами. Когда из банка, из совещаний аболиционистов, из митингов обществ умеренности, из клуба трансценденталистов выйдешь в поля и леса, природа так, кажется, и говорит тебе: «Из чего так разгорячилась и расходилась ваша милость?»

Если мы расширим горизонт нашего зрения, то окажется, что все стоит на одном уровне: изящная словесность, законодательство, житейский быт, религиозные секты; и что все это как бы заслоняет истину. Наша общественная и гражданская жизнь загромождена увесистыми махинами, похожими на бесчисленные водопроводы, которые римляне строили через долы и горы и которые теперь отброшены за ненадобностью, по открытию закона, что вода поднимается в уровень своего источника.

Простота устройства вселенной весьма разнится от простоты устройства машины. Природа проста не потому, что ее можно легко понять, а потому, что она неистощима; что окончательный анализ этой простоты никогда не может быть исполнен. Педант тот, кто доискивается вне себя и на все стороны, как мог образоваться такой-то характер, создаться такая-то наука. Человека постоянно мудрого нет: неперемежающаяся мудрость существует только в воображении стоиков. Возвышенность надежд и ожиданий — вот по чему может познаваться мудрец, вот почему предугадывание необъятных сокровищ вселенной есть залог вечной юности. Конечно, читая книгу или глядя на картину, мы всегда стоим за героя против подлеца или вора; но мы сами же подлецы и воры, и будем ими не раз, не в грубом смысле фактов, но по сравнению нашей жизни с возможно достижимым величием души.

Краткий обзор того, что ежедневно случается с нами, доказывает нам, что не наша воля, а закон выс-

ший управляет событиями; что наши самые упорные труды бесполезны и бесплодны, что мы истинно сильны одними действиями непринужденными, внезапными, свойственными нам; и что одним повиновением законам высшим можем мы достигнуть праведности и героизма. Вера, любовь или, лучше сказать, верующая любовь одна в состоянии облегчать невыносимое бремя забот и раздумий. О, братия мои, Бог существует! В средоточии вселенной есть Дух, который до того царит над волею человека, что никто не нарушит порядка мироправления. Этот Дух до того преисполнил все созданное неизочтимыми благами, что, следуя Его велениям, мы благоденствуем; если же хотим нанести вред Его созданиям, наши руки опускаются онемелыми или раздирают собственную грудь. Весь ход вещей, весь их порядок научает нас верить. Нам нужно только повиноваться. Есть руководитель для каждого из нас, и, прислушиваясь внимательно, мы различим слова, касающиеся именно одних нас.

К чему с таким трудом выбирать себе место, занятие, сотоварищей, образ деятельности и времяпрепровождение? Нет ни малейшего сомнения, чтобы каждый из нас не имел права на нечто, могущее избавить его от нерешительных раздумий и от поспешного выбора. Есть, есть для каждой человеческой личности и существенность, и место, для него свойственное, и обязанности, совершенно подходящие к врожденным его склонностям. Станьте только вы под исток мудрости и могущества, который льется в вас, который даровал вам струю жизни, и он вынесет вас к истинному, к прямому, к совершенному вашему удовлетворению. Наши нелепые и несвоевременные вмешательства портят многое: они-то затворяют нам врата рая, рая возможного и всегда желанного для сердца.

Если я говорю: *не выбирай,* так обозначаю этим выражением то, что люди обыкновенно называют *своим выбором,* который есть не что иное, как дей-

ствие вполне от них отчужденное: выбор их рук, их глаз, их грубого хотения, но отнюдь не предпочтительное действие всего человека. Добром же и правом называю я выбор моего бытия; раем — расположение обстоятельств, приличных и благоприятных моему бытию. Действие, которое я всю жизнь желаю совершить, — вот действие, согласующееся с моими способностями; ему и надобно посвятить все свои силы. И человек ответствен пред разумом за выбор своего ремесла или звания. Возможно ли извинять проступки, относя их к обыкновениям ремесла? Что за неволя возиться с негодным ремеслом? Призвание не в ремесле, а в душе.

У каждого человека есть свое призвание: особенный дар, и побудительный, и привлекательный. У него есть способности, безмолвно требующие себе бесконечного упражнения. Именно в этом направлении открыто для него все протяжение. Он как лодка, встречающая на реке препятствия со всех сторон, исключая одной; здесь, единственно здесь, лодка может пронестить и заскользить по неисчерпаемому морю. Этот дар или призвание слиты с его естеством, то есть с душою, воплотившеюся в нем. На этом пути он не встретит соперников; ибо чем вернее он станет придерживаться того, что может, тем явственнее отличится его произведение от произведений других. Если он правдив и честен, его самолюбие с наиточною пропорциональностью относится к его возможности. Так, высота горы совершенно соразмерна объему основания.

Возмечтание, что я имею особенное предназначение, что я назван по имени, избран вследствие моей личности, отмечен видимыми знаками для совершения чего-то необыкновенного, чего-то выделяющего меня из ряда людей, называется фанатизмом, и обозначает неведение, мешающее разглядеть, что дух одинаково беспристрастен ко всем людям.

Исполняя свое предназначение, человек отвечает на потребности других, порождает в них новые вку-

сы, наклонности и, удовлетворяя их, олицетворяет самого себя в своем произведении. Беда в том, что между людьми все делается условно и по натяжке. Оратор произносит заученные речи, тогда как не только оратор, но первый попавшийся человек мог бы найти или создать ясное, подлинное выражение той мысли и той силы, которыми одушевлен он. Ежечасный опыт должен бы удостоверить нас, что несметное большинство кое-как отправляет занятие или ремесло, в которое оно ввержено, и что должности отбываются по примеру собаки, ворочающей вертел. Человек пропадает и делается частицею машины, приводимой им в движение.

Пока он не может вполне выразиться другим, предстать пред ними во весь свой рост и во всю меру человека мудрого и доброго, он не нашел еще своего назначения, и ему следует отыскать исход, который определил бы его характер, изъяснил его действия в глазах других. Если труд его не важен, он должен возвысить его своим намерением, своим направлением и засвидетельствовать это перед людьми для того, чтобы мнение о нем было непогрешимо. Не безумно ли ссылаться на пошлость или на требовательность занятия и звания, вместо того чтобы преображать и то и другое превосходством характера и стремлений?

Мы по привычке отдаем предпочтение действиям, издавна пользующимся хвалою, и не замечаем того, что все, чего не коснется человек, может быть исполнено божественно. Мы раз и навсегда решили, что величие водворилось и организировалось в таких-то местах, при таких-то должностях; что выказывается оно в таких-то случаях, такими-то чинами, и не видим, что Паганини производит восторг и упоение обыкновенною струною скрипки, Эйленштейн площадною пляскою, Лендсир поросятами, и что герой часто выходит из очень низкого домика и общества. То, что мы называем безвестною долею, ничтожною

средою, может быть долею и средою, к которой бы с радостью приблизилась поэзия и которую вы сами можете сделать и славною, и завидною: освойтесь только со своим гением и говорите искренно то, что думаете. Несмотря на разницу положения, будем брать пример с царей. Обязанности гостеприимства, семейные связи, думы о смерти и о множестве других предметов заботят мысли царей. Да озабочивается ими и всякий царственный ум: придавать этим вещам все более цены и значения — вот возвышение.

Могущество человека в нем самом; надобно поступать по этому правилу. К чему обуреваться то страхом, то надеждою? Его природе вверены прочные блага; они наделены возможностью умножаться и усиливаться во все продолжение жизни; блага же случайные могут возрасти и опасть, как осенние листья. Станем ими играть, бросать их на ветер, как мгновенный признак неистощимости нашей производительной силы.

Человек должен быть самим собою. Тот дух, те свойства его, которыми он отличается от других, — впечатлительность в отношении некоторого рода влияний, влечение к тому, что ему прилично, отторжение от того, что противно, — определяют для него значение вселенной. Эти определения, эти понятия, составляя его сущность, служат в его глазах формою, в которую вылита вся природа. Среди всеобщей толкотни и шума, из многого множества предметов он высмотрит, выберет — он прислушается к тому, что ему мило, сходственно или нужно: он как магнит среди опилок железа. Лица, факты, слова, запавшие в его память, даже бессознательно, тем не менее, пользуются в ней действительною жизнью. Это символы его собственных свойств, это истолкование некоторых страниц его совести, на которые не дадут вам объяснений ни книги, ни другие люди. Не отвергайте, не презирайте случайный рассказ, физиономию, навык, происшествие; словом, то, что глубо-

ко запало в вашу душу; вместо них не несите своего поклонения тому, что, по общему мнению, стоит хвалы и удивления. Верьте им: они имеют корень в вашем существе. Что ваше сердце почитает великим — то велико. Восторг души не обманывается никогда.

Человек имеет неоспоримые права на все, свойственное его природе и гению; он отовсюду может заимствовать то, что принадлежит его духовному расположению. Вне этого ему невозможно усвоить себе ничего, хотя бы распались пред ним все запоры вселенной; но опять скажу: никакая человеческая сила не в состоянии воспрепятствовать взять ему столько, сколько нужно. Попробуйте скрыть тайну от того, кто имеет право знать эту тайну, не успеете: сама тайна выскажется ему.

Кажется, ничего нет легче, как сказать и быть понятым. Однако рано или поздно сознаешь, что взаимное понимание составляет самую редкую, самую надежную, крепкую связь и оборону; с другой стороны, тот, на кого навязали мнение, скоро догадается, что это самая несносная из нош.

Никто не может познать то, что он еще не приготовлен познать, как бы близко ни находился предмет от его глаза: химик может безопасно сообщить плотнику свои самые драгоценные открытия, которые он ни за что на свете не поведает другому химику. Плотник от них не поумнеет и не разбогатеет. Напротив того, нет возможности утаить в книге своих задних мыслей так, чтобы человек, равный с автором по уму, не проникнул их насквозь. Оттого-то люди предчувствуют последствия вашего учения и приводят его в действие, сами не зная, почему они так поступают. И так как мы все рассуждаем, идя от видимого к невидимому, то и происходит совершенное понимание между всеми людьми мудрыми, несмотря на расстояние веков. Если у Платона было тайное учение, мог ли он скрыть его от проницательности Бэкона, Монтеня, Канта? Вследствие этого

Аристотель очень основательно говорил о своих творениях: они изданы в свет и не изданы. Вы помните, с каким восхищением такой-то отзывался о Виргилии? Возьмите «Энеиду», в свою очередь, читайте ее своими глазами, вы не найдете в ней того, что нашел ее восторженный ценитель, и одна эта книга, в руках тысячи различных лиц, становится тысячью различных книг.

Само провидение ограждает нас от преждевременных наносных идей. Наш глаз устроен так, что он не заметит предметов, стоящих перед ним, пока ум еще не приготовлен к их восприятию; но когда мы их увидим, нам покажется сном все то время, в которое мы их не видали. То же правило тесно связано и с обучением всякого рода. Человек поучает фактически, никак не иначе. Если он имеет дар сообщать, пускай поучает, только не словами. Наставник дает, наставляемый получает. Наставление ничтожно до того часа, когда ученик дорастет до вас и будет в состоянии усвоить себе ваши начала. Тогда-то совершается истинное сообщение, и уже никакие жалкие случайности, никакое дурное товарищество не лишат вполне вашего ученика умственных и нравственных благодеяний, полученных от вас. В этом и состоит воспитание. Прочие же уроки входят в одно ухо и выходят в другое.

Нам приносят объявление, что «сего июля, 4-го числа, г. Гренд скажет публичную речь»; «6-го же июля, г. Хенд скажет свою публичную речь». Мы не пойдем ни к тому, ни к другому, заранее зная, что эти господа не сообщат слушателям ни одного дуновения от своих способностей, от своего бытия. О, если бы можно было вступить с ними в подобное общение, мы бы отложили все дела и заботы; больные велели бы нести себя на носилках на такую беседу! Но публичная речь есть ловушка, ложь, изъявление недостатка доверия к слушателям; это узда, налагаемая на их мысль: не сообщение, не живое слово, не человек.

Когда же убедимся мы, что вещь, сказанная словами нисколько ими не утверждена? Она утверждается сама собою, по своей внутренней ценности; никакие риторические фигуры, правдоподобия и словопрения не придадут ей характер неоспоримой очевидности.

Та же Немезида стоит на челе всех прочих умственных трудов. Влияние каждого сочинения на публику может быть математически рассчитано на основании глубины мысли, вложенной в него. Если оно возбуждает вашу мысль, если могучий голос красноречия заставляет вас трепетать, волноваться и выводит вас из застоя, действие читаемой вами книги на дух людей будет обширно, медленно, продолжительно. Если же эти листы не задевают в вас ничего существенного, они исчезнут, как мошки, через час времени. Никогда не выйдет из моды то, что сказано и написано с искренностью. Возьмите девизом совет Сиднея: *«Пиши, вглядываясь в твое сердце!»* Я не думаю, что бы доводы, не трогающие меня за живое, не касающиеся сущности моего бытия, могли чрезвычайно поразить других людей. Только жизнь порождает жизнь. Писатель, извлекающий свои сюжеты из всего, что жужжит вокруг ушей, вместо того чтобы выносить их из своей души, должен бы знать, что он потеряет гораздо более, чем выиграет. Когда его друзья и половина публики откричит: «Что за поэзия! что за гений!» — вслед за тем окажется, что это пламя не распространяет никакой живительной теплоты. Не шумные чтецы только что появившейся книги устанавливают ее окончательный приговор: его изрекает публика неподкупная, бесстрашная, неподвластная пристрастию; публика, похожая на небесное судилище. Блекмор, Коцебу, Полокк могут продержаться одну ночь, но Моисей и Платон живут вечно. Едва ли, в одно и то же время, на всем земном шаре двенадцать человек читают с толком Платона; никогда не наберется ему столько

чтецов, чтобы можно в скором времени распродать все издание, и между тем его творения являются пред каждым новым поколением, будто предлагаемые самою рукою провидения.

Точно так же, по глубине чувства, его внушившего, может быть разочтено впечатление, производимое поступком. Великий человек не знал, что он велик; нужно было два-три века для уяснения его величия; он действовал так, потому что таков был его долг, и ему не оставалось выбора. Его поступки казались ему весьма естественными: их порождали обстоятельства и текущее время. Теперь же малейшее его слово, движение руки, обыкновенный образ жизни кажутся чем-то значительным, имеющим соотношение с мировыми законами и достойным войти в повсеместное постановление.

Человек может познать и самого себя. Усматривая столько-то добра, столько-то зла в других, он отыщет мерило собственного зла и добра. Каждая способность ума, каждое движение его сердца великолепно отражается ему в уме и в сердце того или другого знакомого. Все красоты и все блага, подмечаемые им в природе, заключаются в нем самом. По правде сказать, наша планета немногого стоит; она получает все свои красы от душ, составляющих ее цвет и гордость. Долина Темпейская, Рим, Тиволи — что они, как не та же земля, вода, скалы, небо, как и всюду: но отчего же другие места не столько говорят нашему сердцу?

Человек должен сам образовать себе общество, не упуская из виду то, что без всякой видимой причины он привязывается к одним и избегает других. Самые дивные таланты, самые похвальные поступки находят нас бесчувственными; но как легка, как полна победа тех, кто сходен с нами, близок нам по душе. Это брат, это сестра, данные нам провидением; как тихо и просто подходят они к нам, как накоротке сходятся, — подумаешь: одна кровь течет в наших

жилах! И мы сближаемся с ними до того, что такой союз не кажется нам приобретением единомышленника, а, скорее, отрешением от самих себя. Что за облегчение, что за освежение! Неразлучность с ними походит на отрадное одиночество.

Во дни нашей греховодности мы нелепо думаем, что обязаны держаться и к тем, и к другим вследствие общественного устава, одинакового покроя платья, равенства рождения, воспитания и личных заслуг. Позднее мы сознаем, что друг души моей встретился мне на моем именно пути: я вполне отдавался ему, он мне, и рожденные под одною и тою же широтою небесною, мы оба были взлелеяны теми же впечатлениями; в нас отразились одинаковые опыты. Сколько ученых, стойко вдохновенных людей совершают преступления против самих себя, начиная вдруг рядиться и перенимать манеры светских щеголей, волочась за причудливою, красивенькою девочкою, вместо того чтобы благоговейно и возвышенно-страстно остановиться перед женщиною с душою ясною, прекрасною, многообетною.

Великому сердцу всегда дается великая любовь. И, напротив, ничто так строго не карается, как упущение из виду созвучия духовных сил, которое одно должно быть положено в основание жизни семейной и общественной. Опять повторяю: ничто так не карается, как безумное легкомыслие при выборе спутников нашей жизни. Еще менее прощается непризнание возвышенной души и упорство идти к ней на встречу с благородным радушием. Когда то, чего мы давно желали, сбывается и блестит над нами, как волшебный луч, исшедший из дальнего царства небес, продолжать быть грубым и язвительным, принимать подобное посещение с уличною болтовнею и подозрительностью есть признак такой пошлости, которая в состоянии запереть себе все двери Эдема. Не распознать, кому и когда следует верить и поклоняться, означает великое сумасбродство, даже поло-

жительное помешательство. В какой бы пустыне ни возник цвет мысли и чувства, освящающий и возрождающий меня, — он мой. Предоставляю другим открывать и величать сонмы более блестящих дарований и следить за гением на его поприще, усеянном звездами; но я не отвергну и того, что далось одному мне, и лучше прослыву странным и безумным, чем откажусь заявить пред всеми силу и беспредельность моего сочувствия.

Человеку дана возможность установить и собственную свою цену. Всемирно и достойно всякого вероятия правило, что мы можем приобрести то, что приписываем себе. Сядьте на такое место и выберите такое положение, которое по всем правам несомненно прилично вам, и все подтвердят, что оно ваше. Мир принужден быть справедливым. Он с полным равнодушием предоставляет всякому, и герою и негодяю, выказать, чего он стоит. Это ваше дело, а мир примет вас по курсу, назначенному собственными вашими действиями и вашею неотъемлемою сутью. От вас зависит, раболепно ли ползать пред ним, марать свое имя или же начертать его четко на своде небесном, среди постоянного хода светил.

Таковы некоторые наблюдения законов духа, вычитанные из природы вещей. Эти простые заметки могут указать нам, каково направление их струй. Но эти струи, наша кровь, и каждая ее капля — жизнь. Истина не одерживает побед отдельных: ей служит органом все, не только прах и камни, но и самая ложь и уклонения. Врачи говорят, что законы болезней прекрасны не менее законов здоровья. Наша философия утвердительна, но она с неменьшею готовностью принимает свидетельство и факты отрицательные: всякая тень делает посылку на солнце. По воле Неба все существующее в природе обязано дать о себе свидетельство. Поэтому и свойства человека должны обрисоваться перед глазами других. Им нельзя укрыться: темнота им ненавистна, они тянут-

ся к свету. Мимолетное слово и действие, самое слабое намерение действовать, наравне с глубоко обдуманными замыслами, выражают характер. Его выдает и дело, и бездействие, и сон. Вы полагаете, что, не сказав ни слова, пока говорили другие, вы утаили свое мнение и что все ждут с любопытством определения вашей запоздалой мудрости? Не беспокойтесь: ваше молчание красноречиво, и присутствующие знают, каково ваше суждение о рабстве, о партиях, об упомянутой личности.

Природа вдвинула скрытность в неимоверно узкие границы, тогда как правда удержала в своем подданстве все члены тела и выражение лица, которое, как говорят, никогда не лжет. Следовательно, никто не может быть обманут, если вглядится в изменения лица. Когда человек высказывает истину в духе и с голосом истины, его глаза блистают небесным светом; но когда цель его дурна и речь фальшива, глаза его тускнеют, иногда даже косят.

Совершенно излишне мучиться любопытством, какова степень уважения к нам людей; и напрасны опасения, что наши достоинства останутся непризнанными. «Как живешь, так и прослывешь», — пословица отменно справедливая. Если кто убежден, что может сделать нечто и сделает это лучше других, он как будто уверен, это эта истина известна всем. Мир полон дней Страшного Суда; и куда бы ни пошел, что бы ни сделал человек, его всюду рассмотрят, точно насквозь, и наложат на него приличествующий штемпель. В гурьбу детей такой-то школы вступает новичок, разряженный, чистенький, с пропастью игрушек и с большою спесью. Кто-нибудь из *старожилов* пощупает его и прехладнокровно скажет: «Пускай его себе! увидим завтра!»

Бездельник воссядет на престол. На первых порах не разглядишь, Гомер ли он или Вашингтон, но истина воссияет, и не остается ни малейшего сомнения насчет какой бы то ни было человеческой личности.

Поэтому претензии должны бы оставаться в покое и предписать себе бездействие; они никогда не произведут ничего истинно великого. Претензия никогда не написала «Илиады», не разбила в пух и прах Ксеркса, не покорила мир христианству, не уничтожила рабство.

Сколько есть качеств в человеке, столько их и обнаруживается. Ни одно искреннее слово не пропадает даром, ни одно движение великодушия не исчезает бесследно. Сердце человеческое летит навстречу словам искренности, поступкам великодушия и мгновенно вбирает их в себя. Человек ценится по своему достоинству. Если вы не хотите, чтобы некоторые ваши поступки были известны, — не делайте их. Тут не поможет ни укрывательство, ни самообладание. Есть обличения и во взгляде, и в пожатии руки. Зло осквернило этого человека и уничтожает все добрые впечатления, которые он еще производит. Не знаешь, почему нельзя ему довериться, но чувствуешь, что довериться нельзя. Утомленная наружность, блуждающий взор, признаки бесчувствия, отсутствия истинного знания — все служит ему осуждением. Уже Конфуций восклицал: «Как может человек утаиться! Как может человек скрыть себя!»

С другой стороны, прекрасной душе нечего опасаться, чтобы тайные дела ее бескорыстия, справедливости и любви могли остаться без сочувствий. Одному человеку, по крайней мере, известно и доброе дело, и благородное намерение, его внушившее; он уверен, что скромное умалчивание послужит ему лучше подробных рассказов. Этот свидетель похвального поступка — он сам, его совершитель. Он заявил им свое благоговение к законам вечным, и законы вечные, в свою очередь, воздали ему невозмутимым миром и самодовольством.

Вообще, добродетель состоит в заменении состояния *казаться* состоянием *быть;* то есть в высокопарном свойстве, выраженным самим Богом изрече-

нием *«Я есмь»*. И таков урок, извлеченный из всех наших наблюдений: *Будь, а не кажись!* Эту светскую премудрость пора предать забвению. Преклонимся пред могуществом Господа, сметем с Божественных стезей наше ничтожество, раздутое тщеславием, и мы получим от Него истину, которая одна даст сокровища и величие.

Заметим еще, что все наши ощущения и понятия обманчивы. Большие размеры вызывают нашу почтительность; кроме того, мы так и присмиреем при одном слове: *деятельность*. Это обман внешних чувств — больше ничего. Ум убогий и скудный может иметь сознание, что он ничто, если не владеет каким-нибудь наружным знаком отличия: квакерским платьем, местечком в собрании кальвинистов или в обществе филантропов, порядочным наследством, видною должностью и тому подобным, удостоверяющим его самого, что он нечто значит. Но ум живой и могучий — обитатель солнца, и в самой своей дремоте властелин создания. Мыслить — значит действовать.

Мы же называем бездейственным поэта, потому что он не председатель, не купец, не водовоз! Мы покланяемся различным установлениям, забывая, что они произведения мысли, которая находится и в нас. Мать всякого подвига есть мысль, и самая плодотворная деятельность совершается в минуты безмолвия. Не шумные и не видные факты: женитьба, выбор и снискание должности, поступление на службу, — налагают на нашу жизнь неизгладимый отпечаток; его производит тихая дума, посетившая нас во время прогулки, у опушки леса, на окраине ее дороги; дума, которая, обозрев всю нашу жизнь, дает ей новый поворот, говоря: «Ты поступил так, а лучше бы поступить иначе». Все наши последующие годы сопровождают такую мысль как слуги; они подчинены ей и исполняют ее волю, насколько это возможно. Такой обзор или, лучше сказать, такое исправление предыдущего есть сила неизменная;

она похожа на толчок, данный телу, но она направлена на нашу внутреннюю жизнь и сопутствует ей до последних пределов. Озарить человека светом незаходящим, сделать все существо его способным беспрепятственно проникаться законом непреложным — вот цель возвышенных посещений. Ими возлагается на человека долг, чтобы все малейшие подробности его жизни, куда только ни обратите вы своего взгляда: его слова, поступки, Богопочтение, домоводство, общественная жизнь; его радости, одобрение и противоборство, — все в нем служило явным выражением его свойств и его природы. С такими содействиями человек делается вполне *самостоятелен;* но если он довольствуется состоянием *сбродным,* луч солнца не пронзит, истинный свет не озарит его; и глаза, даже самые полные участия, утомятся, усматривая в нем тысячу разнородных направлений, и существо, ни в чем не достигшее утверждения и единства.

Зачем тоже прибегать нам к ложному смирению, пренебрегать в себе человеком и образом жизни, данным ему на часть? Хороший человек всегда доволен своим уделом. Я чту и чествую Эпаминонда, но я не желаю быть Эпаминондом и считаю более справедливым и полезным любить мир мне современный, а не мир его времени. Если я искренен и верен самому себе, вы не смутите меня словами: «Он действовал, а ты остаешься в бездействии».

Похвальна деятельность, когда нужно действовать; похвально и бездействие. Если Эпаминонд в самом деле был такой, как я его понимаю, он, вероятно, при моих обстоятельствах, точно бы так же оставался в бездействии. Небо обширно: в нем есть простор для всех родов любви, для всех родов доблестей. И зачем нам суетиться, прислуживаться, хлопотать донельзя? Пред лицом Правды деятельность и бездействие равны. Из одного куска дерева сделан флюгер, из другого — будка на мосту: свойство дерева выказывается в том и в другом употреблении.

Я вполне доверяюсь распоряжениям Всевышнего. Простой факт моего пребывания на таком-то свете служит мне ручательством, что именно здесь нужен Ему о́рган. И когда эта обязанность мне уяснится, буду ли я отпираться, отказываться, представляя с безвременным и суетным смирением, что я не Гомер, не Эпаминонд. Мне ли судить о том что Ему прилично, что нет: я только повинуюсь Его определениям. Всевышний дух меня блюдет, и є каждым новым днем обогащает меня новою бодростью и веселием. Я не отрекусь от изобилия благодати под тем предлогом, что она в ином виде нисходит на других.

Если нас восхищают великодушные поступки, постараемся придать величие и нашим поступкам. Всякое действие эластично до бесконечности, и смиреннейшее из них способно проникнуться отблеском небес, который затмит свет солнца и луны. И, во-первых, будем исполнять свои обязанности. Какая мне стать углубляться в деяния и умозрения древних греков и римлян, когда, так сказать, я не умыл еще своей хари и не оправдал себя пред моими благотворителями? Как сметь мне зачитываться о военных подвигах Вашингтона, когда я не отвечал еще на письма моих друзей? Не трусливый ли это побег от своего дела, для того чтоб ввязаться в дела соседей? Это чистая увертка. Байрон сказал об Джеке Бунтинге: «Он не знал, что делать, и принялся ругаться». Не то же ли можно сказать и о нашем обращении с книгами: «Не знаешь, что делать, и примешься читать». Странное уважение оказываем мы памяти Вашингтона и других великих людей! Я считаю, что мое время и мир, в котором я вращаюсь, и мои отношения и занятия так же хороши, если еще не лучше их. Дайте мне, напротив, охоту так хорошо отправлять мои обязанности, чтобы всякий развалившийся читатель, сравнивая мою и их биографию, нашел бы, что моя во всем похожа на лучшие эпохи их жизни.

Преувеличенная оценка дарований Перикла и Сципиона и нерадение о собственных дарованиях

препятствуют нам заметить равномерность во многих проявлениях врожденных способностей. Поэт берет имя Цезаря, Велисария и пр.; если он изобразит своего героя со свойственною ему возвышенностью мыслей, с его чистотою чувств, с умом гибким и проницательным; с решимостью быстрою, отважною, изумительною; с сердцем всеобъемлющим и бестрепетным, и с жаром любви и упования; если он достойно выразит, как его герой, стяжав мир и все его драгоценности — дворцы, сады, деньги, корабли, царства, — явил свое величие в пренебрежении внешних благ, тогда верьте, что качества этого Цезаря находятся в самом поэте и что их-то красота приводит в восторг народы. Знаменитые же имена ни к чему не служат, если заимствующий их лишен духа жизни.

Будем верить в Бога, а не в имена, места и лица. Будем проводниками света; этим раздражительным золотым листком, чующим изменения и скопления тончайшего электрического тока. Тогда и мы различим, когда и где проявляется истинный огонь, несмотря на тысячеобразные различия риз, в которые он облекается.

КРУГИ

Первый круг — наш зрачок; второй — кругозор, им обнимаемый. Это самое основное очертание воспроизводится до бесконечности во всей природе; и мы в продолжение жизни изучаем по складам беспредельный смысл этого первоначала всех форм. В одной из предыдущих статей мы старались обратить философское внимание на кругообразное свойство, или, говоря иначе, на свойство возмездия каждого человеческого действия. Теперь мы займемся объяснением другого порядка отношений, указав, каким образом каждое наше действие может быть превзойдено другим. Жизнь наша есть не что иное, как умудрение в школе Истины: около каждого круга можно обвести другой. В природе нет конца; всякое окончание есть новое начало. За каждым угасшим днем безотлагательно следует новая заря, и под каждою глубиною открывается глубина еще бóльшая.

Этот факт, символизирующий нравственный факт усовершенствования, вечно привлекательного и никогда недосягаемого; этот факт, первый двигатель и всегда не удовлетворенный критик нашего развития, может послужить нам к собранию разных отличительных черт человеческих свойств и возможностей во всех родах их упражнения.

Неподвижности в природе нет. Вселенная текуча и летуча. Земной шар, в глазах Божьих, не что иное, как прозрачный закон, а не сплошная и стоячая масса фактов. Точно так же и наш индивидуальный прогресс, то есть преобладание уже мысли в человеке, уносит в своем развитии целые вереницы городов,

сел, учреждений. Мы возвысимся еще до другой идеи — и городов, сел, учреждений будто не бывало. Растаяли как лед греческие изваяния; кое-где белые обломки лежат, будто снег, уцелевший до июня в каком-нибудь тенистом ущелье или расселине горы. Греческие творения долее сопротивляются напору времени, но и над ними произнесен роковой приговор: возникновение новых мыслей повергло и повергнет их еще далее в пучину, которая поглощает все отжившее. Новые изобретения вытесняют старые; гидравлические машины сделали бесполезными римские водопроводы, порох — укрепления, железные дороги — шоссе и каналы, пароходы — парусные суда, а электричество — почтовые пароходы.

Вы удивляетесь той гранитной башне, выдержавшей приступы стольких веков. Несокрушимые ее стены воздвигнуты, однако, небольшою, слабою рукою; и зодчий лучше здания. Рука, ее построившая, еще быстрее может ее разрушить. Еще превосходнее, еще искуснее руки была незримая мысль, основавшая и сплотившая эту твердыню. Так, за каждым действием, и несовершенным, и шероховатым, виднеется побуждение лучшее, за которым стоит причина еще лучшая.

Иные вещи кажутся прочны и устойчивы, покамест не ознакомишься с их сущностью. Женщинам и детям твердо и прочно кажется их богатство; но для купца оно представляется в виде нескольких материалов, всех подверженных скорой убыли и порче. Городской житель думает, что плодоносные поля, фруктовый сад неизменны, как река и как золотые рудники; но опытный землепашец знает, что нельзя крепко полагаться на них и на обещания жатвы. Неизменяемость — слово относительное, включающее понятие о бесчисленных степенях.

Ступень за ступенью мы восходим по таинственной лестнице; эти ступени — наши действия, и новый кругозор, который они перед нами открывают,

придаст нам новое могущество. Всякое преждевыведенное заключение бывает обсуждено и отодвинуто назад заключением последующим: сначала оно находится будто в разладе с нами, но, в сущности, оно только расстилает пред нами новую перспективу. Прежнему всегда ненавистно теперешнее, и все, что держится за него, кажется ему пучиною скептицизма; однако глаз скоро привыкает к новому положению вещей, тогда проявляется его безвредность и благотворность, которые, тоже истощив свою энергию, поблекнут и исчезнут пред откровением нового часа. Не пугайтесь нового воззрения. Его факты, сначала грубые, материальные, грозящие унизить область духа, утончатся и приведут к примирению и материю, и дух.

Предметы, которыми дорожат люди в некоторые часы жизни, дороги им по идее, некогда взошедшей на горизонте их ума; она произвела существующий около них порядок вещей, как дерево производит свои плоды. Новый вид, или новая степень, образованности скоро изменяет желания и все направление человека.

Каждый шаг, который мысль делает вперед, сближает десятки фактов, по-видимому, несовместимых, и представляет их нам как различные выражения одного и того же закона. На Аристотеля и на Платона весь мир сговорился смотреть, как на вождей двух противоположных школ, но каждый толковый читатель убедится, что и Аристотель тоже *платонизирует*. Чем далее мы углубляемся в мышление, тем согласимее являются нам разноречивые мнения; они оказываются только крайними точками того же начала, и нам не достигнуть той сферы духа, где бы оканчивались крайности и где бы видения, все высшие и высшие, прекратили пред нами свое появление. О, сколько истин, глубочайших и ожидающих себе исполнения лишь в веках грядущих, заключено в простых словах каждой правды!

Много раз приходится нам проверживать один и тот же урок по всем отношениям жизни. Ключ, отворяющий человеку врата вселенной, есть его мысль. Как он ни тороплив и ни подозрителен, однако же верит этому компасу и с помощью идеи классифицирует все факты. Его жизнь вращается в круге, который, образовавшись из незаметного средоточия, расширяется во все направления новыми, все увеличивающимися кругами, все далее и далее — до бесконечности. Он может преобразоваться только посредством новой идеи, одержавшей верх над старою, которая, будучи произведением многих обстоятельств и постановлений, долго силится удержаться на вершине, ею избранной, чтобы окрепнуть и укорениться. Со своей стороны, душа, сильная и деятельная, ниспровергает границы, в которых хотят удержать ее обстоятельства. Она чертит все новые круги, стремясь к поприщам более обширным, к беспредельности. Ей невозможно оставаться заключенной в темнице первоначальных и слабейших впечатлений; она мощно порывается вперед, к пространствам необъятным и неисчислимым.

Крайний предел достижения всякого факта есть начало новой прогрессии фактов. Всякий закон общий есть только одиночное проявление другого всемирного закона, который вскоре должен обнаружиться. Историк окончил свой труд: «что за совершенство! что за полнота! все под его рукою приняло новый вид: он выше всех людей!» Но вот является другой историк и начертывает обвод, обширнее того круга, законченностью которого мы восхищались. Так бывает и со всеми. Окончательный вывод сегодняшней науки, вывод для нас изумительный, будет включен простым примером в обзор более широкий и смелый. Завтра может воцариться мысль, которая укажет нам такое небо, куда не достигали никакие эпические и лирические поэты воображения. Каждый человек не столько труженик этого мира, сколько намек на то, предчувствие того, чем он желает быть. Люди прохо-

дят мимо нас живыми пророчествами времен будущих.

Если мы обратимся к области внутреннего сознания, открывается и там то же различие взглядов. Никто не надеется быть вполне понятым; не надеется даже вполне понять самого себя. Мне представляется он как обладатель истины, уже снискавший мир на лоне Божьем; он же чувствует, что есть храм, есть тайник в душе его все еще замкнутый, все еще недостижимый. Мы все верим в возможность, выше и лучше прежних и теперешних проявлений нашего существования.

Беспрерывное желание возвыситься над самим собой и идти далее точки, до которой дошел, всего яснее выказывается во взаимном отношении людей. Мы жаждем одобрения, если же получим его, то принимаем как унижение. Любовь — лучшее благо жизни, но, любя истинно, мучишься сознанием своих несовершенств. Можно заключить о прогрессе человека по кругу его друзей. Человек перестает казаться для нас занимательным, лишь только мы увидим его границы: когда дойдем до них, не сильные впечатления производят на нас его таланты, предприятия, ученость. Еще вчера он был заманчив как необъятная надежда, как глубокое море, сегодня вы убедились, что море — пруд и что не стоит хранить его в памяти. Когда я не ослепляю себя добровольно, я очень хорошо понимаю, где оканчиваются беспредельные достоинства лиц, самых знаменитых и могучих. Они великолепны, благородны, велики благодаря щедрости наших речей: действительность не такова. О, во веки благословенный Дух, которому я изменяю для людей, не имеющих с тобою ни тени подобия! Всякий раз, когда мы делаем уступку по каким-нибудь личным соображениям, мы лишаем себя божественного состояния. Мы продаем престол Ангелов за минутное и смутное удовольствие.

Есть степени и в идеализме. Сперва мы играем с ним по-школярски, как с магнитом — тою же игруш-

кою. Потом, в разгаре молодости и поэзии нам мнится, что идеализм, *может быть,* прав, что нас достигают же некоторые осколки, некоторые проблески его правды; далее он принимает осанку строгую и величественную: в нас зарождается подозрение, что он *должен* быть прав; наконец, он является в смысле нравственном и практическом, и мы познаем, что есть Бог, что он в нас, что все созданное есть отражение Его совершенств.

Что такое и разговор, как не круговая игра, в которой мы переступаем за предел молчания. Нельзя судить о людях по влиянию, которое производит на них ум собеседников. Завтра они могут забыть свои сегодняшние витийства и побрести, опять опираясь на свою старую палку. Но пока это пламя сверкает вокруг нас, будем наслаждаться его яркостью. Гениальный ум огнем своего взгляда прожигает все завесы; статуи делаются людьми, все предметы получают смысл, и все, даже вазы и кресла, представляется символами, тогда как основание того, на чем мы утвердились, кажется зыбко и колышется под ногами. Но вообще молчание наносит стыд громким словам. Длина речи обозначает расстояние, находящееся между говорящим и слушающим. Если бы они были согласны на одной умственной данной, можно бы обойтись без слов; если б они были совершенно согласны насчет всего, слова показались бы им нестерпимы.

Литература есть внешняя точка круга в образе жизни новейших времен. Она служит площадкою, с небольшой высоты которой можно поглядеть на нынешний наш быт. Не мешает познакомиться с творениями и с ученостью древних; посидеть в домах римлян, карфагенян, греков, чтобы яснее понять, как теперь живут и благоденствуют французы, англичане, американцы. Лучшими судьями самой литературы бывают люди или стоящие на высоте развития духовного, или среди вихря деловой жизни, или тесно

сжившиеся с простотою природы. Не хорошо разглядишь поле, если сам выйдешь на него.

Обязанность также предложит нам найти точку опоры, на которой могли бы мы утвердить свою религию. Как, по всей справедливости, ни дорого христианство наилучшим членам человеческого рода, я допускаю, что нельзя всегда верить по катехизису. Тем не менее, верования возвышенные, великодушные, чистые всегда будут властвовать над человечеством. Но среди зеленеющих лугов или на лодке, скользящей по тихим водам озера, — возрожденные благотворным светом и воздухом, освеженные сладостным самозабвением, — мы разве не можем пред красотою полей, гор и лесов бросить на жизнь взгляд прямой и верный? Природа, гармоническими струями вливаясь в нашу грудь, разве не может преподать откровение и нашему духу, убедив его, что если в нем есть сознание долга, в нем пребывает и Всемогущий? Но тот, кто желает услышать глагол великого Бога, да исполнит завет Иисуса: «Войди в твою горницу и запри за собою дверь». Тот, кто желает познать Бога, должен прислушиваться к своему внутреннему голосу, вдали от общин, где раздаются отголоски набожности других. Так, религия обыкновенно покоится на численности единоверцев; а во всех случаях, в которые обращаешься, хоть косвенно, к этой многочисленности, оказывается, что между нею религиозных нет. Тот, кого мысль о Боге может объять и восхитить, не ведет счета своим единоверцам. Что скажет ему Кальвин или Фокс, когда он пламенеет чистейшею любовью и отдает себя с совершеннейшим смирением и упованием.

Физический мир можно изобразить целою системою концентрических кругов. По временам в нем обнаруживаются легкие неустойки: знак того, что земной шар, по которому мы ступаем, не тверд, а зыбок. Все его неуклонные отношения к атмосфере и к системе солнечной, все многообразные свойства растений хи-

мического сродства, металлов, животных, — существующих, по-видимому, сами для себя, — суть только пособия, средства научения; так сказать — слова, употребляемые Богом, и мимолетные, как прочие слова.

Вполне ли постиг свою науку естествоиспытатель или химик, изучивший тяготение атомов и их расположение к сродственному единению, но не уследив закона гораздо большей важности, которому химические влечения служат лишь дробным, внешним признаком того закона, удостоверяющего нас, что однородное притягивает однородное; что блага, свойственные вам, избирают вас своим центром и что вам не нужно употреблять ни трудов, ни издержек для их достижения? Не подземными, не сокровенными путями друг приводится к своему другу; а факты не примыкают ли сами собою к фактам, служа им подкреплением? И, однако, самый этот закон есть только более близкое и более прямое приложение к цели, но не сама цель. Всматриваясь далее, мы находим причину и следствие — две неразлучные стороны одного и того же факта. Устремимся еще далее, и мы обретем Вездесущность.

Закон безграничного усовершенствования распределяет по их местам и то, что мы называем добродетелями: хорошее гаснет при свете лучшего. Великий человек не будет благоразумен в простонародном смысле этого слова; его благоразумие истечет из самого его величия. Впрочем, прежде чем откинуть благоразумие, надобно дознаться, какому божеству хочешь принести его в жертву. Если роскоши и чувственности, так лучше продолжать оставаться благоразумным; если же высокому полету доверчивости и великодушия, тогда можно расстаться с ним без сожаления. Согласимся, что может пустить на волю своего вьючного осла тот, кто меняет его на огненную, окрыленную колесницу. По моему, самое большое благоразумие есть в то же время и самое мелочное; мне кажется еще, что всякою боязливою предосторожностью ог-

раждая себя от напастей, мы именно и подпадаем их влиянию. Вспомните, сколько раз вы унижали себя дрянными расчетами, прежде чем дошли до успокоения себя возвышенными чувствами, то есть до возможности образовать из сегодняшней вашей точки новый широкий круг. Притом вы считаете большою доблестью то, что очень обыкновенная вещь в глазах низких земли. Бедные и смиренные знакомы по-своему с новейшими открытиями философии: *«Счастливы маленькие люди!»* или *«Голенький — ох, да за голеньким — Бог!»*. Пословицы, выражающие, каков трансцендентализм их вседневного быта.

Смотря на те же предметы, с высшей или с низшей точки зрения, обозначается, что честность одного будет нечестностью в другом; что хорошо на этом месте, дурно на том; что мудрость здесь, безумно там. Один человек думает, что вся честность состоит в уплате долгов, и не знает, чем клеймить другого, небрежного к этой обязанности. Но, может быть, этот другой смотрит на нее иначе и спрашивает себя: «Какие долги следует мне заплатить сперва? То ли, что я задолжал богатым, или то, что должен нуждающимся? Денежный ли мой заем или долг мысли, позвавшей гений природы и обязанной отдать его человечеству? У вас, торгаши, один закон: арифметический; я предоставляю вам торговлю, мне же святы любовь, вера, прямодушие; все духовные стремления человечества. Я не могу, как вы, отделить одну обязанность от всех прочих и сосредоточить все мои помышления, все изыскания на средства заплатить деньги. Дайте мне срок пожить и увидите, что, возвратив долги, я не упустил исполнить и высших моих обязанностей».

Итак, окончательной добродетели нет: все они начинательные. Добродетели светские — пороки в святом. Нас очень пугает всякое преобразование от затаенного сознания, что придется тогда бросить множество так называемых добродетелей в бездну, уже поглотившую самые грубые наши пороки.

В природе — обновление ежеминутно; прошедшее в ней сглаживается и забывается; ей дорого одно будущее. Природа не любит отжившего, и, действительно, одряхление кажется мне одною положительною болезнью: в нем скапливаются они все. Мы называем их разными именами: горячкою, невоздержанием, сумасшествием, идиотизмом, преступлением; но заметьте, что все болезни сходны в своем характере с дряхлостью. Они, как и она, любят неподвижность, негу, присвоение всего себе, леность, а не освежающую новизну, не самопожертвование, не порыв, увлекающий вперед. Волосы наши седеют, но я не нахожу никакой надобности одряхлеть нам самим. Всякий раз, когда мы беседуем с теми, кто выше и лучше нас, мы молодеем, а не стареем. Детство, юность — стремительные, готовые на все впечатления, со своим взором, обращенным к небу, — считают себя за ничто и доверчиво отдаются просвещению, стекающемуся к ним со всех сторон. Но мужчины, но женщины, переступившие шестьдесят лет, претендуют на право всезнания; они попирают ногами надежду, отказываются от упований, подчиняются обстоятельствам, как неизбежной необходимости, и обращаются с молодежью брюзгливо и повелительно. Нет! Сделайте из себя орудие Святого Духа, храните любовь, возделывайте истину, и взор ваш поднимется, морщины сгладятся; вас окрылит еще надежда; вы станете бодры и крепки. Старость отнюдь не должна быть временем оцепенения для духа человека.

Жизнь есть ряд нечаянностей. Мы займемся, например, сегодня устройством своего внутреннего бытия и никак не отгадаем, что завтрашний день воззовет нас к радости, к могуществу. Мы умеем пролепетать несколько слов о самых ничтожных ощущениях души, о действиях привычки или впечатлений; но мощь этого образцового произведения Господня, но совершенное единство души в самой себе, но соприкосновение ее ко всей вселенной — для нас скры-

ты и недомыслимы. Я могу знать, что истина божественна, что она благотворна; но каким способом она освятит, облагодетельствует меня самого, — это мне неизвестно.

Человек, который идет вперед, развиваясь и совершенствуясь, сохраняет, при своем новом повышении все приобретения прошлого, с той только разницею, что они представляются ему в другом виде. Все прежние силы остаются в душе, свежие, как дыхание утра. Тогда-то, впервые, начинаешь достойно познавать все окружающее. Мы не понимаем значения даже самых простых слов, пока не научимся любить, пока не возымеем высоких стремлений.

Разница между дарованием и характером та же, что между умением починить старую торную дорогу и возможностью или решительностью проложить новую, которая поведет к целям еще неизведанным и лучшим. Характер уменьшает едкость личных ощущений, вверяет верховную власть настоящему, веселит и украшает определенный текущий час, одушевляет бодростью окружающих, указывая им, сколько есть еще на земле доступного и превосходного, о чем они и не помышляли. Даровитый и великий человек нелегко растрогается и разволнуется. Он так высок, что события проходят мимо, не осмеливаясь его тревожить. При виде победителя почти забываешь о сражениях, которыми он купил свое торжество; нам кажется, что рассказы о его затруднениях были преувеличены и что он расправлялся с ними очень проворно.

Есть другие люди, возвещающие: «Уж как я-то победил! — Уж как я-то торжествую! Как разгромил все невзгоды!» Мы что-то мало верим в их торжество. К тому же торжество ли это, когда человек сделался «гробницею, убеленною и поваленною», или женщиною, катающеюся от истерического смеха? Ис-

тинное торжество состоит в том, чтоб приневолить тягостные обстоятельства редеть и исчезать, как утренний туман, как приключение незначительной важности в сравнении с гигантскою и бесконечною бытописью, которая заходит все далее и далее.

Для удовлетворения наших ненасытных желаний нужно искать вот что: возможности забыть свое *я*, а прийти в удивление от знакомства со своими внутренними силами; откинуть смущающие воспоминания, а совершить нечто доброе, хоть бессознательно, но указанное свыше; одним словом, обвести около себя новый круг. Ничто великое не свершается без восторга. Пути жизни дивны: в обхождении с нею нужна доверенность.

Карикатурою и обезображиванием сладости самозабвения служит пьянство: употребление опиума и крепких напитков, — имеющее такую гибельную приманку для человека. По этой же причине предает он себя во власть необузданным страстям: игре, войне и проч., — чтобы хоть подражательно приблизиться к всеочищающему и беззаветному разгару души.

РАЗУМ

По исследованиям химии, всякое вещество низшего разряда относится к высшему отрицательно; всякое же вещество высшего разряда своим электричеством производит положительное действие на разряды веществ низших. Вода разлагает дерево, соль, камень; воздух растворяет воду; электрический огонь проникает воздух, но разум, в своем неугасимом горне, разлагает и огонь, и тяготение, и законы, и системы, и самые неуловимые и неизведанные отношения во всем мироздании. Как желал бы я, с живительною ясностью и с должною плавною мерою, изложить естественную историю разума! Но кто из нас в состоянии уследить все проявления и определить границы этой тончайшей, всепроникающей силы? Такой предмет останавливает на первых вопросах; и ученейшие головы могут прийти в замешательство от любопытства малого ребенка. Как говорить о действиях разума в каком бы то ни было исключительном отделе — научном, нравственном, практическом, — когда от его влияния воля бывает переплавлена в провидение, знание в поступок? Каждое из свойств разума преображается в другое; один он пребывает самобытен в своем единстве. Его видение не походит на зрение глаз; оно есть сочетание со всем видимым.

Слова разум, разумение означают, вообще, исследование истины отвлеченной. Обзор объективного и субъективного, времени и места, выгоды и урона терзает домыслы всех людей. Разум отрешает обозреваемый предмет *от вас,* от всех отношений местных и личных и изучает его, как нечто самостоятельное.

Гераклит определил ощущения так: *густой и пестрый туман.* Человеку трудно выйти на прямую линию в этом тумане ощущений добрых и злых. Разуму чуждо пристрастие. Он рассматривает факт холодно, без увлечений, так, каким он кажется при свете науки. Он переступает через индивидуальное, парит над собственною своею личностью и смотрит на индивидуальное как на подлежащее, не составляющее ни *меня,* ни *моего.* Тому, кто погружен в осмотрительные соображения времени, места и лиц, невозможно различить загадок бытия. Решением таких задач и занимается разум. Природа представляет нам все предметное в отдельных и в различных формах. Разум проникает форму, одолевает преграды, находит существенное сходство между предметами, повидимому, разнородными, и подводит все под небольшое число начал.

Разум руководит нами тогда, когда мы делаем из факта предмет нашей думы. Все бесчисленное множество явлений умственных и нравственных, на которых не останавливается добровольно наше размышление, подпадают под власть случая и входят в состав незаметных обыденных условий нашей жизни; они подвержены изменчивости, тревогам страха и надежд. Всякий из нас с некоторым унынием смотрит на условия человеческого удела. Как разноосна-щенные корабли, преданные на волю ветра и бури, мы подчинены игре обстоятельств. Но истина, снисканная разумом, уже изъята из-под власти случайностей. Она, как Божество, владычествует над заботами и над опасениями. Таким образом, каждое событие нашей жизни, каждое воспоминание о том, что мы передумали или живо вообразили себе, однажды выпутанное из смутных прядей случайной мысли, становится для нас предметом и безличным, и бессмертным. Это наше прошлое, но восстановленное и забальзамированное. Сила, превосходящая искусство древних египтян, хранит его от тления. Очищенное от

всего плотского и грубого, оно достойно может вступить в область науки, и, представляясь снова нашему созерцанию, оно уже не страшит нас, потому что сделало из нас существ интеллектуальных.

Наша мысль всегда будет даром свыше. Разум возрастает внезапно, непредвидимо. Никакой ум в своем развитии не в состоянии сказать, когда, как и посредством чего он дойдет до зрелости. Каждого из нас Бог посещает различными путями. Наша мысль зарождается гораздо ранее размышления; она ускользает от помрачения и незаметно достигает до ясного света дня. В детском возрасте мысль принимает все внешние впечатления и уживается с ними по-своему. Но закон непреложный правит нашим мышлением, от него зависят все действия и все проявления духа. Тут нет слов на ветер и нет поступков на авось. Прирожденный закон руководит духом до той поры, когда он сам возмужает до размышления или, иначе, до мысли сознательной.

В жизни самой тяжелой, или самой бесплодной, или самой подверженной анализу несчастный выбивается из сил, замечая по долгим наблюдениям над собою, что большая часть этой жизни не подвластна ни его расчетам, ни его предусмотрительности, ни тому, что представлял ему ум. Не раз готов он схватить себя за голову, восклицая: «Что же я наконец такое? Какая доля принадлежит моей свободной воле в образовании такого существа, каким стал я теперь? Я носился по морям мыслей, часов, событий, гонимый властью непостижимою и всесильною, и ни мое простодушие, ни твердая воля не пособили мне ни в чем».

Вашему вниманию и рассуждению никогда не ответить на подобные вопросы так хорошо, как это сделала внезапная мысль, посетившая вас сегодня утром при пробуждении или на прогулке; мысль, вызванная вашим вчерашним раздумьем. Но ее вразумительные истины равно искажаются слишком резким направлением воли, как и излишнею беспечностью.

Мы не достаточно следим за нашими мыслями, мы ограничиваемся легким над ними надзором; и самые истины, нас озарившие, слабеют от прикрас и добавлений, приданных нашим рассказом.

Припоминая себе, какие лица возбудили и научили нас наиболее, мы тотчас убедимся в превосходстве начала наведения и вдохновения над началами математическими и логическими. Первые всегда заключают в себе и логику в ее сущности и в ее применимости. Мы, конечно, требуем логики от каждого ума и не миримся с ее отсутствием; но логика не должна ни слишком выдвигаться вперед, ни слишком распространяться. Ее обязанность — постепенно и соразмерно укреплять наведение, самой же оставаться безмолвною. Лишь только она является со своими предложениями и с домогательством самостоятельности и первенства, она теряет всякую цену.

Каждый ум имеет свой особый способ просвещения. Некоторые образы, черты, слова, факты, не замечаемые и забытые другими, ложатся на мой ум без всякого усилия и служат ему впоследствии к изъяснению законов первостепенной важности. Наше совершенствование очень сходно с развитием растительной почки. Сначала вы имеете инстинкт, потом — мнение, напоследок — познание; то есть корень, цвет, плод. Доверяйтесь инстинкту; он содействует вызреванию истины, и тогда вы узнаете, почему вы ему верили: из познания произойдет вера. В здравом уме, подношения, доставляемые инстинктом, не прерываются никогда; они, напротив, усиливаются и оказывают ему все более частые услуги на разных степенях образованности. Наконец, когда настает эпоха разума, мы уже не наблюдаем, не утруждаем себя наблюдением, потому что приобрели уже силу прямо устремлять внимание на отвлеченную истину и обнимать духовным оком все образы здешнего существования во время ли чтения, разговоров, или личной деятельности.

Человек простосердечный и здравомыслящий не живет по правилам, преподаваемым в школах. Он собирает заметки со всего, что само собою его поражает или радует. Вследствие этого различия между природными дарованиями людей почти незначительны в сравнении с богатствами, которыми они пользуются вообще. Ужели вы думаете, что ваш водовоз или повар не в состоянии подивить вас рассказами и уроками своей опытности? На этот счет всякий из нас знает столько же, сколько и ученейший профессор. Стены черепов безграмотных людей тоже исписаны фактами и мыслями; в один прекрасный день они возьмут свечу и разберут эти надписи. Если вы собирали яблоки или пололи и косили на солнце, то, войдя в комнату и зажмурясь, даже по истечении пяти-шести часов вы увидите вашими закрытыми глазами яблоки, травы, злаки, озолоченные ослепительным светом. Мозг, без вашего ведома, сохранил впечатления глаза. Точно так же и так же неведомо память сохраняет в полноте ряд образов и событий, представленных вам жизнью; трепет страсти зажигает искру в темном хранилище, и деятельная сила этой страсти прямо идет к образу, нужному ей для объяснения настоящего положения.

Много уходит времени, пока мы узнаем, до чего мы богаты. Мы готовы божиться, что история нашей жизни лишена всякой занимательности: нечего было замечать, не в чем добираться толка. Но годы большого умудрения обращают нас к покинутым воспоминаниям прошедшего; из этого волшебного озера вылавливаем мы то ту, то другую драгоценность и доходим до убеждения, что даже биография этого вертопраха есть только сокращенное истолкование сотни томов всемирной истории.

Мы все разумны. Разница между нами не в толке, а в уменье. В одном академическом клубе встречался я с человеком, который оказывал мне чрезвычайную внимательность, воображая себе, что я, как писатель,

имею опытность несравненно обширнее, чем его; тогда как я видел, что в этом отношении мы совершение равны с ним. Кто из нас способен написать «Отелло» или «Гамлета»? Заметьте, однако, как легко гений их творца, его изумительное знание жизни, его увлекательное красноречие находят доступ в нашу душу.

Разум творческий, который мы называем гением, встречается гораздо реже разума восприимчивого. Первый производит мысли, поэмы, изречения, проекты, системы, умозрения. Это — деторождения духа: произведения союза мышления с природою. Ничего нет труднее, как принудить *себя* думать. Человек принимается, например, обозревать основания гражданских учреждений или хочет углубиться в отвлеченную истину. Он безостановочно и без устали устремляет свой ум в одно направление; но это напряжение — не впрок: мысли снуют в голове; истина то едва промелькнет, то смутно обозначается. Он садится, он пересаживается, наконец, говорит: пойду пройтиться, и тем временем обдумаю яснее и полнее. Не помогает и ходьба. Он запирается в кабинете: там схватит он мысль — она ускользает! Вдруг, наконец, неожиданно, истина проявляется. Огонек забрезжит, разгорается: вот она, исходная точка, вот краеугольный камень, искомый нами! Но если оракул дал ответ, так это оттого, это мы прежде, так сказать, осаждали святилище.

В гении должны находиться два дара: мысль и выражение. Первая есть всегда откровение, есть чудо, с которым не освоит нас ни привычка, ни внезапность, ни беспрерывное изучение: она всегда будет поражать удивлением ее созерцателя и оставит его невразумленным. Вообразите только себе воцарение новой истины в мире! Возникновение такого образа мысли, который в сию минуту, в первый раз, появляется на свет, как птенец вечности, как отголосок всемогущества безначального и бесконечного! Новое откровение, кажется, в одно мгновение вступило в

наследство всего бывшего до него, оно же издает законы всему, еще не существующему. Оно приводит в движение каждый помысел человека, и все установленное готово подвергнуться изменениям. Но что бы мысль могла принести пользу, ей потребно орудие, которое дало бы ей возможность войти в сношение с людьми. Самые возвышенные вдохновения умирают со своим избранником, если нет руки, способной передать ее внешним чувствам. Сообщиться — значит сделаться предметом видимым, осязательным. Все люди приближаются в некоторой степени к первоначальной истине, следовательно, в каждом из них есть свойство сообщения; но у одного художника эта возможность доходит и до руки. Мысль гения внезапна, но и для самой богатой и даровитой природы способность выразить ее зависит от упражнения воли, от сдержанности мгновенных порывов, от надзора за ними. Гениальное могущество в том и состоит, чтобы при отважной решимости и выборе, руководимым строгим суждением, овладеть видимым в природе и преобразить его в красноречивую мысль; но вместе с тем вновь созданная изобразительная речь должна быть непринужденна, естественна и почерпнута не из опытности или знания, но из родников лучших.

Конечно, разум обсуждающий находится в условиях более выгодных, нежели разум творческий; однако условия безупречного умственного творчества встречаются уж слишком редко. Разум целостен и требует той же неделимости для своих произведений. Преувеличенное поклонение одной идее или честолюбивое покушение сочетать множество идей разнородных одинаково противоречат единству разума. Его целостность ощущается в произведениях не по разрозненности и не по накоплению; одна бдительность доводит разум до величия и до наилучшей возможности творить, смотря по расположению воли. Такие произведения имеют полноту природы.

Хотя ни один гений не в силах переделать мир по новому образцу, как бы ни распределил он иначе или как бы ни умножил он его частности, однако мир воспроизводится миниатюрно в каждом событии, так что все законы природы можно уследить в самом малейшем факте. Оттого-то признаком развития служит усмотрение тождественности.

Наша жизненная стихия — истина; но если человек вперит внимание на один из частных видов истины и долго и исключительно посвятит себя на рассмотрение одного этого вида, истина становится не истиною; она развенчивается, она делается похожа на ложь. Как несносны френологи, грамматики, фанатики политические и религиозные; вообще всякий смертный, обуянный одною идеею и потерявший от ее преобладания равновесие рассудка. Это уже начало безумия. Каждая мысль может стать темницею. Тогда перестаешь видеть то, что видят другие: бурный ветер так сильно загнал все в одно направление, что исчезли пределы всякого горизонта.

Но хотя гении творческие — явление редкое, однако всякий человек, будучи святилищем, на которое нисходит Всевышний Дух, легко может изучить законы, по которым совершаются божественные посещения. Правила умственных обязанностей совершенно параллельны правилам обязанностей нравственных. Полное самоотречение равно требуется и от мыслителя, и от поборника святости. Мыслитель должен возлюбить истину; за нее отдать все на свете и предпочесть горе и бедствия, если они необходимы для приращения сокровищ его мысли.

Бог предлагает каждой душе выбор между истиной и покоем. Берите по своему усмотрению или то, или другое, потому что обоих вместе не получишь, а только станешь колебаться между ними как маятник. Человек, в котором преобладает любовь к спокойствию, примет первое вероисповедание, первую философию, первую политическую партию, попавшуюся ему под

руку: большею частью все это переходит к нему по наследству от отца. И ему достается покой, приволье, доброе имя; но для истины он затворил дверь. Напротив того, тот, в ком первенствует любовь к истине, избегает якорных стоянок, а пускается в открытое море. Он оберегает себя от всякого одностороннего доктринерства, принимая к сведению и противоречащие опровержения. Он подвергается всем напорам сомнений, всем смутам неустановившихся мнений, но он кандидат истины и почитатель высочайших законов своего бытия.

Найти наставника истины, изведать всю цену и всю красоту внимательного молчания — для этого можно истоптать своими подошвами всю окружность земного шара. Счастлив человек внемлющий! Когда истина сказывается мне, я ношусь по необозримому океану света, я забываю о границах моего бытия. Ее вразумления, приносимые мне и зрением, и слухом, — бесчисленны; воды таинственных потоков вносятся ими в мою душу и струятся по ней. Иисус сказал: «Оставь отца твоего, мать твою, дом твой, все имущество и следуй за мною. Кто многое оставляет, многое приобретет». Это верно и в умственном, и в нравственном отношении.

Развитие человека совершается посредством различных наставников; каждый из них поочередно пользуется верховным влиянием и спустя некоторое время уступает свое место другому. Новое воззрение кажется нам сначала ниспровержением всех предыдущих наших мнений, наклонностей и образа жизни. Таким казалось многим из наших юношей учение Канта, Сведенборга, Кузена, Кольриджа. Принимайте с благодарностью, что они дают вам. Исчерпайте их, боритесь с ними, не давайте им уйти, прежде чем вы не усвоили себе их прекрасных дарований, и через малое время страх пройдет, чрезмерность впечатлений ослабеет. Они будут уже не зловещим метеором, но ясною звездою, тихо горящею на вашем небе и проливающею свет свой на пути вашей жизни.

Притом, так как доверие к себе составляет принадлежность разума и каждая душа стоит наряду с другими душами, то, почитая гения и творения других людей, человек должен чтить и самого себя. Эсхила читают тысячи лет, но если Эсхил мне не нравится, не смущаюсь его знаменитостью и променяю сотни Эсхилов за соблюдение неподкупности моего мнения. Станьте на эту точку зрения, особенно при исследовании истин отвлеченных и при изучении философов. Если Бэкон, Спиноза, Юм, Шеллинг, Кант не подкрепляют вашего ясного внутреннего сознания, то, вместо того чтобы силиться понять их темные речи, скажите прямо, что они плохо изложили вещи, которые вы сознавали сами, но боялись рассмотреть, даже назвать. Натрудясь поочередно над Спинозой, Платоном и Кантом, вы, может быть, откроете, что они не сказали вам ничего нового, а лишь снова обратили ваш ум к быту простому, естественному, обыкновенному, не заманив вас в края недосягаемые.

Но оставим этот поучительный тон; и как ни привлекателен предмет, я даже не упомяну о прении между любовью и истиною. Я не настолько высокомерен, чтобы вмешиваться в политические партии небес: «Херувимов, более знающих, и Серафимов, более любящих», — небожители сами окончат свои распри. Но, излагая со всем хладнокровием законы разума, я не могу не обратиться к тому возвышенному и одинокому числу людей, бывших прорицателями, провозвестниками и первосвященниками чистого разума; я не могу не упомянуть о Трисмегистах, об этих глашатаях законов мысли из века в век. В те редкие часы, когда опустится глаз на сокровенные страницы Гермеса, Гераклита, Эмпедокла, Платона, Плотина, Олимпиодора, Прокла, Синезия и прочих поклонников мудрости древнего мира, как дивно кажется безмятежие и величие этих немногих вождей духа, появившихся на земле! С обширностью своей логики, с первобытною свежестью своей мысли они

представляются довременными всякому делению риторическому и литературному, и кажется, что в них соединились и поэзия, и математика, и музыка, и танцы, и астрономия. С ними будто соприсутствуешь мирозданию. С помощью нескольких лучей и геометрии их душа закладывает основы вселенной; истина и величие их мысли доказывается огромностью кругозора и удобностью применения. По их повелению и неизочтимое разнообразие, и полный итог сотворенного предстают и делаются изъяснителями, истолкователями, заявителями их мысли. Но ничто так не обозначает их возвышенность, для нас отчасти даже смешную, как то младенческое простодушие, с которым эти громовержцы, не обращая ни слова к современникам, переговаривают, перекликаются друг с другом через пространство многих столетий. Уверенные в простоте и в понятливости своей речи, они громоздят диво на диво, ни единой минуты не помышляя о всеобщем изумлении человеческого рода, который, так низко стоя пред ними, не поймет ни самого малейшего их предложения или довода. Так ангелы, восхищенные глаголом небес, не могут приневолить свои уста произнести хоть слово на языке человеческом, и ведут свою речь, не заботясь, поймут ли их или нет.

ВСЕВЫШНИЙ

Есть различие в значении, есть оно и в последующем влиянии каждого часа нашей жизни. Надежда оживляет нас промежутками; в нас постоянно чувство уныния. Но и короткие минуты надежды так полны, так глубоки, что им, а не прочим нашим ощущениям принуждены мы приписать наиболее существенности. Вот почему тщетны и бессильны все обыкновенные доказательства, которые, опираясь на одну опытность, хотят заставить молчать тех, кто полон ожиданий в пользу человечества. Могущественная надежда побеждает отчаяние: в добычу их возражениям мы отдаем наше прошедшее и — продолжаем надеяться. Нужно объяснить себе эту неутомимость наших надежд. Мы согласны: жизнь человеческая пошла; но откуда узнали мы, что она пошла? Откуда взялись это накипавшее неудовольствие, это всеми ощущаемая тягота? Что означает всеобщее ощущение неполноты и неведения? Что как не призыв высший, призыв бесконечный? Отчего в нас это сознание, что подлинная, достоверная история человека никогда еще не была записана; что человек отметает от себя прочь все высказанное об его естестве, что все это быстро стареется, и каждая метафизическая книга так скоро падает в цене? В шесть тысяч лет философия не довершила еще своих поисков по изгибам и тайникам души; при всяком ее опыте еще остается осадок, который она не в состоянии разложить.

Человек — это струя из неведомого источника. Наше бытие изливается, откуда? — неизвестно. Самый непогрешимый вычислитель, может ли он по-

ручиться, чтобы не могло в сию же минуту воспоследовать нечто неисчислимое, которое обратит в ничто все его вычисления? Так, на каждом шагу, принужден я распознавать в событиях начало, превосходящее и это нечто, которое я называю своим я.

С событиями то же, что с мыслями. Смотря на этот волнующийся поток, который вытекает из областей, мне неизвестных, и на некоторое время вносит в меня свои волны, я вижу ясно, что я не виновник, а изумленный зритель этих надземных струй. И остаюсь ли я бесстрастен, радуюсь ли, глядя на них, — они катятся по велению, совершенно мне чуждому.

Верховный судья заблуждений, настоящих и прошедших; всеведущий прорицатель того, что долженствует быть, есть то Высшее Существо, в лоне которого мы покоимся, как покоится земля в тихих атмосферических объятиях. Это — Тот единый, Тот всевышний Дух, который содержит отдельное бытие каждого человека и образует одно посредством другого. Та всеобъемлющая Мудрость, Ей же воздает поклонение каждое слово искренности, и Ей же служит данью всякий честный поступок. Это — Та всемогущая Существенность, обращающая в ничто наши коварства и искусные подготовления; вынуждающая все и всех выказываться таким, каково есть, и говорить — не одним только языком — но в самом духе своей природы; Существенность, благоизволяющая сообщаться нашей мысли и нашим действиям, запечатлевая их мудростью, добродетелью, силою и красотою. Мы живем мало-помалу: отделами, частями, атомами; но в человеке есть, однако же, суть *всего:* и мудрость покоя, и красота мироздания, и полнота единства, с которым все тела и стихии состоят в соприкосновении. И кроме чудной силы жизни и всех благ, с нею постижимых, мы обладаем еще неотъемлемою способностью видеть предметное: мы сами субъект и объект, зритель и зрелище.

Смысл протекших веков может быть разгадан только при созерцании современной мудрости; и

лишь повинуясь наилучшим нашим мыслям, лишь доверяясь духу прорицания, который врожден каждому человеку, можем мы расслышать то, что говорит нам душа. Слова того, кто говорит по одной опытности и по одним побуждениям земной жизни, кажутся суетны тем, кто живет в другой сфере понятий. Оттого мне иногда страшно говорить: мои слова не имеют надлежащей значительности, они холодны, безжизненны. Когда же вдохновляет нас душа, речь наша́ льется лирическим потоком, вольным и пленительным, как звуки воздымающегося ветра. Но несмотря на недостаток священных слов, мне бы хотелось простою речью указать на небо, откуда сходит на нас эта божественная сила, и облечь выражениями мои наблюдения о недостижимой простоте и силе высочайшего из всех законов.

Подмечая то, что совершается с нами, когда мы замечтаемся или разговоримся, — во время сильных угрызений и в фантастических представлениях сновидений; в минуты, наконец, страсти и изумления, — мы уловим многие проблески, которые расширят и осветят разумение тайн нашего естества. Все единогласно доказывает, что душа человеческая не есть о́рган, но сила, движущая органами; что она не функция, как память или алгебраическая сметливость, но что она употребляет эти функции, как подвластные ей члены; она не способность, но свет; не разум и не воля, но владычица разума и воли, краеугольный камень нашего существа, на котором зиждется и разум, и воля, — одним словом, что она неизмерима и неподвластна здесь ничему. Исшедши из глубины или проникнув извне в пределы нашего бытия, нас пронзает луч света; он озаряет все существующее и мгновенно научает нас, что мы ничто, а светоносный луч — все.

Человек — это наружная сторона храма, в котором может водвориться все, что добро, все, что истинно. То, что мы обыкновенно подразумеваем под

словом человек, — это существо пьющее, едящее, строящее, рассчитывающее, — выражает себя не по нашим понятиям и выражает себя дурно. Мы чествуем не его, но душу, которой он о́рган; душу, которая заставила бы нас преклонить колена, если бы она проявлялась в его действиях. Когда ее дуновение касается разума человека, она называется гением; когда воли — добродетелью; а когда чувства — ей имя любовь. Ослепление разума начинается с той минуты, когда он захочет быть самостоятелен. Ослабление воли — когда она вздумает опираться на самое себя. Возрождение, при каком бы то ни было обстоятельстве, состоит в том, чтобы предоставить Всевышнему пролагать в нас свои пути или, говоря иначе, возрождение состоит в полном Ему повиновении.

Каждый человек ощущает по временам веяния небесной благодати. Неисчислимые, необъятные, они слишком духовны для описания нашим языком; но мы не лишены сознания, как овладевает нами благодать, как преисполняет нас собою. Мудрая старинная пословица говорит: *«Господь к нам приходит без колокольного звона»*. То есть нет, нет преград между нашими головами и неизмеримыми небесами, как нет в душе нашей запоров, отделяющих Бога, творца сущего, от человека — Его произведения. Преграды рушатся; со всех сторон открыты перед нами глубины духовной природы и свойства Божества. Мы видим, мы постигаем правосудие, любовь, свободу, могущество. Возобладать ими здесь мы не можем, но они витают над нами, особенно в те минуты, когда по своей строптивости мы готовы им сопротивляться.

Всесильная эта власть, проникая через преграды в самый тайник души человека и противореча всей его опытности, таким же точно образом отменяет и время, и пространство. Влияние внешних чувств до того взяло господство над духом в человеке, что пределы времени и пространства сделались в глазах его чем-то несокрушимым, существенным и неодолимым;

относиться к ним с неуважением считается на свете величайшим признаком безумия. А между тем, время и пространство не что иное, как мерила, совершенно противоположные сущности души. Человек может их уничтожить; дух может играть со временем: *«в один час вместить вечность или растянуть на вечность один час»*.

Так доходим мы и до убеждения, что есть молодость, что есть старость — другие, не зависимые от числа лет нашей жизни. В отношении некоторых идей мы всегда молоды, и вечно останемся такими. К этому числу принадлежит, например, идея о красоте всемирной и вечной. Созерцая ее, человек удостоверяется, что она — достояние веков безграничных, а не существования земного. Всякая деятельность наших умственных способностей тоже освобождает нас, в некоторой степени, из-под власти времени. В моей болезни, в моем изнеможении дайте мне глубокую мысль или живую волну поэзии — и я освежен; откройте предо мною том Платона или Шекспира, даже назовите мне только их имена — и чувство бессмертия сказывается моему сердцу. Посмотрите, до чего величие и божественность мысли стирает в прах века, тысячелетия и живет, помимо их, теперь, в этот самый час. Учение Христово менее ли производит действия в наше время, чем в те дни, когда Он впервые изрек свое божественное Слово?

Восторг, запечатленный в моей душе лицами и событиями, не имеет ничего общего со временем, и мерило души весьма разнится от меры понятия наших внешних чувств. Душа все идет вперед, проникая в области новые, оставляя позади себя старые; ей чужды и числа, и обычаи, и частности, и личности. Душа знает одну душу: все прочее кажется ей бесплодным.

Ее усовершенствования рассчитаны не по арифметике, но в силу ее собственных законов; они последуют не такой постепенности, которую можно

представить продлением прямой линии, но скорее поочередным возвышением состояния, сходным с преобразованием яйца в червяка, червяка в мотылька. С каждым новым импульсом дух раздирает тонкие оболочки видимого и конечного, все более и более заходит в вечность и живет ее воздухом. Он беседует с истинами, всегда возвещаемыми миру, и убеждается, что сочувствие гораздо более тесное соединяет его с Зеноном или с Пифагором, чем с людьми, которые живут под одною с ним кровлею.

Таков закон усовершенствования разума и нравственности. Добрые простые души, будто вследствие неразлучной способности парить, возносятся точно также, не к такому-то роду добра, но к сути всякого добра, приближаясь к Вседержителю. Чистота, правда, благотворение составляют потребности души, но она выше их настолько, что будто унижается или делает постыдную уступку, когда из полноты нравственного своего бытия выделяет или предписывает упражнять по преимуществу одну какую-нибудь добродетель. Они все свойственны ей и доступны при небольшом труде. Отыщите в человеке путь к его душе, и он скоро сделается добродетелен.

В нравственном чувстве заключается залог и умственного усовершенствования, которое подчинено тому же закону. Люди, освоившиеся со смирением, со справедливостью, с истиною, с жаждою лучшего, уже стоят в высоте, до которой не достигают ни науки и искусства, ни красноречие и поэзия, ни ловкость и деятельность. Нравственная чистота идет впереди этих благовидных отличий, которым мы придаем столько цены. Сердце, простодушное и вверившее себя Всевышнему, уже состоит в связи со всем, что сотворил Он, и достигнет божественного поприща, несмотря на своеобразие первоначальных способностей и познаний, потому что, возвысясь до первого и первенствующего чувства любви божественной, мы из далеких пределов внешней окружности мгновен-

но переносимся в самое средоточие вселенной, откуда обозреваем мы причины и начала, откуда царим над всем созданием, которое есть не что иное, как слабое и тусклое отражение действительности.

Один из способов Божественного вразумления есть воплощение духа в образ, подобный моему. Я встречаю в продолжение моей жизни людей, которые отвечают помыслам моей души или выражают своими действиями повиновение тем же высшим законам, по которым живу и я. Одинаковость в помыслах и в повиновении удостоверяет меня в одинаковости нашего происхождения, и ничто так не манит меня к себе, как эти души, эти внешние мои *я*. Они пробуждают в нас чувства, называемые страстями: любовь, ненависть, страх, удивление, соболезнование; на этих чувствах основываются сближения, состязания, договоры, войны, даже города и веси.

В молодости мы бываем очень глупы. Детство и юность думают, что весь мир заключен в них, но большая опытность указывает нам на сходство природы во всех личностях. За личностями открывается безличность. Заметьте, что и в разговоре двух-трех особ, и в многолюдном собрании — особенно при обсуждении важного вопроса — обозначается общий жар участия и единомыслия, которые доходят до известной высоты во всех умах, как будто все имеют равные права на духовное имущество говорящего. Они окружены тождественностью своей природы как стеною храма, и это доказывает, что некоторая доля мудрости почти поровну принадлежит и самым великим, и самым обыкновенным умам. Ученые исследователи законов разума не имеют исключительной монополии на эту мудрость; самое излишество их одностороннего направления служит некоторою помехою для удостоверения нас в том, что провозглашают они. Самый образ существующего воспитания часто ослабляет здравомыслие и налагает на него молчание. Что касается нас, то мы обязаны многими весьма важными заметками людям и

непроницательным, и неглубокомысленным, которые очень просто выражали вещи, нам нужные, никак не дававшиеся нам самим. Дух един, и кто действительно любит истину, тот не полагает, что она стоит под одним его ведением; он с радостью принимает ее отовсюду и не лепит на нее ярлыка с именем человека, доставившего ему ее, но смотрит на нее, как на общее и вечное достояние человечества.

Душа, свидетельствуя о равности происхождения отдельных личностей, с тою же неизменностью присутствует во всех возрастах жизни и помогает предугадывать взрослого человека в дитяти. Когда я играю с моим ребенком, мне ни к чему не служат ни мое знание греческого и латинского языков, ни мои богатства, ни мои дарования. Но посредством души устанавливается между нами сообщение. Если я требую от него должного, он противопоставляет свою волю моей, предоставляя моей телесной силе позорное преимущество принудить его побоями. Но, если я не руковожусь своеволием и оставляю ему быть судьею между нами, его душа так и видится в глазах и откликается моей почтением и любовью.

Мы думаем лучше, нежели действуем; в самую минуту действия имеем сознание, что мы лучше нашего поступка, и всегда втайне надеемся достичь полного самообладания. Люди унижают себя взаимными ничтожными отношениями, забывая о своем врожденном благородстве. Они походят на арабских шейхов, которые для избежания алчности своего паши прикидываются бедняками, едва имеющими кое-какой домишко, между тем как их внутренние потаенные покои блестят роскошью и великолепием.

Душа прозревает и открывает нам истину. Пускай скептики, пускай насмешники говорят, что угодно; а безумцы, слыша от нас то, чего бы им не хотелось слышать, задают вопрос: «Почему вы знаете, что это истина, а не собственное ваше мечтание?» Достоверно то, что мы познаем истину, лишь только ее завидим; точно

так же как мы знаем, что проснулись, когда проснулись. У Сведенборга есть изречение; одного его было бы достаточно для заявления возвышенной проницательности этого человека: «Не служит доказательством разумности человека способность утверждать то, что ему угодно утверждать, — но способность усматривать, что истина — истинна, а ложь — ложна, — вот что обозначает свойство разума». При чтении книги я останавливаюсь на каждой прекрасной мысли, как останавливаюсь пред каждою истиною, потому что душа моя отделяет, будто мечом, все дурное и выправляет все ложное. Мы гораздо мудрее, чем думаем. Если бы мы не производили беспрестанного смятения в наших мыслях, если бы в наших поступках было более простоты, если бы мы судили о вещах по тому, как они должны быть, мы гораздо легче понимали бы и частные случаи, и предметы, и людей, потому что Творец их стоит за каждым фактом, за каждым человеком и бросает на них отсвет своего всеведения.

При этом ясном, беспристрастном и неугасаемом пламени, которое озаряет все, пока это все не погрузится в море света и сияния, мы знакомимся с собою и с другими. Мы обоюдно распознаем, каков дух в каждом из нас. Иначе как объяснить, на чем основана способность отгадывать настоящий характер человека, хотя он ни словами, ни делами не обнаружил его? Мы, кажется, ничего не знаем о нем дурного, но довериться ему не можем, тогда как другие неуловимые признаки влекут наше доверие к этому, едва нам знакомому человеку. И мы до такой степени постигаем друг друга, что от нас не скрываются оттенки действий и слов, внушенных прекрасным побуждением или вынужденных обстоятельствами. Да, все мы отличные знатоки невидимых свойств человека. Не понятия наши, но самая сущность жизни и данная ей сила проницательности наделены этою диагностикою. В общественных ли сношениях, в дружбе ли, в распрях или на скамье подсудимых все люди представляются поочередно на суд друг

друга и, несмотря на свое сопротивление, обоюдно дают ключ к своему настоящему характеру. Но кто здесь судья? Не ум наш, не хитрость, не знание.

В этом отношении личная воля каждого уничтожена непреклонным законом природы, и благодаря ему, наперекор вашим усилиям и вашей развитости, ваш дух и мой выразят свои отличительные свойства. Мы познаем себя не произвольно, но невольно. Мысли входят в наш ум путями, которые мы никогда им не открывали; точно таким же образом и выходях они из него.

Ни лета, ни воспитание, ни светское положение, ни ученость, ни дарования и деятельность, все вместе взятые, не увольняют нас от дани почтения, которую мы обязаны нести душе, возвышеннее нашей. Непогрешительным признаком истинного усовершенствования служит вся наружность, даже звук голоса человека. Самый оборот речи, характер суждений, свойственное ему сцепление мыслей, не говоря уже о его нравах, выкажет нам, помимо его воли, нашел ли он свое внутреннее успокоение в Боге. Если им достигнута эта цель, то сквозь все несовершенства образования, темперамента и враждебных обстоятельств будет просвечивать божественное в нем. Язык того, кто ищет, не тот, что у того, кто нашел и обладает.

Кроме внезапных и неизъяснимых способов умудрения на различных путях жизненной опытности, душа открывает и возвещает вам истину. Ее самое надобно просить укрепить теперь нашу речь своим присутствием, чтобы слова наши были достойны ее возвышенных проявлений. Откровение истины нашей душе есть верховное событие в природе, ибо она дает не некоторые части: она всю себя отдает нам. Нисходя на человека, она изливает на него свет свой, и восхищенного, вознесенного ею до собственного ее естества, делает как бы своим олицетворением.

Мы называем откровением сообщение Всевышнего с душою человека и Его указания законов вечных. Уже одно смутное провидение божественного перста

в таком-то событии или в подтверждение такой-то истины волнует и восторгает человечество; благоговейный трепет переходит от одного к другому. В откровении, которое касается нашей судьбы и личности, способность видеть не отделена от решимости действовать: провидением вознаграждается наше повиновение, между тем как самое ваше повиновение есть следствие восхитительного провидения. Такие минуты не сглаживаются из памяти. По условиям нашего телесного состава некоторый род самозабвения, даже восторженности, научает нас распознавать посещения Божественные. Свойства и продолжительность этого состояния восторженности изменяются, смотря по состоянию индивидуума; начиная от весьма редких явлений восхищения, восторжения и пророческого вдохновения, до светлого вразумления и тихих побуждений к добру, которые, как огонь домашнего очага, отогревают членов семейства, членов общества и поддерживают их взаимную привязанность. Пока наш дух не возрастет и не окрепнет на жизненных волнах, он не что иное, как небольшой отдельный ручеек.

Когда сообщение или, лучше сказать, наитие Божественного духа призывает душу на свое служение, избыток горнего света так ослепителен, что некоторая наклонность к помешательству сопровождает минуты, в которые значение Бога и смысл истинного Ему поклонения, впервые открываются человеку.

Вспомним о видениях Порфирия, о внезапных оцепенениях Сократа, о сообщениях Платона, о чудесных обращениях некоторых иудеев и язычников в христианство, о заре Бёме, о свете Сведенборга, о пароксизмах Фокса и квакеров. Восхищенное самозабвение, овладевавшее этими замечательными лицами, проявляется не так поразительно в бесчисленных примерах, представляемых ежедневною жизнью. Благоговейный восторг, доводящий до такого состояния, есть только мгновенное заверение того блаженства, которое может испытать душа в своем приближении к Всевышнему.

Сущность откровений всегда одинакова. Это или провидение законов вечных, или разрешение некоторых вопросов, предлагаемых не умом нашим, но душою. Ответ дается не словами, но указывается самый факт, который внезапно бывает усмотрен душою.

Простонародное верование в откровения выражается гаданием. Посредством его легкомысленная пытливость ищет ответа на вопросы чувственности и допрашивает Бога: сколько лет остается прожить? ожидает ли богатство? Каков будет суженый? Как его имя? Где он живет? И тому подобные низости желающих подглядеть кое-что в замочную скважину. Нелепость гадать и заглядывать в будущее есть признак большого нравственного упадка. Могут ли на это быть ответы у Бога? Не по деспотическому определению, а вследствие условий человеческой природы лежит покрывало на завтрашнем дне. Оно приучает детей земли довольствоваться днем настоящим, сдерживать недостойную пытливость, жить и трудиться, трудиться и жить, предавая себя течению времени, которое внесет нас в глубокие тайны вечности и природы. Душа предлагает нам на изучение одну задачу: причины и последствия. Упражняясь в ней, в труде и в жизни, мы незаметно вступим в новый круг отношений, где вопрос и ответ уже безразличны.

Не осведомляйтесь также, каков край, к которому вы близитесь. Его не изобразит никакое изустное описание; завтра вы причалите к тем берегам, и они станут вам знакомы. Люди ведут прения о бессмертии души, о Царстве небесном и о прочем. Они вообразили себе даже, что Иисус Христос дал ответы на такие именно вопросы. Но никогда, даже на мгновение, Иисус Христос не снисходит до их наречия. Идея о вечности и о непременяемости до того слита с истиною, с правосудием, с любовью, что Иисус, заботясь только о размножении этих благ, никогда не отделял идею вековечности от сути этих добродетелей. Последователи Его отделили идею нравственных начал от

идеи вечности; стали проповедовать о бессмертии души, доказывать это, защищать. Но когда учение о бессмертии души начали преподавать отдельно, человек уже понизился на целую ступень. *В оны дни,* когда любили, благоговели и смирялись, мысль о кратковременности не могла заботить, и никто из вдохновенных святынею не делал на этот счет вопросов, не унижался до требований доказательств. Душа всегда верна самой себе: человек, преисполненный ее блаженством в настоящем, отбросит ли бесконечность этого настоящего, чтобы устремляться к будущему и представлять его себе — имеющим конец?

Всеведение, касаясь разума, претворяет его в гений. Многое из того, что свет называет мудростью, вовсе не мудрость. Самые просвещенные люди не писатели, но гораздо выше всех литературных знаменитостей. В сонме ученых и сочинителей не чувствуется присутствия Божества; их умение и ловкость удивляют нас более их вдохновения. Они сами не знают, откуда взялся их талант, и называют его своею собственностью; и он, действительно, у них какое-то несоразмерное свойство или чересчур развившейся член тела; поэтому самый дар их ума не кажется нам качеством, а скорее производит на нас впечатление уродливости; до такой степени убеждены мы, что истинное дарование всегда должно согласоваться с преуспеянием в истине. Гений всегда религиозен: он получает больше души, нежели другие люди, и не кажется оттого аномальным, но более человечным. Все великие поэты так полночеловечны, что это достоинство превосходит все прочие их совершенства. Поэтами же и гениями они сделались просто, открыв в своей душе свободный доступ Всевышнему, опекающему и благословляющему дела рук Своих.

Различие между вдохновенными и литературными мастерами слова — между поэтом Гербертом и поэтом Попом, между философами Кантом, Спинозою, Кольриджем и философами, каковы Локк, Пэлей, Ма-

кинтош и Стьюорт, — между увлекательным собеседником и теми редкими пламенными мистиками, почти полоумными прозорливцами, изнемогающими под необъятностью идеи, — различие в том, что одни говорят *изнутри,* как обладатели, даже как частицы самого факта; тогда как другие говорят *извне,* как зрители, даже как люди, узнавшие о факте понаслышке. Не подступайте ко мне со своими проповедями *извне:* я сам, — увы! слишком удобно, — умею произносить такие же... О, если бы сбылось желание всех нас! Если бы появились наставники нашего *внутреннего!* Душа так и впивала бы истину их слов. Но когда голос человека не исходит из того святилища, где он и его выражение составляют одно, ему остается только принести в том покаяние.

Сила вышняя касается жизни индивидуальной не иначе как с условием полного обладания индивидуумом. Она нисходит на кротких и простых сердцем; посещает всякого, кто отлагается от гордости и от искания во всем самого себя. Она является отрадною и величественною в образе наития. Когда мы узнаем людей, в которых она пребывает, мы научаемся понимать степени другого величия. Человек, проникнутый ею, возрождается. Он ведет с нами уже иную беседу; не оглядывается с беспрестанным беспокойством на наши мнения, но сам обсуждает их. От людей он требует одного: простоты и правды. Пустой человек, по возвращении из путешествий, раскрашивает свои рассказы именами лордов, князей, графинь, которые обошлись с ним так-то, сказали ему то-то. Тщеславный показывает свои серебряные сервизы, свои перстни, покупки. Люди несколько более просвещенные, касаясь собственных впечатлений, опишут вам забавный анекдот, поэтическое приключение, посещение Рима, беседу с гениальным человеком, встречу с блестящим другом; углубляясь далее, они упомянут и о горе, облитой лучами солнца, и о мыслях, пробужденных в них этим зрелищем третьего дня утром: это придает

их жизни колорит романтический. Но душа, дошедшая до любви к великому Богу, проста и искренна; у нее нет розовых красок и голубых цветков; нет блестящих друзей, нет рыцарских и других приключений. Ей не нужны чудеса и чрезвычайности; она живет настоящим часом, и по значению, даваемому ею каждому часу, самое простое обстоятельство насквозь проникается мыслями и озаряется потоками света.

Побеседуйте с душою простою и возвышенною, и авторство покажется вам чистейшим мошенничеством. Ее самые обыкновенные речи достойны быть записанными; а между тем, они так известны, в таком общем ходу... Останавливаться же на них среди неисчислимых богатств этой души — все равно, что взять от земли несколько порошинок и закупорить в склянку струйку воздуха, тогда как вся земля и все воздушное пространство принадлежат вам.

Такие души обходятся с вами как боги и живут как боги. Они без удивления смотрят на ваш ум, на ваши добродетели или, лучше сказать, на ваше исполнение обязанностей, между тем как все, что есть в вас доброго, кажется им их кровною принадлежностью, принадлежностью их Создателя. «Самая высшая их похвала, — говорит Мильтон, — не лесть, и самый простой их совет похож на похвалу».

Невозможно выразить этого сообщения Бога с человеком при всяком действии души. Все, кто честно и свято поклоняются Ему, доступны этой благодати. Ее всеобъемлющие волны всегда обновительны, освежительны и проникают в нас глубоким обожанием и благоговением. Как солнце привета и любви встает над человеком мысль о Боге, врачующем раны, нанесенные нам бедствиями и огорчениями; о Боге, изливающем жизнь и свет во все пределы вселенной и восполняющем всякую неполноту. Не Бог, известный нам по преданиям, не Бог риторический, но Бог, *наш* Бог может воспламенить сердце своим присутствием. Тогда это сердце удесятеряется и, крепчая и расширяясь,

видит для себя со всех сторон бесконечность и беспредельность. Вездесущность разрушает всякие границы его недоверия. Оно не только имеет убеждение, оно обладает провидением, что добро и истина — одно. С этою помощью оно легко разгоняет все личные свои недоумения, опасения и полагается на будущие откровения для уяснения задач, еще временно темных. Оно уверено, что все, к чему оно стремится, — естественно и прямодушно, драгоценно и для самого его Создателя. Всегда соблюдая в своем духе закон вечный, человек полон того всемирного упования, которое радостно повергает и свои самые сладостные надежды, и отлагается от всех глубоко обдуманных планов для устройства своего земного существования. Он знает, он верит, что его не минует его благая часть, что назначенное ему несется к нему само собою.

О верь, что во все продолжение твоей жизни всякое слово, сказанное на какой бы то ни было точке земного шара, всякое слово, важное и необходимое тебе услышать, раздастся в ушах твоих! Нет такой мысли, такой книги, такой поговорки, нужной тебе в опору и в утешение, которая бы не дошла до тебя — неминуемо. Друг, которого жаждет не своевольная мечта, а твое великое, твое любящее сердце, сожмет тебя в своих объятиях. Как разные воды, облегающие земной шар, составляют в сущности один океан, имеющий те же приливы и отливы, так и душа наша, и бытие, и все мы, с нашими потребностями, желаниями, стремлениями, находимся в хранении Вездесущего.

Пред неизмеримыми возможностями души все известное нам по опыту и по описаниям за великое и прекрасное — бледнеет и исчезает. Пред этими священными небесами, предугадываемыми нашими предчувствиями, нам невозможно удовлетвориться еще ни одним образцом, представляемым нам в прошедшем. Мы утверждаем, что земля не только мало имела великих людей, но что она, положительно, не имела еще ни одного великого человека. Мы принимаем историчес-

ких полубогов и гигантов чисто по одной снисходительности. Воспоминание о них, конечно, услаждает несколько часов одиночества, но когда присмотришься к ним поближе, они не отвечают нашим ожиданиям и вскоре начинают нам надоедать.

Дух единый, безначальный, пречистый сообщается только душе одинокой, первобытной и чистой. И она радостно водворяется в Нем, живет Им и действует в полноте юности и ликования. Такая душа не только мудра: она прозорлива; не только благоговейна — она невинна. Свет просвещения называет она своею областью и говорит: Я изошла из лона Всевышнего и Всеобъемлющего; Я, несовершенная, люблю Всесовершенного. Я святилище Вездесущего и, созерцая само солнце и мириады звезд, чувствую, что в сравнении со мною они не что иное, как великолепные случайности, произведения изменчивые и преходящие. Волны бесконечности вливаются в меня все более и более; в моих действиях и помыслах все более постижения, все более человечности. Я дохожу, наконец, до жизни — в мысли; до действий — бессмертного могущества.

Так, проникнувшись почтением к своей душе и узнав, как учили древние, что ее красота беспредельна, человек дойдет до прозрения, что мир есть непрерывное чудо Вездесущего, и менее будет дивиться отдельным чудесам. Он дойдет до удостоверения, что жизнь каждого человека могла бы сделаться *священною историею,* точно так, как время усматривается в минуте, вселенная в атоме. Он перестанет, со своими рубищами и ветошью, устраивать себе жалкую, горькую жизнь, но начнет жить в единении с Богом. Он будет избегать всего низкого и мелкого; ограничится во время жизни обязанностями, которые может исполнить; услугами, которые может оказать. На завтрашний день будет он смотреть ясно, беспечно; полнотою своего доверия делая самого Бога своим сподвижником, и уже здесь сопричастится всем будущим своим судьбам.

ЧАСТЬ II

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПОЛЬЗА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Верование в великих людей лежит в нашей природе. Все мифологии начинаются полубогами: обстоятельство величавое, поэтическое. Их дух носится над всеми.

Все созданное существует, кажется, для превосходных. Мир держится правдою и добротою людей: они делают землю благотворною. Живущие с ними находят, что жизнь утешна и крепительна. Она сносна и привлекательна для всех нас только верою в подобное сообщество, и действительностью или идеальным помыслом, мы жаждем жить с людьми, которые выше и лучше нас. Нашим детям, нашим странам мы даем их имена; вырабатываем их в глаголы нашего языка и храним их изображения, их произведения в наших жилищах. Каждое случайное событие дня наводит на память рассказы из их жизни.

Найти великого человека — вот мечта юности и одно из важнейших стремлений зрелого возраста. Мы отправляемся в чужие края, чтоб отыскать его творения и — если можно — взглянуть за него хоть раз.

Мне хвалят практичность англичан, гостеприимство немцев, прекрасный климат Валенсии, золотые прииски холмов Сакраменто. Пускай себе! Я не пу-

щусь в путь для того, чтобы посмотреть на раздолие, богатство, гостеприимство такого-то народа; на безоблачность таких-то небес, на слитки металла: это стоит слишком дорого. Но если был бы компас, который указал мне те стразы, те дома, где живут люди, богатые и могучие внутренним содержанием, — я продам все, что имею, куплю этот компас и сегодня же отправлюсь к ним.

Целые поколения возвышаются в цене от заслуг одного. Знание, что в таком-то городе такой-то человек изобрел железные дороги, придает вес всем его согражданам. Напротив, огромное население тунеядцев вселяет одно отвращение, как гнилой сыр, как кучи муравьев или мух: чем их больше, тем хуже.

Слышите ли вы эти возгласы на улице? Народ не может на него насмотреться. Он в восхищении от этого человека. Что за голова, что за стан! Плечи Атласа, вид героя, и душевная сила равна великому телу! Восторг, вполне выраженный, не доставляет ли наслаждение гораздо выше тех чувств, сжатых и подавленных в повседневности нашей жизни? Он сродни удовольствию, которое испытывает читатель гениального произведения. Он неудержим: в нём достаточно огня, чтобы растопить груды металлов.

Правительства и государи с их орденами, мечами и гербовыми ливреями могут ли обольстить нас так, как мысль, обращенная к нам с известной высоты и предполагающая в нас понимание? Этою честью, оказываемою нам едва ли раза два в жизни нашими личными знакомыми, гений удостаивает нас беспрерывно; довольствуясь тем, если когда-либо, в течение столетия, предложение его бывает принято. Указатели ценности вещественных предметов понижаются до степени поваров и кондитеров при появлении указателей идей. Гений есть естествоиспытатель или географ сверхчувственных областей; он чертит их карту и, знакомя нас с новыми поприщами деятель-

ности, охлаждает наше пристрастие к устарелому. Таких гениев принимают тотчас за ту настоящую существенность, которой дольный мир есть только отражение.

Благоговение состоит в любви и поклонении таким представителям. Очищение, возвышение нашего духа — вот истинное Богослужение.

Я считаю великим человеком того, кто постоянно пребывает в той высшей сфере мыслей, до которой другие добираются с усилием и трудом. Ему стоит открыть глаза, чтобы увидеть вещи в их настоящей сущности и в их многообразных отношениях, тогда как другие должны делать тягостные поправки и остерегаться бесчисленных источников заблуждений.

Велик и тот, кто остается верен своей природе и никогда не напоминает нам собою других. На нем лежит обязанность вступить с нами в сообщение и наделить нашу жизнь каким-нибудь обетованием или пояснением. Я не могу, например, даже выразить того, что мне хотелось бы знать; между тем я замечал, что есть люди, дающие своим характером и своими поступками ответы да то, о чем у меня не стало умения предложить и вопрос. Есть люди, разрешающие такие вопросы, о каких не помышляет ни один их современник: они стоят одиноко. Иные поражают нас, как великолепные возможности; но, будучи не в состоянии управиться с собою или со своим временем, они не простирают руку помощи нашим потребностям и остаются игрушкой какого-то инстинкта, пускающего свои законы на ветер.

Истинно же великие люди нам доступны, мы узнаем их с первого взгляда. Они удовлетворяют наши ожидания и как раз приходятся к занимаемому им месту. Все благое одарено силою творческою и производительною: оно находит себе пищу, простор, союзников. Лишь только такой человек достигнет свойственного ему положения, он становится изобретателен, плодотворен; он обладает магнетичес-

кою силою, одушевляет легионы своими помыслами, и они осуществляются. Река образует себе русло; так, каждая законная идея прокладывает себе течение и несет благодатным даром на общее употребление и оружие для защиты, и последователей для истолкования, и учреждения для своего выражения. Настоящему мастеру своего дела вся ваша планета служит подножием, между тем как авантюрист, после многих лет домогательств, стоит на одних своих подошвах.

Иные люди одарены способностью изобразительною. Бёме и Сведенборг провидели, что всякий предмет есть символ. Так и некоторые люди служат представителями, во-первых, предмета, во-вторых, его идеи. Как растение перерабатывает минералы на пищу животным, так человек перерабатывает некоторые грубые материалы на пользу человечества. Геометр, механик, музыкант, изобретатели стекла, железа, электричества, магнетизма, льняных, бумажных, шелковых тканей прокладывают легкий и удобный путь сквозь неизведанную и непостигнутую путаницу вещественности. Каждый человек посредством каких-то еще неразгаданных уз состоит в связи с тою или другою областью природы и делается ее поверенным и истолкователем.

Так, Линней изъясняет нам растения, Губер — пчел, Фрейс — поросли, Дельтон — атомистические силы, Эвклид — линии, Ньютон — параболы.

Созданный из земного праха, человек не забывает своего происхождения, и все, теперь еще безжизненное, получит глагол и смысл. Многое в природе, еще не изданное в свет, выскажет нам всю свою тайну, потому что человек есть средоточие природы. Нити соотношений тянутся к нему через все тела твердые и жидкие, вещественные и стихийные. Земля вращается: каждый булыжник, каждый ком грязи достигает своего меридиана; вот почему пылинка, кристалл, кислота, всякая их составная часть, всякое их свойство имеет отношение к человеческому моз-

гу. Продолжительно их ожидание; черед, однако же, настает. Нет растения без паразита, нет такой вещи из сотворенного, которая бы не получила своего любителя, певца. Справедливость уже оказана пару, железу, углю, магниту, йоду, хлебным зернам, хлопчатой бумаге, но как еще мало материалов служат для нашего потребления и применения к ремеслам, наукам, искусствам! Массы созданного и массы их свойств все еще находятся в состоянии отчуждения, безвестности, ожидания. И кажется, будто каждое из них — подобно заколдованным принцессам волшебных сказок — зовет и чает предназначенного человека — избавителя. И ворожба будет снята, и все изыдет на свет божий в образе человека! Читая историю открытий и изобретений, можно прийти на мысль, что всякая неизвестная, но уже созревшая истина нарочно образует себя для мозга человека. Магнит делается каким-нибудь Гильбертом, Сведенборгом, Эрстедом, прежде чем всеобщее понимание явится на хранение его силы.

Чего-то недостает науке, пока она не вошла в область человечества. Возьмите таблицу логарифмов с одной стороны, с другой — ее живые проявления в ботанике, в музыке, в оптике, в архитектуре. Какой шаг вперед, сначала малоподозреваемый, делают цифры, анатомия, астрономия, зодчество, когда, соединясь с нашим понятием и волею, они водворяются в нашу жизнь и входят в состав разговоров, обычаев, законоположений!

Так, сидя у своего камина, мы обозреваем земные полюсы, тропики или что угодно. Эта *почти* вездесущность вознаграждает нас за пошлость обыденного быта. Когда нам выпадают частично такие божественные дни, что кажется, будто небо и земля сходятся и взаимно украшают друг друга, нам жаль исчерпать их за один раз: мы желали бы иметь тысячу голов и тысячу тел, чтобы в разных местах и на различный лад восхвалять их беспредельную красоту.

Мечта ли это? Нет, мы воистину удесятерены, усотерены нашими ближними. И как легко заимствуем мы их труды! Каждый корабль, идущий в Америку, воспользовался картою от Колумба. Всякая повесть одолжена своим бытием Гомеру. Плотник, стругающий рубанком, распоряжается творческою мыслью его забытого изобретателя. Вся наша жизнь опоясана зодиаком знаний, посильною данью людей, погибших для того, чтобы присовокупить свою точку света к нашему небосклону. Технолог, торговец, законовед, медик, моралист, богослов — вообще, всякий, имеющий какое-либо познание, чертит карту и определяет широту и долготу нашего положения: того, что нам возможно и доступно. Пролагая пути в разные стороны, они обогащают нас. Мы обязаны расширять поприще жизни и умножать наши отношения. Мы гораздо более выиграем, открыв новое свойство чего бы то ни было на нашей старой земле, нежели усмотрев новую планету.

Мы слишком пассивно принимаем эту материальную или полуматериальную подмогу. Как будто мы только мешки да желудки! Деятельность должна быть прилипчива. Сочувствие лучше всего способствует подняться ступенью повыше. Беседуя с человеком сильного ума, мы приобретаем навык видеть предметы в том же свете и во многих случаях предугадываем его мысли. Наполеон сказал: «Не деритесь все с одним неприятелем: вы передадите ему все ваше военное искусство».

Наши умственные наслаждения часто обращаются, однако, в идолопоклонство к их виновнику. Примеры такого порабощения встречаются особенно тогда, когда человек обширного ума, вооружась полновластным методом, делается наставником людей. Вспомните о господстве Аристотеля, Птоломеевой астрономии; о влиянии Лютера, Бэкона, Локка и всех сект, назвавшихся по имени своих основателей. Увы! каждый из нас более или менее становится такою

жертвою. Людская глупость всегда располагает власть к заносчивости. С каким наслаждением пошлый талант любит ослеплять и ставить в тупик своих зрителей! Но истинный гений чужд всякого властолюбия; он, напротив, освободитель и знаток всего, чему нужно придать толк и смысл. Мудрец придет, например, в нашу деревушку; он тотчас же возбудит в своих собеседниках новое понятие об улучшении их быта, открыв им глаза на незамеченные отрасли промышленности. Он упрочит в них чувство неприкосновенного равенства, успокоит их насчет возможности злоупотреблений, если каждый будет чтить пределы и обеспечение своего положения. Богатый увидит ложность и скудость своих средств, а бедный — возможность избежать недочетов и достичь благосостояния.

Город, секта, политические партии еще скорее, чем обаяние односторонней идеи или системы, подчиняют себе и приводят под один уровень всех своих членов. Глядя туда, куда глядят другие, и занимаясь одними и теми же предметами, мы легко поддаемся обману, который отуманил их. Нужно притом заметить, что мнения текущего времени носятся, так сказать, в воздухе и заражают самое наше дыхание. Часто одни и те же пороки и безумства овладевают целым народом и целою эпохою. Люди еще более походят на своих современников, нежели на своих предшественников. Изберите любую, но высокую точку зрения, и наш Нью-Йорк, и тамошний Лондон, и вся западная цивилизация покажутся вам сплетением безумств. Мы держим друг друга настороже и разъяряем нашим соревнованием свирепость той или другой эпохи. Носить броню против угрызений совести вошло в универсальное употребление нашего времени. Кроме того, нет ничего легче как сделаться такими же добрыми и мудрыми, как наши товарищи. От них мы научаемся тому, что знают они, без всяких усилий вбирая — можно сказать — это зна-

ние порами нашей кожи. Зато мы и останавливаемся там, где стоят они, и вряд ли сделаем шаг вперед.

Великие люди или те, кто остаются верны природе и переступают моду и обычай из любви к всемирным идеям, — вот наши избавителя от коллективных заблуждений, наши защитники от современников. Они-то и составляют исключение, необходимое для нас тогда, когда все покоится под одним уровнем. Величие, появляющееся пред нами извне, издалека, есть противоядие от такой порчи и кабалы.

Их гений служит нам питанием, освежает от чрезмерного освоения с нашею ровнею, и мы, с глубоким душевным ликованием, устремляемся по направлению, которое он указывает нам. Один великий человек — что за возмездие за сотни тысяч пигмеев!

Люди помогают нам или даром своего ума, или даром своих чувств; эта помощь действительная. Во всякой другой проглядывает обманчивая наружность. Если вы изволите снабжать меня хлебом и топливом, я скоро замечу, что выплачиваю за них сполна и между тем остаюсь таким, как и был: ни хуже, ни лучше; всякая же умственная и нравственная сила производит положительное добро. Она исходит из вас преднамеренно или неумышленно и приносит пользу мне, о котором вы никогда и не помышляли. Мы естественно соревнуемся во всем, что может свершить человек. Я, например, не могу даже слышать об отличном качестве ко́го бы то ни было, о власти его над собою, об энергии при исполнении долга и не воодушевиться живительною решимостью. Таково нравоучение биографий; впрочем, не следует разбирать по ниточке людей умерших и не вековечного имени, будто своего ежедневного товарища.

И нет такого уединения, где бы мы не находили тех, которые укрепляют наши природные способности и поощряют нас дивными способами. В любви есть могущество сделать судьбу другого богоподобною; сам собою он не достиг бы этого, но ее герои-

ческие одобрения поддерживают его на высоте всех предпринятых подвигов! В чем состоит величайшая заслуга дружбы? В ее непостижимой проницательности и во влечении к тем хорошим качествам, которые находятся в нас. Итак, не будем думать низко о себе, ни о других, ни о жизни. Возбудим в себе чувство чести, поставив себе ту или другую добрую цель, и мы перестанем краснеть, смотря на канавщиков железных дорог.

Велико удовольствие и велика выгода обозревать умственные богатства всех родов: чудеса памяти, математических соображений, глубокую сосредоточенность отвлеченного мышления, даже игривую и поверхностную изменчивость остроумия и вымысла. Все эти действия обнаруживают нам невидимые органы и способности нашего духа, которые член к члену соответствуют частям нашего тела. Ходим же мы в школы гимнастики и плавания любоваться крепостью и красотою тела. Но здесь мы вступаем в новую гимнастическую школу и научаемся распознавать людей по самым истинным приметам, указанным Платоном: «отличать тех, которые без помощи зрения и всех прочих внешних чувств стремятся к истине и к бытию».

На челе этих деятельных сил стоят чары восхищения и оживотворения, производимые воображением. При его возбуждении могущество человека возрастает во сто, в тысячу крат. Оно одаряет нас восхитительным постижением беспредельного величия и одушевляет привычною отвагою помыслов. Мы делаемся эластичны, как пороховой газ: одна строка в книге, одно слово в разговоре — и наша фантазия окрылилась. В одно мгновение мы упираемся головою в Млечный Путь и скользим ногами по безднам преисподней. Такая прибыль положительна, потому что этот простор есть наше назначение и, раз переступив тесные наши границы, мы уже никогда в жизни не сделаемся прежними жалкими педантами.

О, как восхвалить ни с чем несравнимую благотворность возвышенной идеи! Чем и как воздать за заслуги тех, кто вносит нравственную истину в общее достояние человечества! Во всех моих предприятиях я мучусь тарифом оценки. Я работаю, например, в моем саду, подчищаю плодовые деревья: мне весело, и я готов бесконечно продлить мое занятие. Но вдруг я вспоминаю, что день прошел и я извлек из него одно это приятное безделие. Я скачу в Бостон или в Нью-Йорк, бегаю туда и сюда по делам; они окончены, с тем вместе кончился и день. Мне досадно думать о цене, заплаченной за пустяшную выгоду. Мне приходит на память сказка про *ослиную кожу:* желание того, кто садился на нее, сбывалось, но и кожа убавлялась с каждым исполнением желания... Иду на совещание филантропов, делаю все что угодно, и никак не могу отвести глаз от часов! Но если вдруг повстречается мне в этом обществе добрая душа, мало смыслящая в партиях и в лидерах, и что такое Куба, что в Каролине... но она вдруг заговорит о законе, правящем этими частностями, удостоверяет меня в его непогрешимости, которая перехитряет всякого плута, подрывает расчеты каждого себялюбца и доказывает мне, что я вполне независим от условий места, времени, от самого моего тела, — такой человек мой освободитель. Я забываю о часах. Я изъят от тягостных отношений к людям. Раны, нанесенные ими, заживают. Постигнув, что я обладаю нетленными благами, я становлюсь бессмертен. Вот великое поприще для состязания и богатого, и бедного! Мы живем на рынке, на который отпущено столько-то пшеницы, шерсти, земли: чем больше захвачу я их для себя, тем меньше достанется другим, и мне как будто не дается добро без нарушения общего порядка. Никто не веселится веселием другого. Все наши системы похожи на войну или на оскорбительные привилегии. Каждому ребенку саксонского племени прививают желание сделаться первым. Такова наша систе-

ма, и человеку приходится измерять свое величие по зависти, проклятиям, ненависти соперников. На этом же новом поприще довольно простора: на нем нет самохвальства, нет исключительности.

Я поклоняюсь великим людям всякого разбора, стоят ли они за факты или за идеи. Мне люб жесткий и мягкий: и *«Бичи Божии* и *Утехи человеческого рода»*. Мне люб и первый Кесарь, и Карл V, и шведский Карл XII, и Ричард Плантагенет, и Наполеон во Франции. Я рукоплещу всякому дельному человеку, кто под рост своей должности: воин ли он, министр, сенатор. Мне люб властелин, твердо стоящий на своих ногах, — высокородный, роскошный, прекрасный, красноречивый, полный достоинства, обвораживающий всех и делающий их данниками и подпорою своего могущества. Меч, жезл или дарования, подобные мечу и жезлу, несут на себе тяготы мира сего. Но выше их и выше всех героев ставлю я того, кто, отвергаясь самого себя и не обращая внимания на личности, вносит в область нашего разума неотразимую, всепроникающую высшую силу мысли, уничтожающую всякий индивидуализм. Эта сила неизмерима; пред нею властелин — ничто. Такой человек монарх, законодатель своих подданных; он архипастырь, проповедующий равенство душ и освобождающий своих служителей от варварской подчиненности; он государь, водворяющий благоденствие в своем государстве.

Великие люди очищают наше зрение от себялюбия и делают нас способными обсуждать других людей и их действия. Но *великие люди* — слово оскорбительное, и мыслящий юноша ропщет на неравенство природы. Идея освящает тех немногих, имеющих сознание, убеждение, любовь, самоотверженность. С ними свята и война, и смерть. А бедняки, их наемники, убиваемые на этих войнах? Да! дешевизна человека — ежедневная трагедия. Существенно одинакова утрата: низки ли другие, низок ли сам, потому что сообщество людей необходимо.

Но бояться чрезмерного влияния достойных — непростительно. Нет, допустим более великодушную доверенность. Будем служить великому, не опасаясь унижения, не пренебрегая ни малейшею услугою, оказанною ему. Сделаемся членами его тела, дыханием его уст, отрешимся от самолюбия. Что заботиться о нем, если с каждым днем становишься выше и благороднее? Прочь с ней, с презрительною дерзостью какого-нибудь Босвелля! Благоговение гораздо возвышеннее жалкой гордости, которая все держит себя за подол. Отрешись от себя, иди вслед за другим: в отношении души — за Христом; в философии — за Платоном; в поэзии — за Шекспиром; в естествознании — за Декартом. Избранное стремление не остановится, и самые силы твоей инерции, опасения, любви не задержат тебя на пути. Вперед, и всегда и вечно — вперед!

Впрочем, земной наш шар знакомит нас со своими уставами и свойствами не по одним героям и архангелам, но и по болтунам, и по кумушкам. Мне хочется при этом определить два-три условия, которыми природа ограждает неприкосновенность индивидуумов в мире, где каждая особь домогается расти, тучнеть, перерасти, распространиться до края вселенной и предписать закон своего бытия всем прочим существам; в мире, где благодетель так легко становится злодеятелем, уже по тому одному, что продолжает свою деятельность там, где не следует. И, во-первых, худа разве выдумка природы наделить каждое свое создание инерциею, нужною для его самоохранения; инерциею, которая энергично противится и даже гневается, если хотят ее разбить или изменить? Независимо от умственной силы, в каждом есть гордость своего мнения и уверенность, что он прав. Нет такой бессмысленной модницы, нет такого пустейшего дурня, которые бы не употребляли искорки оставшихся в них способностей и понятий, чтобы насмехаться и торжествовать в своем соб-

ственном мнении над нелепостью прочего мира. Различие со мною — вот и мерило нелепости. Никто и не подозревает, что ошибается. Великолепна мысль слепить все бессвязности этим асфальтом, самым твердым из цементов! Во-вторых, природа не скупится на опиум и на непенф (трава забвения), и где только попортит она свое создание безобразием или недостатком, там и наложит маку на ссадину; и недужный весело пойдет через жизнь, не подозревая своей хворости и не обращая на нее внимания, хотя бы весь мир указывал на нее пальцем. Самые негодные и задорные члены общества, чье существование есть общественная язва, непременно считают себя самыми оскорбленными людьми и всегда жалуются на современников. Наконец, чем объяснить препятствие к сближению между нами и превосходными личностями, которые издали так привлекательны, что все бы готов им отдать? Можно дойти иногда до убеждения, что свои самые лучшие открытия и прозрения человек открывает и прозревает для самого себя. Они кажутся несущественными для его окружающих: он один должен осуществлять их. Как будто Божество облекает каждую душу, посылаемую им в природу, некоторыми качествами и силами, которые нельзя передать другим, и, отправляя ее свершить свое течение в кругу существ, начертывает на этих облачениях души: *«Без передачи, и годно на один сегодняшний поезд»*. Да, есть что-то разочаровывающее в близком сообщении душ. Границы невидимы, но их не переступаешь никогда. С одной стороны — столько доброй воли научить, с другой — столько готовности воспринять, что обе грозят слиться воедино. Но закон индивидуальности собирает свои затаенные силы: *вы* остаетесь *вы*, а *я* остаюсь *я*.

Истинное усовершенствование возможно лишь при убеждении, что всякое дарование достигает где-либо своего апофеоза. Небо представляет одинаковую цель каждому созданию человеческому. И каж-

дому тяжело и неловко, пока он не отразит своего собственного, лично ему свойственного луча под небосклоном небесной тверди и не увидит своего дарования в окончательном благородстве и величии.

Жизнь есть лестница постепенностей. Между достоинством одного великого человека и другого промежутки велики. Герои текущего часа велики относительно: они скороспелки; или такие, в которых созрело качество, потребное на известный успех. В другие дни будет запрос на другие качества. Но во все века человечество прилеплялось к немногим лицам, которые или в возвышенности и обширности идей, в них воплощенных, или по величине своей восприимчивости имели право на сан вождей и законодателей. Такие люди знакомят вас с первобытными свойствами природы, они обращают нас назад к сущности вещей. День за день носимся мы по волнам призрачности и тешимся воздушными замками, которыми обольщены все люди вокруг нас. Но жизнь — это искренность, и в минуты просветления мы говорим себе: «Пора найти доступ к существенности: довольно поносил я дурацкий колпак!» Наш разум сбили с толку, но были люди здравые, вполне и во всех отношениях наслаждавшиеся существованием. То что они знали, знали они для нас. С каждою новою душою просвечивает новая тайна природы, и не закроется книга Завета, пока не родится последний великий человек. Такие люди обуздывают разгул животных сил, делают нас осмотрительными и зовут к новым целям и к новым способам развития. Благоговение потомства ставит их на самые высокие места. Доказательством тому — статуи, картины, жизнеописания, напоминающие об их гении в каждом городке, деревне, доме, корабле.

Из наших изысканий добывается один благодетельный факт: тот, что человечество избирает предметы своего поклонения все выше и выше. Но из всей группы самых знаменитых людей ни один не олицет-

воряет собою той полноты разума, просвещения или той сути, которую все мы ожидаем; каждый из них есть только в некоторой степени предъявление новых возможностей. О, если бы когда-нибудь отлилась в целости гигантская фигура, которую составляют все эти рельефные точки! Изучение многих личностей приводит нас к той первообразной сфере, где личности исчезают или где все они соприкасаются своими вершинами. Новые нетленные свойства мысли и чувства, которые изливаются денно и нощно из того родника, не могут быть замкнуты никаким пределом личности. Тогда становится нам понятно, как тесен союз между всеми душами: что постигла одна, не может быть утаено от другой; малейшее личное приобретение истины и доблести, в каком бы то ни было отношении, присовокупляет долю добра в общину нашего духа. Когда прекращается разлад дарования с положением, когда созерцаешь личность во всей долготе времен, необходимой для свершения поприща каждого из нас, тогда с неимоверною быстротою исчезает и кажущаяся несправедливость. Мы возносимся помыслом до центрального тождества всех личностей и познаем, что они создания Естества, которое и распределяет, и совершает.

Гений всего человечества — вот настоящая точка зрения для истории. Свойства пребывают; люди, обнаруживающие их то много, то мало, преходят, но свойства почиют на другом челе. Этот факт подтверждается на каждом шагу. Когда-то водились фениксы; их не стало, но мир не утратил от того своей волшебной силы. Амфоры, на которых вы распознаете священные эмблемы, с течением времени употребляются, как простые глиняные сосуды, но смысл этих изображений священен, вы можете еще прочесть их значение: оно перенесено на стены мироздания! Так, некоторое время служат нам своею личностью те и другие наставники, как вехи и верстовые столбы, обозначающие наш путь вперед. Некогда они считались

исполинами знания и, казалось, будто упирались в самое небо. Мы подошли ближе, рассмотрели их способности, образованность, границы — и они уступили место другим гениям. Еще счастливы мы, если нам останется хоть несколько имен, стоящих так высоко, что нам никак не разобрать их вблизи и что ни века, ни сравнения не лишили их лучезарности. Но напоследок мы все-таки должны перестать искать в человеке законченной полноты, а удовольствоваться вверенным ему общеполезным качеством. Все, касающееся до индивидуума, временно; все могообетно только в будущем, как временен и сам индивидуум, восходящий из своих узких пределов во вселенское бытие. Никогда не поймем мы главной благотворности какого бы то ни было гения, если будем смотреть на него как на силу первобытную. Но лишь только перестает он вспомоществовать нам, как причина, его влияние становится сильнее, как действие. Тогда является он нам провозвестником высшего разума, высшей мудрости — и тусклая личность делается прозрачною от просвета Верховной Причины.

Не выходя, однако, из пределов назначения и развития человеческого, мы можем сказать, что великие люди существуют для того, чтоб жили люди еще выше их. Удел органической природы — улучшение, и кто определит границы ее усовершенствованию? Человек призван, человек обязан обуздывать хаос; он должен в продолжение своей жизни рассеивать во все стороны семена познаний и семена поэзии, дабы и климат, и растения, и животные, и люди улучшались, — и да размножаются всходы любви и благотворения.

ПЛАТОН, ИЛИ ФИЛОСОФ

В числе книг одни творения Платона заслуживают фанатическую похвалу, сказанную Омаром про коран: *«Сожгите библиотеки: в этой книге все, что есть* от *них ценного»*. Творения Платона заключают в себе образованность народов; они краеугольный камень философских школ, главный родник литератур. Они основные начала логики, науки счисления, изящных искусств, симметрии, поэзии, языкознания, риторики, онтологии, морали или практической мудрости. Нигде и ни в ком не проявилась такая ширь и высота умозрения. Все, что писали, все, что обсуждали люди мыслящее, — все идет от Платона. Он страшный разрушитель последующих оригинальностей. Дойдя до него, мы достигаем горы, от которой отделились все вокруг разметанные скалы. Платон — это философия; а философия — Платон. Он слава и вместе укор человечеству, потому что ни одной из европейских рас не удалось прибавить ни одной идеи к его категориям.

Безбрачный, бездетный, он имеет потомками всех мыслителей из всех образованных народов, и каждый из них проникнут его духом. Сколько великих людей вызвала природа к бытию, чтоб быть его *собственниками* — платонистами! Боэций, Эразм, Джордано Бруно, Локк, Кольридж, Руссо, Альфиери более или менее были его чтецами, передававшими, под лоском своего остроумия, его превосходные мысли. Александрийцы, это созвездие гениев, — платонисты. Замечательные люди времен Елизаветы английской — платонисты. Даже умы возвышенные, каковы

Блаженный Августин, Коперник, Ньютон, Якоб Бёме, Сведенборг, Гёте, несколько падают в цене оттого, что имели — скажу ли — несчастие? родиться после этого неистощимого всемирного обобщителя: и они его должники, и они принуждены идти по его следам.

Об Елене Аргосской рассказывают, будто она была такая всесветная красавица, что всем казалась соплеменницею и сродственницею. Таков и Платон. Читает ли его англичанин, германец, американец, итальянец, — каждый готов принять его за соотечественника. Его обширная человечность переступает все границы, делящие людей по нациям.

Странно! Отыскав человека, превышающего целою головою всех современников, мы тотчас впадаем в сомнение: все ли его творения действительно принадлежат ему? Так с Гомером, с Платоном, с Рафаэлем, с Шекспиром. Эти люди магнетизируют своих современников до того, что близкие им производят ради них то, чего никогда не могли бы сделать ради самих себя. Великий человек вследствие этого живет, так сказать, во многих телах: пашет, рисует, действует многими руками, и, по прошествии некоторого времени, трудно бывает распознать, какое творение неподложно принадлежит мастеру и какое только его школе?

Восхваляя Платона, мы, может быть, хвалим цитаты из Соломона, Софрония, Филолая, в особенности же, учителя его Сократа. Чтож! Каждая книга есть извлечение из многих книг, как каждый дом есть извлечение из каменоломен, лесов, рудников. Великий человек, Платон, совместил в себе все искусства, все науки, все знание своего времени, и сознав себя способным к еще обширнейшему синтезису, — без примера ни прежде, ни после — отправился в Италию для обогащения себя тем, что добыли и подготовили для него пифагорейцы; потом — в Египет и, вероятно, еще далее, на восток, чтобы внести в европейский дух новые элементы, в которых так нуждалась Европа.

Такой обширный кругозор дает ему право быть Представителем Философии. Он сам сказал в своей *«Республике»:* «Гений, какой философы должны иметь, дается редко во всех своих условиях одному человеку; но отдельные его части нередко проявляются в отдельных лицах». Кто хочет произвести что-либо хорошее, должен вообще приниматься за это по побуждениям высшим. Философ должен быть более чем философ. Платон облечен притом властью поэта и стоит, как поэт, на самом высоком месте; хоть я не думаю, чтобы он обладал решительным даром лиризма, и потому уже не может назваться поэтом, что употребил свое поэтическое дарование не на прямую, а на дальнейшую цель.

Биография величайших гениев короче всякой другой. О них не расскажут вам ничего их двоюродные братцы. Гении живут в своих творениях; домашняя же или уличная их жизнь проста и чрезвычайно обыкновенна. Хотите ли узнать что-нибудь об их наклонностях и темпераменте? Самые пламенные приверженцы из их читателей весьма и весьма походят на них. В особенности Платон не имеет никакой внешней биографии. Любил ли он, был ли женат, имел ли детей? Ничего не известно. Все это зарисовано им как полотно картины. Хороший камин выжигает свой дым и чад, так и философ обращает ценность всего своего достояния на духовное усовершенствование.

Платон родился в 430 г. до Р. Х., около эпохи смерти Перикла; он принадлежал к патрициям своего времени и города. Сначала он имел склонность к военному поприщу, но на двадцатом году, по совету Сократа, отложил воинственные замыслы и в продолжение десяти лет, до самой смерти Сократа, оставался его учеником. После того он отправился в Мегару и по приглашению Диона и Дионисия три раза посещал двор этих сицилийских владык, несмотря на их причудливое обхождение. Он совершил путешествие по Италии, потом по Египту, где оста-

вался долго, как говорят, от трех до тринадцати лет. Заходил ли он далее, в Вавилонию? — это не познано. Возвратясь в Афины, он учил в академии тех, кого привлекала к нему слава, и, по дошедшей до нас молве, умер за своими письменными занятиями, на восемьдесят первом году.

Вся биография Платона — внутренняя. Но мы имеем верные данные насчет высшего превосходства этого человека в умственной истории нашего рода: заметьте, что по мере своего развития все просвещенные люди становятся его учениками. Как священный завет евреев внедрился в обыденную жизнь и в семейный быт каждого мужчины и каждой женщины в Европе и в Америке, так творения Платона предлежали и в школах философии, и пред Отцами и Учителями Церкви, и пред любителем мышления, и пред каждым поэтом: на некоторой высоте мысли нельзя обойтись без его содействия. Он стал между истиною и умом каждого человека и, можно сказать, наложил на самый способ выражения и на первоначальную форму мышления свое имя и свой штемпель. Читая его, я поражен удивительною современностью его слога и духа. В нем зародыш всего, что выработала так хорошо известная нам Европа в продолжение своей длинной исторической жизни. Все ее главные черты легко можно распознать в гении Платона — и ни в ком до него. Постоянная современность служит мерилом достоинства всякого произведения искусства: она свидетельствует, что творец его не был жалко увлечен скоротечными и мутными условиями, но держался за суть и за характеристику непреходящую. Каким же образом Платон так воспроизвел собою Европу, и философию, и изящную словесность? Вот задача, которую нам следует разрешить.

Это могло достаться в удел только человеку могучему, чистосердечному, всеобъемлющему, человеку, способному в одно и то же время чтить *идеал,* то есть законы духа, и *фатум,* то есть существующий порядок природы.

Первый период и народа, и индивидуума есть период бессознательных сил. Дети плачут, кричат, яростно топают ногами оттого, что не умеют выразить своих желаний. Как только они научатся говорить и объяснять, что им нужно, они становятся тихи. Ту же самую беспомощность и несостоятельность, в большем размере, ежедневно можно приметить в эпоху развития молоденьких мужчин и девушек. Когда понятия еще сбивчивы, они говорят с пылом, с преувеличением: завираются, ссорятся; речь их полна божбы, жесты — отчаяния. Но когда просвещение уяснит им предметы и они увидят их не в массе, не в громаде, а распределенными в порядке, — они отвыкают от слабодушного преувеличения и выражают свои мнения последовательно. «Ах, вы меня не знаете! Никто не понимает меня!» — восклицают они; плачут, вздыхают, пишут стихи и бродят одиноко. Через месяц или два, по милости своего доброго гения, они встретят того, кто их поймет и облегчит это вулканическое состояние. Сообщение установляется: они делаются порядочными людьми. Так бывает всегда. Слепое брожение постепенно уступает место порядку, познанию, истине.

В жизни каждого народа есть также минута, когда, выступив из периода грубой животной юности, умозрительные способности достигают в нем своей зрелости, и между тем еще не обратились к микроскопическому дроблению. В такой момент человек вытягивается во всю длину лестницы создания: пятою он еще касается неизмеримых сил мрака, глазами же и головою ведет беседу с солнцами и звездами. Это период совершеннолетнего здоровья и высшей точки могущества.

Такова во всех отношениях история Европы, такова она и в философии. Самые ранние ее летописи, внесенные выходцами из Азии, проникнутые бредом варваризма, по большей части погибли. То была смесь самых грубых понятий о нравственности с натураль-

ною философией, постепенно пересиливаемая частными воззрениями одинокого преподавателя.

До времен Перикла появились семь учителей мудрости, и мы получили основания геометрии, метафизики, этики. После них властвовали делители (partialists), производившие начало всего существующего — кто от воды, кто от воздуха, от огня и проч. Все системы примешивали к этим началам мифологические картинные описания. Наконец, явился Платон — распределитель. Ему не нужно ни варварского малевания, ни штукатурок, ни возгласов: он в силах дать определение. Он предоставляет Азии огромность и преувеличение; с ним выступает отчетливость и постижение.

Философия есть определение; она — отчет, который человеческий разум отдает себе о причинах и постановлениях мироздания. Два первенствующих факта необходимо служат здесь исходными точками: 1) *единство или тождественность;* 2) *многообразие.* Мы подводим все созданное к одному, усматривая главный его закон, усматривая коренное сходство во всем и поверхность несходства. Но каждый акт мышления, самое это усмотрение тождественности или единства удостоверяет в различии вещей. Есть *одно,* есть и *другое.* Невозможно ни говорить, ни думать, не включая обоих.

Итак, ум бывает сначала подстрекаем поиском причины, производящей различные действия; потом он отыскивает причину этой причины и погружается все далее и далее, в убеждении, что дойдет наконец до причины абсолютной и самобытной, до одной, включающей все. *«В среде солнца — свет; в среде света — истина; в среде истины — нетленное бытие»,* — гласят Веды.

Побуждаемый противоположными фактами, разум обращается от *одного* к тому, что не *одно,* а состоит из другого или многого, то есть от причины к последствиям, и убеждается в существовании разнообразности и в самостоятельности обеих, тесно за-

висящих одна от другой. Разлучить, но с тем вместе и примирить эти две совокупно слитые стихии — вот что составляет задачу мышления. Их существование, обоюдно противодействующее, обоюдно исключаемое, так тесно совпадает, однако, одно с другим, что никак нельзя решить, где одно и где его нет.

Во всех народах встречаются умы, склонные остановиться на постижении всесоздателя Единого. В восторге молитвы, в восхищенном благоговении уничтожаешь свое существование в Существе Едином. Такая склонность нашла высшее свое выражение в религиозных писаниях Востока, в особенности в Ведах Индии, которые не заключают почти ничего другого, кроме этой идеи, и касаются самых чистых, самых возвышенных струн на ее прославление.

Все Он, все Он; враг и доброжелатель тождественны, и тождественность до того велика, что пред нею ничего не значит разнообразие и видоизменение форм. «Ты способен, — говорит верховный Кришна одному мудрецу, — понять то, что вы не отдельны от меня. Я то — что ты. Таков и мир с его богами, героями и человеческим родом. Люди усматривают различие оттого, что они в безумии невежества. В словах Я и Мое заключается невежество». «Узнайте теперь от меня, в чем состоит великая цель всего. Это душа одна во всех телах, самобытная, совершенная, всепроникающая, превосходящая всю природу, неподвластная ни рождению, ни возрасту, ни смерти; вездесущая, содеянная из истинного знания, свободная, непричастная несущественности, то есть названиям, родам, видам, — во временах прошлых, настоящих и будущих. Знание, что этот дух, единый по существу, пребывает и сам в себе, и во всех других телах, — вот мудрость того, кто постигает единство вещей. Как одна струя воздуха, проходя сквозь скважины флейты, различается по тонам гаммы, так едино естество Великого Духа, хотя формы его разнообразны, ибо они происходят от последствий содеянного. Уничтожится

наружный образ чего бы то ни было, и всякое несходство прекращается». — «Весь мир есть только проявление Вишну, который тождествен всему и должен быть познан мудрыми так, чтобы они не отличали его от себя, но считали его безразличным с собою. Я не ухожу, не прихожу, не пребываю на одном месте: ты — не ты, другие — не другие, я — не я».

Это значит, другими словами: «Все для души, а душа — Все; звезды и животные — преходящая живопись; свет — белый фон картины; время — призрак, форма — тюрьма и самая твердь небесная — марево.

Это значит, что душа жаждет разлиться бытием, вознестись над формою превыше Тартара, превыше небес: она жаждет высвобождения из природы.

Но если спекулятивное созерцание устремляется к ужасающему, всепоглощающему единству, то деятельность, напротив, прямо отклоняется от него к многообразию. Каждый ученый по расположению или по навыку примыкает к одному из этих двух кумиров мышления. Религиозное чувство указывает ему единство; рассудок или внешние чувства — многообразие. Слишком быстрое единение или чрезмерное пристрастие к частностям и к дроблению — две одинаковые опасности для спекулатизма.

Таким наклонностям соответствует и история народов. Страна единства, неподвижных учреждений; родина философии, с наслаждением теряющейся в отвлеченностях, и людей — по убеждению и по применениям, — проникнутых верою в идею глухого, неутолимого, нескончаемого фатума, — есть Азия, осуществившая свои верования общественным установлением каст.

С другой стороны, гений Европы полон деятельности и творчества; ее образованность противится кастам; ее философия — поучение, а не верование; это страна изобретений, торговли, искусств, свободы. Европейская цивилизация состоит в торжестве дарований, в расширении систем; изощренное пони-

мание, приспособленное знание, наслаждение формами, наслаждение видимою природою — все проявляется в результатах удобопонятных. Перикл, Афины, Греция жили и действовали в этой среде, бодрые и веселые духом, еще не озабоченным предвидением вреда, происходящего от всякого излишества. Пред их глазами еще не было ни зловещей политической экономии, ни рокового Мальтуса, ни Лондона или Парижа. Они не помышляли о безжалостном подразделении народа с долею, определенною ткачам, пряхам, угольщикам, шерстобитам, чулочникам, слугам; ни о нищете Ирландии; ни об индийских кастах, сопротивляющихся европейским усилиям ниспровергнуть их. В ту пору разум был в полном цвете и кротости; искусства — великолепною новизною. Они резали пентиликейский мрамор как снег, и гениальные произведения зодчества и ваяния казались делом обыкновенным, ничуть не более мудреным постройки нового корабля на Мидфортской верфи или новой мельницы в Ловелле. Да, в те времена произведения греческого резца считались делом обыкновенным, делом в порядке вещей. Римские легионы, византийское законоведение, английская торговля, Версальские салоны, парижские кафе, паровые мельницы, паровые суда, паровые кареты виднелись в далекой-далекой от них перспективе, вместе с митингами каждого городка, с избирательными шарами, с журналами и дешевыми изданиями.

Тем временем Платон в Египте и в своих странствиях по Востоку проникался идеей о едином Божестве, в котором поглощается все и вся. Единение Азии и дробление Европы; безокончательность духа в представлении азиатском с определительностью европейцев, с их требовательностью результатов, с наклонностью посещать оперу и довольствоваться внешностью — вот что Платон явился примирить, сочетать, и своим прикосновением он возвысил энергию обоих. Его ум вмещал в себе все, что было

превосходнейшего и в Европе, и в Азии. Метафизике и натуральной философии, которыми выразила себя первая, он подвел основанием религиозность второй.

Были или не были слышны голоса на небе в минуту его рождения? Видела ли во сне его мать, что ее ребенок — сын Аполлона? Сел ли рой пчел на его младенческие уста? До этого нам нет дела. Важно одно: родился человек, усмотревший обе стороны каждого предмета. Дивное сочетание разнородностей, столь свойственное природе; тесное единение невозможностей, неразлучное со всем видимым; его реальная и идеальная сила — было теперь преподано во всей своей целости сознательному постижению человека.

Если в нас нет веры в души, достойные всякого удивления, тому причиною недостаток нашей опытности. Они так редки при теперешнем образе жизни, что кажутся нам невероятными; в первобытные же времена не только не было предубеждения против них, но была весьма сильная уверенность в возможность их появления.

И явилась душа, дивно уравновешенная, которая одним взглядом обнимала всю сферу мысли и постоянно видела оба полюса: причины и следствия. В руках Платона два сосуда: один с эфиром, другой с красками, и всегда и непременно он черпает из обоих. Мысль силится доискаться единства в единстве; поэзия же, напротив, указывает на его разнообразные проявления посредством видимого или символического. Это обладание обоими элементами объясняет могущество и обаяние Платона.

Если он любил отвлеченные истины, то вполне оправдал сам себя, возвестив простейшее и общепонятное из всех начал, — возвестив абсолютное добро, правящее правителями и судящее судей. Возьмем пример: физико-философы начертали, каждый по-своему, теорию мироздания — теорию атомов, огня, воды, теорию механических и физических сил. Пла-

тон, отличный знаток математики, знаток естественных законов и причин, чувствует, что все эти системы мира, основанные на причинах второстепенных, суть не что иное, как реестр, как опись. Следственно, первым догматом при изучении природы ставит он: «Провозгласим причину, подвигшую Верховного Распорядителя сотворить и устроить вселенную. Он благ: благость несовместна ни с каким родом зависти. Непричастный зависти, Он пожелал, чтобы все созданное, насколько то известно, было подобно Ему самому. Тот, кто поученный людьми мудрыми, признает эту первенствующую причину исходом и основою сотворения мира, тот будет обладателем истины. Все создано ради добра: оно причина всего, что прекрасно». Этот догмат живит и служит олицетворением его философии.

Характерное отличие ума Платона — синтез, обозначающийся во всех его особенностях. Разнообразие умственных даров со всем их превосходством легко сочетаются между собою в живом человеке, но если взяться за их описание, они покажутся несовместимы. Даже китайский каталог не исчислит всего, что заключалось в уме Платона. Его можно только постигнуть, представив себе первобытный ум в полном и свободном упражнении своих первобытных сил. В нем самая свободная непринужденность и доступность соединены с точностью геометра, а отважное воображение способствует ему овладеть с наибольшею ясностью самыми неопровержимыми фактами. Его учтивость патриция, его врожденное изящество, оттененные тончайшею иронией, но колкою и меткою, придают красоту здравомыслию и силе его красноречия. Справедливо изречение древних: «Если бы Юпитер сошел на землю, он стал бы говорить языком Платона».

Рядом с этим тоном образованного царедворца и согласно прямой цели различных его творений, слышится через все их содержание некоторая важность, которая в «Федоне» и в «Республике» возвышается до

благоговения. Платона обвиняли, будто он притворился больным во время суда над Сократом. Но все рассказы из того времени свидетельствуют, напротив, о мужественной защите учителя пред народом; в этих рассказах упомянуто даже о яростном крике сборища на Платона; и собственное его отвращение к народному правлению во многих местах сочинений выражает его личное жгучее негодование. Прямодушный почитатель справедливости и чести, уже по самой своей природе он был до того человеколюбив, что по кроткой снисходительности не хотел бы лишить простолюдина и некоторых его невинных суеверий. Прибавьте к этому его верование, что дар поэзии, пророчества, высокого провидения проистекают от умудренности, независимой от человека, но что эти чудеса совершаются небесным наитием. Воссев на своего крылатого коня, он проникает через области мрака, посещает миры, неприступные для плоти; видит страждущие души, внимает приговору судей, налагающему на них кару переселений; видит Судьбы, с прялкой и ножницами, и слышит предопределенный шум их веретен.

И между тем осмотрительность никогда не покидает его. Так и кажется, что он прочел надпись на вратах Вузирисова храма: *«Будь смел!»* — далее, на вторых воротах: *«Будь смел, смел, всегда смел!»* — но, остановясь пред третьими вратами, имел время разобрать: *«Будь не слишком смел!»* — до того превосходны его аттическая любовь меры, границы и мастерство определений. Можно с одинаковою безопасностью изучать логарифмы или следить за возвышенными полетами Платона. Голова его светла и тогда, когда молнии его воображения извиваются в самом небе. Процесс его мышления окончен, прежде чем он предложит его читателю; и между тем он изобилует чудесами искусника слова.

С какою умеренностью и самообладанием сдерживает он свои громы в момент их раскатов! Как доб-

родушно дал он и царедворцу, и простому гражданину оружие против философских школ: «Философия — вещь очень приятная, когда обходишься с нею с приличною скромностью; но если сойдешься с нею короче, чем бы следовало, она портит человека». Конечно, мог быть щедро великодушен тот, кто, утвердившись в своем солнцеподобном средоточии, и с таким протяжением зрения, сохранял безоблачную веру. Ясны и точны его убеждения, ясна и точна его речь. Он смеется над сомнением, он шутит с ним, рисует, играет словами, и вдруг раздается изречение, потрясающее землю и море: «Следовательно, Калликс, я вполне убежден на этот счет и помышляю о том, как представить пред судиею душу свою в состоянии здравом, неповрежденном. Потому, пренебрегая почестями, которые ценит большинство людей, и устремляя глаза на истину, я действительно должен стараться жить сколь возможно добродетельно и таким же образом умереть, когда настанет смерть моя. И всеми силами, находящимися во мне, зову я других людей, зову и тебя, Калликс, на эту борьбу, которая, верь ты мне, превышает все прочие здесь сражения». Дивная важность такого убеждения прорывается не промежуточно, для подтверждения или отрицания толков беседы; нет, она льется потоком света.

И заслуживает большего вероятия человек, который к наилучшему образу мыслей присоединяет соразмерность и равенство всех своих способностей! Люди по нем могут судить, какова польза их собственных провидений света, мыслей, внезапно их посещающих, и какую должно придавать им цену. Безукоризненно здравый смысл служит ему ручательством и руководством при истолковании вселенной. Он разумен, как бывает вообще разумен поэт и философ; но преимущественно перед ними он обладает могучим, всепокоряющим искусством примирить свою поэзию с земным правдоподобием: он умеет навести мост от городских улиц до Атлантиды и никогда

не пренебрегает постепенностью. Будь бездна, с одной стороны, обаятельна, сколько угодно, — подымаясь с долины на гору, он удержит свою мысль на скользкой покатости.

Он постиг факты первостатейные. Простертый на земле, закрыв глаза, он приносил поклонение Неизмеримому, Неисчислимому, Неизведанному, Неизреченному. Он называл его Верховным Естеством и всегда готов был доказывать, как, например, в «Парменида», что это Естество превосходит пределы нашего разумения. Никто из людей не сознавал с такою полнотою Неизглаголанного. Но, отдав, как бы от лица человечества, поклонение Беспредельному, он выпрямлялся и, снова, от лица человечества, утверждал: «Однако многое можно познать в природе». То есть, воздав, во-первых, по духу Азии, честь и поклонение — океану любви и могущества, превосходящему и образы, и знание, и волю — Ему, Благому, Единому, — теперь, освеженный и укрепленный этою данью благоговения, он снова возвращался к врожденному побуждению европейца, — а именно к потребности просвещения и восклицал: «Однако многое можно познать в природе!» Да, многое, потому что, получив бытие от одного, все видимое имеет к нему отношение. Это — чаша весов, и соответственность земли к небу, материи к духу, части к целому — вот наше руководство. Как есть наука о звездах, называемая астрономией, количествах, называемая математикой, о свойствах веществ — химией, так есть и наука из наук: я назову ее Диалектикою, с помощью которой Разум различает ложное и истинное. *«Душа, никогда не усмотревшая истины, не может принять образа человеческого»*, — сказал Платон.

Все высшие науки — математика, астрономия — похожи на состязателей бега: схватят данный приз и не знают, какое сделать из него употребление. Диалектика объясняет его: «Природа хороша, но разум лучше; как законодатель выше законоприемлющего».

Платон возвестил человеческому роду возможность уразуметь; возвестил благо познать духом творца природы. Я приношу вам радость, о сыны людей! Знайте, что истина всегда благотворна, что мы имеем надежду отыскать то, что должно составлять истинную суть всего видимого. Бедствие человека заключается в удалении от лицезрения Естества и в натиске разнородных предположений. Верховное добро — вот существенность; всякая добродетель, всякое блаженство зависят от познания этой сути. Мужество есть не что иное, как познание: высочайшее счастие, могущее выпасть в удел человеку, состоит в том, чтобы под руководством своего *демона* он дошел до того, что действительно ему свойственно. Достигнуть каждому своей части, есть также и сущность справедливости. Самое понятие о добродетели невозможно иначе, как посредством созерцания божественного естества. Итак, мужайтесь! Ибо «уверенность, что мы можем отыскать то, чего еще не знаем, сделает нас несравненно лучше, мужественнее, разумнее, чем предположение невозможности найти то, чего мы еще не знаем и что поиски о нем бесполезны». Выше места, избранного Платоном, нельзя стать: он оградил его своею страстною любовью к существенности, и на самую философию смотрел как на увлекательную беседу с истинною сутью.

Проникнутый гением Европы, он произнес слово: *Образованность;* он произнес и слово: *Природа,* но не забыл упомянуть: «Есть также и *божественное*». Он указывает в «Тимее» на высшее употребление зрения: «Меж нас удостоверились, что Бог измыслил и даровал глаза человеку для того, чтобы, обозревая круговращение сил небесных, мы употребляли как следует силы нашего духа, которые, хоть и находятся в неустройстве, если сравнить их с правильным ходом светил, состоят, однако, в союзе с их обращением; и дабы научась этому, быв уже по природе обладателям способности здравого суждения, мы —

по образцу неуклонного течения божественного — исправляли свои заблуждения и ошибки». Потом, в «Республике»: «Каждым из таких упражнений прочищается и восстановливается некоторый орган души, ослепленный и отуманенный изучениями другого рода: лучше сохранить этот орган, нежели десять тысяч глаз, потому что один он прозревает истину».

Ознакомясь с учреждениями Спарты, Платон более, чем кто другой, даже после него, возлагал надежду на воспитание. Он восхищался превосходством всякого рода: изящным, полезным, совестливым выполнением чего бы то ни было, но давал преимущественное предпочтение умственным и духовным совершенствам. Говоря о воспитании и образованности, он кладет им основанием врожденные способности; дает им непомерно высокое место и, прекрасно олицетворяя различные дарования, называет их богами. Патриций по своим наклонностям, он считает важным и превосходство по рождению: «Из пяти отделов научных предметов только четыре могут быть преподаны безразлично всем людям». В своей «Республике» он с особенным старанием изучает темперамент молодых людей, полагая его краеугольным камнем всего и всему.

Лучший пример вспомогательных сил человеческой природы находится в разговоре Сократа с Феагесом, желавшим сделаться его учеником. Сократ прямо объявляет, что если некоторые исполнились мудрости от беседы с ним, то они обязаны этим не ему и не его содействию, но что они просто стали мудрее во время пребывания с ним, по причинам ему неизвестным: «Потому, — прибавляет Сократ, — что он (его демон) недоброжелателен ко многим; и мое сообщество не благотворно для тех, кому противится мой гений, так что и мне становится невозможно жить с ними. С иными людьми он не возбраняет мне сообщаться, а между тем, моя беседа ни к чему им не служит. Таково-то, о Феагес, сближение со мною. Если

будет угодно Богу, ты сделаешь большие и быстрые успехи и не сделаешь никаких, если не угодно ему. Рассуди же сам: не лучше ли тебе обратиться к кому-нибудь из тех, кто имеет способность доставлять пользу своим преподаванием, тогда как я то доставляю ее, то нет — как случится». Другими словами это значит: «У меня нет системы. Я не могу за тебя поручиться. Ты будешь тем, каков есть. Если между нами есть сочувствие, наши беседы будут невыразимо пленительны и прибыльны для тебя; если же нет его, твое время пропадет даром, а мне ты только надоешь. Я покажусь тебе глупым; молва обо мне ложною. Далеко выше нас и вне твоей или моей воли заключается тайна влечения или тайна оттолкновения. Все доброе, доставляемое мною, — магнетизм взаимности: я поучаю, не задавая уроки, а занимаясь своими обыкновенными делами».

Это приводит нас к той личности, которую Платон поставил средоточием своей Академии, сделав ее орудием для обобщения всех главных пунктов своего учения. Исторические факты, касающиеся этой личности, — личности Сократа, — теряются в сиянии ума Платона. Сократ и Платон неразлучны, как двойные звезды. Первый своими гениальными чертами еще раз представляет нам наилучший пример совместимости разнородностей, которая составляет неотразимое могущество второго. Сократ был человек смиренного, но довольно порядочного происхождения, самого обыкновенного быта и образа жизни; его некрасивая наружность вызывала остроты других тем скорее, что знали: смышленый и веселый грубиян сам не останется в долгу. Актеры передразнивали его на сцене, горшечники вылепляли его непригожее лицо на глиняных кружках. Он был малый хладнокровный; и к своему равнодушию и шутливости присоединял полнейшее понимание каждого своего собеседника, которого вовлечет в прение и непременно поразит. Молодые люди без ума лю-

били Сократа и приглашали на свои пиры, на которые он являлся потолковать, что безмерно ему нравилось. Он мог пить сколько угодно и, оставив всю компанию под столом, уходил с совершенно свежею головою начинать новый толк с другим, неохмеленным собеседником. Одним словом, он был то, что деревенский народ называет *Старина.*

Чрезвычайно бедный, но закалив себя, как воин, он в точном смысле слова питался хлебом и водою или несколькими оливками, кроме тех случаев, когда его приглашали. С простотою квакера, с практическою мудростью Франклина, умеренный, как никто, он почти ничего не издерживал на себя: носил летом и зимою одно верхнее платье за недостатком другого, нижнего; ходил босоногий, и время от времени возвращался в свою мастерскую ваять, хорошо или худо, статуи на продажу, чтобы доставить себе любимое удовольствие после, на досуге, толковать по целым дням с самыми изящными и самыми образованными афинскими юношами.

Эти разговоры сделались его исключительным наслаждением; он завязывал их под притворным предлогом совершенного незнания и осаждал и побеждал всех щеголей-философов Азии, Малой Азии и Греческих островов. Никто не отказывался побеседовать с ним: он такой честный, и, право, любопытно познакомиться с человеком, который приходил в совершенное замешательство, лишь только промолвит не истину; но который приводил в совершенное замешательство и других, когда подтверждал их ложное мнение, и между тем, чрезвычайно радовался своим и их смущением, потому что, по его убеждению, самое важное, самое горшее зло, могущее постигнуть человека, состоит именно в ложном понятии о том, что справедливо и что несправедливо.

Каков бы ни был этот простак-старина со своими длинными ушами, молва шла, что раз или два во время войны с Виотиею своим присутствием духа он

прикрыл бегство афинского войска. Рассказывали также, что прикинувшись сумасшедшим, он имел твердость в одном заседании городского управления один возвысить свой голос против голоса целого народа, который едва не растерзал его.

Впоследствии, оказалось тоже, что этот вечный балагур, забавлявший своими странными повадками, проказами и простодушием молодых патрициев, тогда как изречения его мудрости и остроумия ежедневно разносились повсюду, был прям и честен с непобедимостью его логических выводов, что он нимало не был помешан, но что под покровом этого вымысла он был страстным поклонником своих религиозных верований.

Обвиненный пред судилищем в ниспровержении народной религии, он провозгласил бессмертие души, наказания и награды жизни будущей; отказавшись отпереться от своих слов по прихоти народного правления, он был приговорен к смерти и заключен в тюрьму. Сократ в тюрьме снял позор с этого места наказания, которое не могло быть темницею, пока он был в нем. Критон подкупил тюремщика, но Сократ не хотел выйти из тюрьмы обманом. «Каковы бы ни воспоследовали бедствия, нельзя ничего предпочесть правде. Ее голос внятен мне, как звук труб и литавров, и я глух для всего, что вы говорите мне». Величие этой тюрьмы, величие огласивших ее слов Сократа и эта выпитая цикута — одно из самых драгоценных событий в истории мира.

Редкое сочетание, и притом в безобразном теле, балагура с мучеником, уличного или рыночного говоруна с бесподобнейшим праведником, где-либо известным по истории тех времен, поразило Платона, умевшего давать цену таким противоположностям, и он поместил это лицо на первом у себя плане, как наилучшего распределителя умственных сокровищ, которые ему предлежало обобщить. Счастлива для обоих — для Эзопа черни и для сановитого уче-

ного — была эта встреча: она сделала бессмертными их обоюдные способности. Дивный синтез характера Сократа выказывается перемежаясь с синтетическим духом Платона. Кроме того, Платон мог прямо и без всякой зависти опираться на признанный ум и вес Сократа, которому, вероятно, он многим обязан; заслуги же Учителя получили свою главную ценность от совершенства искусства ученика.

Слава Платона основана не на превосходстве силлогизма, ни на художественном изложении учения Сократа, ни на той или другой великолепной теме, как, например, бессмертие души. Он более чем знаток, чем ученый, или математик, или мудрец, которому вверено то или другое особенное представительство. Он являет собою редкое преимущество ума, а именно могущественный дар поставлять каждый факт на последовательную высоту и через то обнаруживать в каждом из них залоги дальнейшего развития. Развитие — естественная принадлежность мысли: оно такая же органическая сущность. Ум не создает то, что он усматривает, точно так же, как зрение не создает розу. Это развитие или расширение мысли обостряет духовное зрение там, где для обыкновенного глаза уже смыкается горизонт, и это второе зрение усматривает, что продленные линии законов тянутся во все направления.

Признавая за Платоном заслугу провозвестия подобных дум, мы признаем его человеком полного развития; человеком, который к изучению видимого приложил всю гамму и внешних чувств, и постижения, и разума. Строгий чтитель определительности, Платон любил беспредельность; он видел, какой придаток силы и благородства проистекает собственно из истины, собственно из добра; со стороны разума человечества он воздал подобающую честь неизмеримой душе, и воздал ее достойно разума. Тогда он сказал: «Способности наши уносятся в бесконечность, и оттуда возвращаются обратно в нас. Мы мо-

жем определить весьма малое; но есть один факт, который упустить из виду все равно, что совершить самоубийство. Все созданное находится на лестнице и идет все выше и выше, откуда бы ни было начало. Все созданное есть символ; и то, что мы называем выводом, есть только новое начинание».

И каждая мысль Платона носит на себе отпечаток такого восхождения: излагая в «Федре» учение о красоте, пленительной очаровательнице, изливающей своим появлением радость, восторг и упование во вселенной, — а в некоторой степени, она проявляется в каждом предмете, — он говорит, что есть другая красота, настолько превосходящая красоту видимую, насколько эта превосходит хаос; эта красота — мудрость, скрытая от удивительного органа нашего зрения, но которая, если бы мы могли ее увидеть, восхитила бы нас совершенством своей существенности. Так и в «Банкете» он поучает в том же духе, — теперь всемирно усвоенном и поэтом, и проповедником, — что земная любовь есть зачаток и отдаленный символ обожания души к тому необъятному океану красоты, которая существует и манит душу. Вера в Божественное никогда не покидает помыслов Платона; она составляет предел каждого его догмата. Он всюду стоит на пути, которому нет конца и который беспрерывно огибает всю вселенную. Поэтому каждое его слово служит истолкованием мироздания. Все, на что он не посмотрит, являет свой второй смысл и дальнейшие, последующие значения.

Он постигнул и происхождение из противоположностей: смерть возникает из жизни, жизнь из смерти — закон, по которому тление есть возрождение. Он уследил и то, что малое содержится в большом, большое в малом, заключая о государстве по гражданам, о гражданах по государству, так что вводит в сомнение, не есть ли его устав «Республики» аллегория воспитания одной души? Его превосходные определения идей, времени, формы, фигур, ли-

ний не уступают определениям добродетели, мужества, справедливости, воздержности; все его апологи, к которым он охотно прибегал: Пещера Трофония; Перстень Гигеса; темпераменты — золотые, серебряные, железные и медные; видения Аида, Судеб и проч. — напечатлеваются на человеческой памяти, как знаки Зодиака. Его взор лучезарен, как солнце; его душа светоносна. Он верил в прирожденные воспоминания; он ясно провидел закон возмездия или возвратности; закон, обусловливающий свершение правосудия по всему протяжению вселенной, и разделял убеждения Сократа в том, что верховные законы, правящее *здесь*, — близнецы законов, которые *там*.

Еще более поразительны черты его выводов из нравственного кодекса. Платон утверждает, что знание и добродетель неразлучны, потому что порок не понимает ни себя, ни добродетели, тогда как добродетель знает и себя, и порок. Самый поверхностный взгляд разберет, что лучше придерживаться справедливости, пока она выгодна; Платон же твердо стоит на том, что она выгодна везде и всегда, что ее выгода самоценна, хотя правый таит свою правоту от глаза богов и людей; что лучше терпеть несправедливость, чем наносить ее; что преступник обыкновенно жаждет наказания; что ложь гораздо пагубнее смертоубийства и что самая ложь по неведению, то есть непреднамеренная, более причиняет зла, чем непреднамеренное человекоубийство; что душа против воли лишается понятий об истине и никто не впадает в заблуждения по доброй воле; что естественный порядок или процесс природы идет от духа к телу, потому что здоровое тело не в состоянии восстановить больной души, тогда как бодрая душа своим могуществом наилучшим образом укрепляет немощное тело. Просвещенные имеют право над невежественными; а именно право наставлять их. Нравственные законы так же точны и непоколебимы, как и законы вещественной природы, — духовная гео-

метрия занимает в своей области то же место, какое занимает здесь логика линий и дуг. Мир математичен вдоль и вширь, внутренне и наружно; неизменны пропорции кислорода, азота, щелочи, и столько-то воды в кремне и в меле; так же неизменны пропорциональные отношения стихий нравственных.

Платон начертал свой собственный идеал, изобразив в «Тимее» Бога, устраивающего повсюду из беспорядка порядок. Ранее всех людей провидевши духовную цену нравственного чувства, он так верно зажег огонь в самом центре, что вся сфера осветилась, и он смог различить полюсы, экваторы, градусы, широты, всякую плоскость и возвышенность. Подобные мысли озаряли и озаряют искрами света души поэтические и набожные, но этот прекрасно воспитанный, всезнающий Грек-геометр приходит каким-то Эвклидом святости; размещает, как законный повелитель, все такие разрозненные проблески по их степени и разрядам и объединяет обе стороны сотворенного. Его теория до того соразмерна и завершена во всех своих частях, что думаешь, будто вековые силы способствовали к сооружению этого гармонического здания, что оно не может быть мгновенно изъятым из времени заявлением уст кратко живущего книжника!

Ключ к методу и к довершению учения Платона представлен его дважды рассеченною линией. Объяснив отношения между абсолютной истиной, абсолютным добром и образами видимого и умственного мира, он говорит: «Рассечем линию вдоль, на две неравные части и разделим эти еще надвое: одна представит нам видимый, другая умственный мир; два же подразделения — его светлую и темную стороны. Вы получите в первом отделе видимого мира изображения, то есть тени, отражения; во втором — тела этих изображений: растения, животные, произведения природы и художеств. Разделив точно таким же образом мир умственный, один отдел вместит мнения и гипотезы, второй – истины». Этим четырем отделени-

ям соответствуют четыре деятельные силы духа: предположение, вера, постижение, разум. Как каждый пруд отражает лик солнца, так все мыслимое и все предметное являет нам и создание, и подобие верховной Благости. Вся вселенная просверлена миллионами путей для ее деятельности, и все созданное восходит и восходит.

По возвышенности ума и знаний Платон до сих пор удивляет мыслящих людей. Тайна же его более обширного успеха заключается в нравственных целях, делающих его драгоценным для каждой человеческой души. «Разум, — говорит он, — царь неба и земли». Но в нем разум неразлучен с возвышенными нравственными началами; притом его творения проникнуты вековечною юностью поэзии. Отсюда происходит то, что многочисленный строй отмеченных душ, — именно таких, которые находят свое наслаждение в духовном, то есть в нравственно-умственном выражении истин и в указании им целей дальнейших, дающих им законность, — называются *платоническими*. Микеланджело — платонист; Сведенборг — тоже в своей поэме «Супружеская Любовь». Платонист и Шекспир в своих сонетах, особенно же в «Гамлете», и только одна высота собственного гения Шекспира не дозволяет поставить его в числе главнейших представителей Платоновой Школы.

Остается сказать, что недостаток в более могущественном влиянии Платона неизбежно проистекает от самых его качеств. Он интеллектуален в целях, следовательно, литературен в изложении. Возносится ли он на небо, нисходит ли в преисподнюю, издает ли законы для государства, описывает ли страстную любовь, угрызения совести преступника, упования отходящей души — он литературен везде и всегда. Ему недостает той жизненной властительной силы, которой обладает и вопль еврейских Пророков, и учение безграмотного Аравитянина.

Во-вторых, у него нет системы. Его самые жаркие защитники и ученики не могут ее доискаться. Один полагает, его мнение таково, другой — иное. Он ска-

зал то и то в одном месте, в другом — совершенно противоположное; попытался составить теорию вселенной, но теория вышла не полна, не убедительна. Еще укоряют его в том, что он неудовлетворительно перешел от идеи к материи; что у него есть мир — крепкий, округленный, законченный, как орех, где не оставлена ни одна частица хаоса, ни узелка, ни кончика; мир, отделанный без признаков поспешности, без заплат или поправок при втором обзоре, но что теория этого мира составлена из обрезков и лоскутков. Что касается вечной природы, то Платон прибегает к философским упражнениям и приводит разноречивые доводы.

В этом принуждены мы сознаться: каковы бы ни были усилия Платона, ни он, ни другой какой философ не мог распорядиться с природою, которой не угодно, чтобы ею распоряжались. Никакая сила гения не достигла еще удовлетворительного объяснения тайны мироздания и жизни. Загадка все еще остается неразрешенною.

Несправедливо было бы, однако, приписывать такой горделивый замысел Платону. Не будем легкомысленно обращаться с его достопочтенным именем. Чтобы оценить его по достоинству, сравним его не с природою, а с другими людьми. Сколько прошло веков, и ни один человек не стал вровень с ним. В умственном отношении, Платон — колоссальное здание! Это Карнак, Миланский собор, этрусские развалины; и нужны обширные способности во всех родах, чтобы оценить его. Мне кажется, всего справедливее смотреть на него с глубочайшим почтением. Когда его изучаешь, мысль его обозначается все глубже и глубже и качества увеличиваются. Хваля его ум, слог, здравый смысл, мы поступаем как дети; неблагоразумнее их, по моему мнению, и наши критические разборы его диалектики. Такая критика похожа на досаду на мили, когда торопишься приехать: все же лучше, чтоб миля имела полных семьсот шестьдесят ярдов. И многозрящий Платон соразмерил свет и тени по условиям нашего существования.

СВЕДЕНБОРГ, ИЛИ МИСТИК

Из среды необыкновенных людей наиболее дороги своим собратиям не те, которых экономист называет *производительными.* Нет, у наших любимцев ничего нет в руках: ни усовершенствованных хлебных зерен, ни испеченного хлеба, — они не основали колоний, не изобрели никаких орудий.

Бóльшим уважением и любовью, чем тот отдел человечества, что строит города и обогащает рынки, пользуются поэты. Они из лона духовного царства питают наше мышление и воображение мыслями и образами, которые возносят людей выше мира хлеба и денег, утешают их в ежедневных недочетах, в мелочности труда и торга. Высокую цену имеет и философ, этот возбудитель умственных сил труженика, который, завлекая своими тонкостями, знакомит его с новыми способностями. Пускай другие строят города: он постигнет их смысл и придаст им высокое значение. Есть люди еще другого разряда — это вожди наши в иную область: в мир нравственности или воли. Все замечательное в этой области дум составляет их принадлежность, и малейшее проявление чувства правоты получает в глазах их первенство над всем прочим. Так и должно быть: я могу поэтизировать все на свете, но нравственное сознание поэтизирует самого меня. Я часто думал о том, какую огромную услугу оказал бы новейшей критике тот, кто провел бы параллель отношений, существующих между Шекспиром и Сведенборгом. Человеческий дух вечно стоит в тоскливом раздумье: он требует ума, он требует святости и испытывает равную доса́-

ду, когда ему предлагают одно без другого. Способный соединить их обоих еще не явился. Утомленные святошами, мы обращаемся к Шекспиру как к прибежищу. Но в настоящее время самые инстинктивные побуждения научают нас, что разрешение задачи сущности бытия должно брать перевес над всеми прочими и что на вопросы: *Откуда? Зачем? Куда?* — следует отвечать жизнью, а не книгами. Драма или поэма отвечают на них приблизительно или косвенно; но Мену, но Зороастр, но Моисей состязаются именно с этою задачею. Сфера нравственного сознания есть область такого величия, которое низводит до игрушек все наше материальное великолепие, а между тем, пред каждым нищим, имеющим рассудок, растворяет дверь во вселенную. Оно с почти неудержимою торопливостью клонит человека под свое владычество. Вот что сказано на языке корана: «Аллах изрек: Небо, земля и все, что лежит между ними, думаете вы сотворено нами в шутку, и вы не возвратитесь к нам?» Такое сознание основывает господство воли, вдохновляя волю, — это коренное начало личности, оно будто претворяет в нее целую вселенную.

«И Царства существ не преклонятся никому другому; они не только твои, но все они – Ты».

Выше всех людей стоит праведник. Коран делает большое различие между человеком добрым по природе и между человеком добра, имеющим влияние на других. Он произнес, что этот род людей есть цель создания, а что прочие приняты на пир бытия, как причисленные к их свите. То же говорит и персидский поэт душе подобного свойства:

Смелей иди вперед! вкушай на пире жизни:
Ты — приглашенный гость, — допущены другие.

Преимущество таких избранников состоит в доступе к тайнам и составу природы посредством какого-то способа, который выше опыта и науки. По-

просту сказать: что познает один человек вследствие продолжительного изучения, то угадывает другой, одаренный необыкновенною прозорливостью. Аравитяне рассказывают, что Абул-Кхаин, мистик, и Абу-Али-Сиина, философ, вели между собою беседу; при расставании философ сказал: «Я изучил все, что он усматривает». «Мистик же сказал: «Все, что он изучал, я вижу».

Где причина такого прозрения, можем спросить мы: в прирожденных ли воспоминаниях Платона, в учении ли браминов о переселении душ? Душа, часто воплощавшаяся или, по выражению индусов, «перейдя стези бытия через тысячекратное рождение», созерцав предметы, которые находятся здесь, и которые в небе, и которые в преисподней, — заимствует знание от всех; так не удивительно, если в отношении чего бы то ни было она способна припоминать то, что знала прежде. «Ибо все предметы состоят в связи и в соотношении, и когда душа уже раз изведала их, ничто не препятствует человеку, наведшему на ум или — говоря обыкновенным языком — изучившему один предмет, восстановить все предыдущие свои познания и снова отыскать все остальное, если только он имеет твердость и не ослабевает среди своих изысканий. Ибо и изыскание, и изучение есть не что иное, как прирожденное воспоминание». Как несравненно сильнее должно это совершаться у изыскателя с душою праведною, божественною! Будучи первоначально сопричастна Предвечному Духу, всесоздавшему и всесоблюдающему, такая душа легко переносится во все сотворенное, и все сотворенное несется к ней: они сливаются, и человек присутствует и сочувствует устройству и законам мироздания.

Труден этот путь, таинствен и осаждаем ужасом. Древние называли такое состояние *экстазом,* то есть отсутствием, отрешением человека от тела, дабы мыслить. Все религиозные легенды хранят сказания о восхищенном состоянии святых. Это бла-

женство, но без всякого признака радости: блаженство величественное, уединенное, почти тоскливое: «полет». Плотин называет его: «один наедине с одним»; еще Μυεσιξ — смежение очей, от чего и слово *мистик*. При этом тотчас приходят на память имена Сократа, Плотина, Порфирия, Бёме, Бониана, Фокса, Паскаля, г-жи Гюйон, Сведенборга, впадавших в такое состояние. Но также скоро припоминается и то, что оно сопровождается недугом. Блаженство это нисходит в ужасе и с потрясениями духа восприимца: «Оно расшатывает хижину из персти», наводит помешательство на человека или придает его уму странный склад, отражающийся на рассудке. В самых замечательных примерах религиозного просветления обозначается примесь некоторой болезненности, не смотря на неоспоримое увеличение способности постижения. Неужели этот высший дар вносит с собою свойство, парализующее его силу и веру в него других?

И подлинно, оно отъемлет
От совершенств, достигнувших вершины,
Деятельность и силу низших свойств.

Не в праве ли мы сказать, что расчетливая мать-природа распределяет по весу и по мере столько-то земли, столько-то огня на состав каждого человека; что она не дает надбавки ни на полушку, хотя бы целые народы гибли за недостатком вождя.

Новейшие времена представляют замечательный пример такого умственного переворота в лице Эммануила Сведенборга, родившегося в Стокгольме в 1688 году. Этот человек, казавшийся современникам сновидцем, экстрактом из лунных лучей, вел, без всякого сомнения, жизнь гораздо более существенную, чем кто-либо из живущих тогда на земле. И теперь, когда короли Фридрихи, Христиерны и все герцоги Брауншвейгские незаметно соскользнули в забвение,

для Сведенборга настал час возникать в умах многих тысяч людей.

Его молодость и ранний образ жизни были, конечно, не совсем обыкновенны; они прошли не в посвистывании и танцах. Еще мальчиком он роется в рудниках и горах, усидчиво занимается химией, оптикой, физиологией, астрономией, математикой, чтобы найти образы, достойные, по своему размеру, поместиться в таком объемистом и многостороннем уме. Как бывает обыкновенно с великими людьми, Сведенборг, по разнообразию и количеству своих способностей, казался сочетанием многих даровитых личностей. Это было существо, сотворенное широко и обладающее всеми преимуществами величины. Отражение пространной окружности все же легче обозревать на больших шарах, хоть несколько попорченных трещиною и тусклостью, нежели в капле воды; так люди великого размера, размера Платона и Ньютона, несмотря на некоторую чудность или расстроенность, приносят нам более пользы, чем посредственные умы в своем равновесии.

Сведенборг, ученый с детства, докончил свое образование в Упсале. Двадцати восьми лет он сделан был асессором Горного управления при Карле XII. В 1716 г., оставив родину, посетил университеты Англии, Голландии, Франции и Германии; издал свою книгу *Doedalus Hyperboreus* и с той поры, в продолжение тридцати лет, писал и издавал свои ученые сочинения. В 1718 г., при осаде Фридрихсгаля, совершил замечательный подвиг инженерного искусства, провезя сушею, по пространству четырнадцати английских миль, две галеры, пять шлюпок и небольшой корабль на подмогу королю. В 1721 г. опять путешествовал по Европе для обозрения рудников и плавильных печей.

С тою же энергией предался он и Богословию. В 1743 г., когда ему было пятьдесят четыре года, воспоследовало то, что называется его просветлением.

Металлургия, передвижение кораблей по суше и вся прочая ученость были поглощены этим состоянием восхищения. Он не издал с тех пор ни одной ученой книги, отклонился от своей практической деятельности, а посвятил себя на составление и печать своих многотомных богословских творений, издававшихся в Дрездене, Лейпциге, Лондоне, Амстердаме то за его счет, то за счет герцога Брауншвейгского или другого принца. Позднее он оставил свою должность асессора, но жалование выдавалось ему до конца жизни. В свое время эта должность поставила его в близкое знакомство с Карлом XII, который высоко его ценил и часто с ним советовался. Такое же расположение оказывал ему и наследник Карла. На Сейме 1751 г. граф Гопкен произнес, что лучшая «Записка» по финансовой части принадлежит Сведенборгу. Вся Швеция, как кажется, была проникнута отменным к нему почтением. Его необыкновенная ученость, практические сведения, присовокупившаяся к ним слава о даре второго зрения и необычайность религиозных познаний привлекали к гаваням, к которым он приставал во время своих путешествий, королев, дворян, духовных, моряков и толпы народа. Духовенство противилось изданию и распространению его религиозных творений, но он, кажется, всегда оставался в приязни с влиятельными лицами. Он никогда не был женат, вел чрезвычайно простой образ жизни, питался хлебом, молоком и овощами; в обращении был очень скромен и приветлив. Дом его стоял посреди большого сада. Он несколько раз посещал Англию, где, как кажется, ни вельможи, ни ученые не обратили на него внимания, и умер в Лондоне в 85 лет, от апоплексического удара, 29-го марта 1772 г. Видавшие его в Лондоне описывают его человеком тихим, похожим на лицо духовного звания. Он не прочь был выпить чашку кофе или чая и чрезвычайно любил детей. При парадной бархатной одежде он носил шпагу; на прогулках же — трость с золо-

тым набалдашником. Довольно плохой портрет изображает его в старинной одежде и в парике; лицо имеет рассеянное и неопределенное выражение.

Гений, которому суждено было пролить на ученость того времени свет своего более утонченного знания, переступить границы времени и пространства, проникнуть в таинственный мир духов и попытаться основать новую религию на земле, разобрал первоначальные письмена этих знаний в каменоломнях и кузницах, у горнов и у тигелей; на корабельных верфях и в анатомических залах. Быть может, ни один человек не в состоянии оценить всего достоинства его творений по такому множеству предметов. Но приятно знать, что его труды о рудах и металлах высоко ценятся людьми, сведущими в этом деле. Он, кажется, во многом опередил науку XIX столетия: опередил ее в астрономии; предугадав открытие седьмой планеты, — по несчастию, восьмой он не предугадал; опередил новейший взгляд этой науки касательно образования миров; по части магнетизма предугадал многие важные опыты и выводы ученых нашего времени; в химии опередил атомистическую теорию; в анатомии — открытия Шлихтинга, Монро, Уильсона; первый объяснил работу легкого. Превосходный издатель его сочинений в Лондоне, считая Сведенборга слишком великим, мало заботится о его славе как родоначальника таких открытий, но мы можем по тому, что он сохранил, судить о важности того, что оставлено в стороне.

Это была колоссальная душа: она облегла через край свое время, не понявшее ее; она требует для своего обозрения отдаленное фокусное расстояние. Сведенборг, как Аристотель, как Бэкон, Сельден, Гумбольдт, дает нам то понятие, что обширность знаний и *почти* вездесущность в природе доступны человеческой душе. Будто с высоты башни, великолепно обозревает он природу, искусства и, никогда не теряя из виду последовательности и связи предметов,

он в своих *«Principia»* едва ли не осуществил свой собственный образ, представив первобытную беспорочность человека. Выше, по месту и по достоинству, отдельных его открытий стоит главнейшее из них — открытие самотождественности. Капля морской воды имеет все свойства моря воды, только не может воздымать бурь. Можно восхищаться, слушая целый оркестр и слушая одну флейту; есть могущество в войске, есть оно и в герое. Вообще, все, знакомые только с книжными произведениями новых времен, должны прийти в удивление от громадных достоинств Сведенборга. Это какой-то мезозавр и мастодонт науки, которого не измерить целыми коллегиями обыкновенных ученых. От его исполинского появления взовьются все мантии университета. Наши книги лживы, потому что они одни отрывки; их сентенции — пустые *bons-mots,* а не части естественной речи: они — ребяческие выражения то нечаянности, то радости при первом знакомстве с природою или — что еще хуже — они дают кратковременную гласность опрометчивым заключениям или отклонениям от ее порядка, злонамеренно выставляя, для возбуждения удивления некоторые случайности или особенности, напрямую противоречащие гармонии природы и, по примеру фокусников, скрывая свои проделки.

Сведенборг же систематически, при каждом определении указывает на отношения в мироздании; средства и цели изложены в отменном порядке; все способности действуют в нем с астрономическою точностью, и превосходные его творения чисты от малейшего высокомерия или себялюбия.

Сведенборг был рожден в атмосфере великих идей. Трудно даже сказать, что составляет его исключительную принадлежность, но собственная его жизнь заимствовала величие от его возвышенных воззрений на вселенную. Мощный аристотелев метод — законченный, полный, пристыжающий нашу бес-

плодную и тощую логику, — своею гениальною лучезарностью, коротко ознакомленный с последовательностью и постепенностью, с явлениями и с их окончательными целями; искусный в распознавании силы от формы, сущности от случайности, проложивший своей терминологией и определениями торные дороги в царство природы, — аристотелев метод образовал целые поколения атлетических философов. Гервей уследил обращение крови; Гильберт — магнитность земли; Декарт, воспользовавшись Гильбертовым открытием, своими вихрями, спиральностью, поляризацией наводнил Европу преобладающим предположением вихревого круговращения, будто бы заключающего тайну мироздания. Ньютон, в год рождения Сведенборга, напечатал свои *«Principia»* и тем положил основание всемирному тяготению. Мальпиги, следуя высоким убеждениям Гиппократа, Левкиппа и Лукреция, придал силу тому мнению, что *tota in minimum existit natura.* Несравненные анатомы Свammердам, Лёвенгёк, Уинсло, Евстахиус, Гейстер, Везалиус, Бёргаве ничего не оставили анатомическому ножу и микроскопу на открытия в сравнительной анатомии. Его современник, Линней, в своей прекрасной науке произнес: «природа всюду сходна сама с собою»; наконец, Лейбниц и Христиан Вольф в благородной системе и в более обширном приложении этого начала указали его в космологии, между тем как Локк и Гроций извлекали из него нравственные доказательства.

По духу этих предшественников и современников можно усмотреть исходную точку Сведенборговых изучений и задач, предложенных им себе на решение. Он был способен вести с ними беседу и оживлять эти тома мыслей. Между тем, близость таких гениев, из которых тот или другой внушил ему все преобладающие его идеи, вторично доказывает примером Сведенборга, как трудно уму и самой высокой плодотворности быть совершенно оригинальным, быть первым

восприемником и провозвестником одного из законов природы.

Сведенборг назвал образ воззрений, к которому он тяготел, Учением о *Формах,* о *Прогрессиях,* или *Степенях,* о *Влиянии,* или *Наитии,* о *Соотношениях.* С таким учением стоит познакомиться по его собственным сочинениям. Не всякий может читать их, но тот, кто прочтет, будет вознагражден за труд. Это целая библиотека для твердо мыслящего и уединенного ученого. Они составляют около 50 томов; из них половина посвящена ученым, другая — богословским предметам. После целого века забвения Сведенборг нашел, наконец, жаркого последователя в Лондоне — мистера Уилькинсона, который перевел творения своего учителя с латинского на английский язык. Сила ума, постижения и воображения переводчика могут быть сравнены только с высокими дарованиями лорда Бэкона. Великолепное предисловие, которым м-р Уилькинсон обогатил эти тома, превосходят своим блеском всю современную английскую философию и не позволяют мне, после него, ничего прибавить от себя.

Сведенборгова *«Экономия Животного Царства»* — одна из тех книг, которая всюду выдержанною возвышенностью мыслей делает честь роду человеческому. Она была написана с высочайшею из всех целей — помирить, наконец, душу и науку, так давно разошедшиеся одна от другой. Этот анатомический отчет о человеческом теле выражен самым высоким поэтическим языком. Сведенборг недаром изучил лучи и металлы. Разнообразные и основательные знания придают его слогу блеск и искрометность мысли, похожие на те зимние утра, когда воздух серебрится кристаллами. Он мог быть отличным космологом по врожденной способности усматривать тождественность и не останавливаться пред огромностью предмета. В атоме магнитного железа он видел силу, могущую производить спиральное движение планет

и солнца. Его убеждения основаны на всемирности каждого закона в природе: на верования Платона в степени или в восходящую лестницу; на излиянии или слянии одного в другое, из чего проистекает взаимная относительность каждой из частей. Ему обнаружилась прекрасная тайна, что малое объясняет большое, а большое — малое; и средоточие человека в природе, и повсеместно существующее соприкосновение во всем. Он видел, что человеческое тело в точном смысле всемирно, что оно орудие, посредством которого душа воспринимает свою пищу, между тем как его питает все, что ни есть в материи. Решительный противник скептицизма, он придерживался того, что «чем более человек мудр, тем более он поклонник Божества». Вообще, он веровал в философию тождественности *(Indetity philosophy)* и был твердым и сильным ее сторонником.

Эта теория, получившая свое начало от самых древних философов, теперь блистательно доказывается новейшими. Ее давнишний афоризм: «Природа всегда сходна сама с собою», то есть природа беспрерывно применяет один и тот же способ на различных ступенях своих действий. Например: глазок, или растительная почка, развертывается в листок, потом в другой; она наделена возможностью преобразовать листок в корень, стебель, чашечку, лепесток, пестик, мешочек, семя. В животном природа образует позвонок или позвоночный хребет и, модифируя эту форму, изменяя ее направление, продолжает свою работу до известного предела, довершая ее на верхнем конце руками с их кистью и пальцами, на нижнем — ногами и ступнею. На вершине позвоночного столба она утверждает новый хребет, который своими впадинами, выпуклостью и округлением образует череп с соответствующими оконечностями. Верхняя челюсть может быть поставлена в параллель рукам, нижняя — ногам, зубы — пальцам. Этот новый хребет назначен для отправлений высшего разряда. По

мнению Платона, в «Тимее», этот второй человек, поставленный на плечо первого, почти может отрубить свое туловище и жить независимо, своеобычно. Внутри его все, что было сделано в туловище, повторяется еще раз на более высоком уровне, и природа снова твердит заданный урок. Мозг — это усовершенствованное, утонченное тело мысли; в нем опять совершается процесс питания посредством вбирания, выработки и усвоения себе опыта посредством извержения и воспроизведения новых эфирных элементов. И нет предела лестнице восхождения: ступень следует за ступенью. Все, что стоит на грани одной, переходит в ближайшую, последующую, в точности повторяющую каждый орган, каждое отправление предшествовавшей. Мы приноровлены к бесконечности. На нас трудно угодить: мы не можем любить ничего, чему видим конец, — и его нет в природе. Окончание одного назначения переходит в назначение высшее, и такое восхождение, продолжаясь, достигает существ духовных, небесных. Сама природа помогает нашему стремлению ввысь и в бесконечность. Творческие ее силы, подобно композитору, безустанно наигрывают простую тему или арию то громко, то едва внятно; то как соло, то целым хором, сто тысяч раз отглашенным, пока и небо, и земля не наполнятся ее песнью.

Притом в ней нет такого закона всеобщности, которого нельзя бы уследить в большом и малом. Кровяные шарики обращаются в наших жилах на своей оси, как планеты на небе; круговоротные же движения наших умственных изысканий и заключений соответствуют течению светил. Тяготение, объясненное Ньютоном, хорошо, но оно становится еще выше, когда мы находим в химии распространение того же закона, начиная от сплошных масс до дробных частиц, и когда атомистическая теория указывает на ту же механичность в химических действиях. Метафизики свидетельствуют о своем роде тяготения, при-

сущем в феноменах умственных, а приводящие в ужас статистические таблицы Франца подводят под точность цифрового исчисления каждую прихоть, каждую блажь. Если один на двадцать или тридцать тысяч человек любит есть сапоги или женится на своей бабушке, то в каждых других двадцати или тридцати тысячах найдется человек, который тоже ест сапоги или женится на своей бабушке. Итак, то, что мы называем тяготением и считаем довершением, есть только один рукав могучей реки, для которой мы не нашли еще и имени. Астрономия — превосходная вещь, но она должна войти в жизнь, чтоб получить полную свою ценность, а не ограничиваться шаровидными телами и расстояниями там, в пространствах*.

Эти величественные рифмы или созвучия, повторяемые в мироздании, которые поражают и удивляют, при каждом своем обороте, как новое, еще невиданное выражение на лице, нам милом и хорошо знакомом; выражение, придающее его чертам вид чуждый и преображающее его облик во что-то божественное, — все это восхищало пророческий глаз Сведенборга. Он должен быть почтен как глава того переворота, который, осмыслив науку, дал бесцельному собранию опытов форму, руководство и животрепещущее сердце. Он подсмотрел, как природа «вьется вокруг вечно продолжающейся спирали и ось ее никогда не скрипит, и колеса никогда не рассыхаются»; иногда он почти был готов проникнуть в то сокровенное убежище, где она «сидит у горна, в недрах своей лаборатории»; и между тем его картины

---

* Желание Эмерсона, несколько уже раз им выраженное и обращенное к астрономии, может теперь быть удовлетворено превосходным произведением французского астронома Фламмариона «*La Pluralité des mondes habités*», и не менее замечательною книгою «*Pezzani*», служащей ему дополнением. Обе эти книги действительно ввели астрономию в жизнь; их стоит прочесть каждому мыслящему человеку. (*Примеч. перев.*)

отличаются строгою верностью, с которою они основаны на практической анатомии. Немногие с такою проницательностью подметили или выразили неуловимый образ действий природы и то условие, что когда он не обнаруживается в видимых проявлениях и будто прячется так, что нельзя указать, куда что скрылось, то наука может и должна отыскать его следы. Это домогательство найти, куда переходит та сила, то свойство, которые довершили свое последнее действие на одном поприще и должны начать его на другом, высшем, придает необыкновенное оживление его *«Животному Царству»*. Книга почти становится существом.

Мнение древних — Гиппократа, Левкиппа, Платона, кратко выраженное афоризмом Мальпиги: «природа во всей полноте пребывает и в наименьшем», — было одною из любимых тем Сведенборга. «Неизменен закон органических тел, — говорит он, — по которому большая, составная или видимая, форма есть не что иное, как производство и сложность меньших, простейших, напоследок даже неосязаемых форм. Эти же действуют наподобие самых огромных, но еще с большим совершенством и общностью, так что могут дать полное понятие о всей своей совокупности. Язык, например, состоит из совокупности крошечных язычков; то же — сердце, желудок, печень, — словом, каждый орган есть сложность отдельных маленьких органов, во всем сходных с большим, составным. Эта богатая идея дает ключ ко многим тайнам. То, что недоступно для глаза по своей малости, может быть рассмотрено в совокупности; слишком уж громадное — в своих единичных частях. Та же мысль служит ключом и для его Богословия: «Человек есть некоторый род невыразимо малого неба; он имеет отношение к миру духов и к небу. Каждая частная мысль человека, каждое чувство, даже самая крошечная часть чувства, есть уже его изображение и подобие. Достаточно одной самой простой мысли для постижения духа».

Отважный гений Сведенборга сделал последний шаг: он возмечтал, что может овладеть наукою из наук, — постигнуть и объяснить значение мира. Уже в одном примечании к тому «Животного Царства» он сказал: «В нашем изложении о Знаменательности и о Соотношениях мы поговорим о символическом и типическом сходстве и о дивных вещах, совершающихся не только в живых телах, но повсеместно в природе, и до того соответствующих порядку высшему, духовному, что можно присягнуть, что мир физический есть только символ мира духовного. Мы докажем это тем, что, выразив какой-нибудь закон физически, переведем его термины на соответствующие им отвлеченные выражения и, посредством одного этого способа, выйдет, что мы изрекли богословский догмат или духовную истину вместо устава или закона материальной природы; хотя нельзя подозревать сначала, чтобы через буквальную перестановку слов могло произойти что-нибудь подобное между двумя законами, из которых каждый, взятый отдельно, по-видимому, не имеет никакого отношения к другому. Надеюсь впоследствии представить множество примеров подобных соотношений вместе со словарем, содержащим название духовных предметов, которое может заменять название предметов физических. Символизм проникает все существующие тела».

Этот факт, изложенный здесь так ясно и так твердо, встречается и в поэзии, и в аллегориях, в баснях и в применении эмблем; он входит в состав каждого языка. Платон, как это видно по его дважды рассеченной линии, в шестой книге «Республики» имел понятие об этом факте. Бэкон находил, что истина разнится от природы, насколько печать отличается от своего оттиска, и привел в пример несколько предложений, взятых из мира физического, с их переводом на нравственное или политическое значение. Бёме и все мистики провозглашают этот закон в сво-

их темных загадочных писаниях. Поэты, по мере своего поэтического дара, употребляют символ; но он знаком им так, как в продолжение веков был знаком магнит — единственно как игрушка. Сведенборг первый дал этому факту отдельное наукообразное положение, потому что этот факт был присущ ему всюду и никогда не бывал ему невидим. Он, как мы уже это объяснили, стоит в связи с учением Сведенборга о тождественности или повторяемости, потому что умственные прогрессии в точности соответствуют прогрессиям мира материального. Но нужно было иметь большую проницательность, чтобы расположить такие вещи по порядку и по прогрессии; или, говоря по-другому, нужна была такая прямота положения для того, чтобы основная точка зрения была так правильно установлена на самую ось мироздания.

Да, в течение пяти или шести тысячелетий земля вскармливала род человеческий; он дошел до наук, до философии, до религии, и между тем, никому не удалось разглядеть соответственности значений между каждой частью одной и каждой частью другой стороны. И до сего часа ни одна книга в какой бы то ни было литературе не истолковала научным образом символизма предметов. Но можно положительно утверждать, что лишь только люди получили бы малейший намек на то, что каждый чувственный предмет: скала, животное, река, воздух, самое время и пространство — существуют не ради себя, даже не ради какой бы то ни было окончательной материальной цели, но как живописательная речь, гласящая иное сказание о существах и об обязанностях, — тогда все другие науки были бы отложены в сторону, и одна эта многообетная наука заняла бы все наши способности для того, чтобы каждый человек допытывался значения всего видимого и спрашивал: почему сам я, с моими печалями и радостями, со всех сторон замкнут небосклоном именно в этой среде? Почему слышится мне тот же смысл в бесчисленно разнооб-

разных голосах? Зачем приходится мне читать один и тот же, но нигде вполне невыраженный факт на бесконечно живописательном языке? Как бы то ни было, оттого ли, что таких вещей не передать ни умом, ни наукою; оттого ли, что много и много веков должны быть употреблены на то, чтобы произвести и выработать редкий и роскошный дух, для подобного назначения, — но нет кометы, слоя скалы, ископаемого, рыбы, четвероногого, поросли, которые не заняли бы специально многих ученых и комментаторов гораздо более, нежели значение и верховная цель всего мироздания.

Сведенборг не довольствовался кухонною пользою земли. На пятьдесят четвертом году его жизни им сильно овладели подобные мысли, и его глубокий и обширный ум поддался опасному убеждению — нередкому в истории верований, — что ему даровано преимущество беседовать с духами и с ангелами и что его предназначение состоит именно в обязанности истолковать нравственное значение мира, подлежащего нашим чувствам. К весьма основательному и вместе тонкому и широкому воззрению на гармонию в природе он присоединял понимание нравственных законов в их пространнейших и всеобъемлющих видах; но, вероятно, по какой-то чрезмерной склонности своего организма к образности, он видел все не в отвлеченном смысле, но в картинах; слышал в разговорах, пересказывал как о событиях. Всякий раз, когда он покушался возвестить закон самым разумным образом, что-то принуждало его перелагать этот закон в притчу, в иносказание.

Новейшая психология не представляет ни одного подобного примера нарушенного равновесия. Главные его способности продолжали действовать совершенно нормально, и читатель, который отдаст должную часть снисхождения странностям вещателя, найдет в его вещаниях много поучительного и много поразительных удостоверений в величии законов,

провозглашаемых им; а это важнее всего того, что может предложить нам хорошо уравновешенная глупость. Сам он, стараясь описать *характер* своего необыкновенного состояния, говорит, что присутствие его в духовном мире сопряжено с некоторым отлучением, но только «мыслительной способности ума, а отнюдь не воли», и он утверждает, что «видит внутренним оком предметы того мира гораздое яснее, чем те, которые находятся на здешнем свете».

Приняв за убеждение, что некоторые книги Св. Писания суть настоящие аллегории или что они написаны в состоянии вдохновенном, сверхчеловеческом, он посвятил остальные годы своей жизни на высвобождение духовного, вселенского их смысла из буквального. Он заимствовал от Платона прелестный вымысел «о весьма древнем народе, о людях лучше нас, живших ближе к богам»; Сведенборг прибавил, что «они пользовались землею символически и при виде вещественных предметов не думали о них, а только о том, что они изображают». Вследствие этого он занялся розысками отношений между предметом и его значением. «Даже органическая форма соответствует цели, к которой она предназначена». «Человек, в общности или в частности, есть организованная справедливость или несправедливость, себялюбие или самоотвержение». Причина, по которой все отдельные предметы на земле и на небе служат знаменованием, происходит от того, что они существуют влиянием на них Господа», — говорит он в Arcana.

Мысль отыскать отношение всего созданного к Создателю, такая мысль, достойно осуществленная, была бы поэмою мира, в которой вся история, все науки разыгрывали бы приличествующую им роль; эта мысль, по несчастию, была искажена и сужена направлением исключительно богословским, которому он поддался в своих изысканиях. Его воззрения на мироздание и не человечны, и не всемирны: они исполнены мистицизма и гебраизма. Он подчиняет

каждый предмет видимой природы теологическому толкованию. Конь означает плотскую смышленость; луна — веру; кошка значит то, страус другое, артишок третье, и жалко гнет он каждый символ для придания ему церковного смысла. Нет, нелегко поймать скользкого Протея! В природе каждый отдельный символ играет бесчисленные роли, и, наоборот — всякий атом вещества проникает во все прочие отделы творения. Вследствие центральной тождественности каждый символ одарен возможностью выражать все качества и все несовершенства живого существа. Природа скоро мстит каждому педанту, посягающему наложить оковы на ее волны. Она не литератор. Одно вдохновение может уловить ее подчас, и нам нужно быть на вершине наших сил и способностей, чтобы хоть что-нибудь понять в ней так, как следует. Эта неуместная богословская наклонность роковым образом понизила его изъяснение природы, и словарь символов еще надлежит записать. Но истолкователь, еще ожидаемый человечеством, не найдет предшественника, стоявшего к истинной разгадке ближе Свенденборга.

На заглавных листах своих творений Сведенборг называет себя *«Рабом Господа Иисуса Христа»,* по силе же своего ума и влияния он может быть назван великим богословом, и преемник ему найдется не так скоро. Неудивительно, что глубина нравственной мудрости доставляет ему влияние законоучителя. Его религия владычествует над мыслью и находит себе повсеместное приложение. Он представляет вам ее со всех сторон; одушевляет в каждое мгновение жизни, дает цену и смысл каждому событию. Здесь преподается ему учение, сопровождающее его и во сне, и в бодрствовании; показывающее ему при всяком помысле, из какого отдаленного истока наше мышление ведет свое начало.

Оно указывает ему в обществе, по какому сродству он примыкает к единомышленникам и каким — к

противникам; оно подводит его к предметам, находящимся в природе, и знакомит с их происхождением и значением: какие из них дружелюбны и какие пагубны; наконец, оно отверзает ему мир будущий, удостоверяя его в продолжение тех же самых законов. Все читатели Сведенборга свидетельствуют, что дух их мужает от изучения его книг.

Чрезвычайно, однако, трудна задача критического обзора его богословских сочинений: неоспоримое их достоинство вселяет глубокое почтение, и, между тем, невозможно обойтись без серьезных оговорок. Их безмерное, песчаное изобилие похоже на саванны и пустыни, тогда как несообразности напоминают горячечный бред. Он излишне многословен в своих толкованиях; и его понятие о людском невежестве странно преувеличено. Люди, напротив, очень скоро схватывают истины подобного рода. Но как он богат доводами, какой великолепный изыскатель всего того, что нам так нужно знать! Мысль его пребывает на сходстве самой сущности вещей; он видит его в их началах и в их отправлениях, а не в наружном их устройстве. Этот метод и порядок его изложения истин неизменен. Он постоянно проводит свои заключения от внутреннего к внешнему. И во всем какая важность, какая вескость! Его глаз никогда не блуждает: в нем нет ни искры тщеславия, ни малейшего обращения на самого себя, по какому бы ни было движению авторского самолюбия! Пускай он теоретик, пускай умозритель, но ни одному практическому человеку во вселенной нейдет принимать насмешливый вид по отношению к нему. В сравнении с ним Платон — просто академик: его мантия, хотя из пурпурной, хоть из эфирной ткани своими широкими складками, все же мешает свободе его движений. Но этот мистик величествен даже для Кесаря, и сам Ликург преклонился бы пред ним.

Сведенборг, одаренный высокою нравственною прозорливостью, Сведенборг, исправитель обще-

принятых заблуждений, провозвестник законов чистой этики, изъят от всякого сравнения с каким бы то ни было писателем новых времен. Ему по праву принадлежит место, не занятое в продолжение многих веков, среди законодателей человечества. Медленное, но властительное влияние, приобретенное им, как и другими гениями религии, должно быть также чрезмерно и иметь свой прилив и отлив, пока оно не установится на постоянном уровне. И конечно, все, что есть в нем существенного и всемирного, не будет ограничено кружком людей, вполне сочувствующих его гению, но перейдет во всеобщее достояние мудрого и праведного образа мыслей. Мир имеет непогрешительную лабораторию: с ее помощью он извлекает все, что есть превосходного в его детях, и отметает немощное и ограниченное самых возвышенных умов.

Метампсихоза, общепринятая в древней греческой мифологии, собранной Овидием, и в переселении душ Индусов, у которых она является *объективно* и действительно свершается в телах вследствие испорченной воли, — метампсихоза принимает у Сведенборга высокофилософический характер. Она *субъективна* и вполне зависит от образа мыслей человека. Все в мире само собою принимает различный вид, согласно с преобладающими наклонностями каждого. Каковы чувства и мысли, таков и человек; каков он, такими и кажутся ему предметы. Человек становится человеком по доброкачественности своих хотений, а не по качеству своего знания и смышленности: «Все, на что ни взглянут ангелы, становится ангельским. Каждый Сатана кажется для самого себя человеком; для духов, таких же падших, как сам он, — даже очень порядочным человеком; для душ же очищенных, он — куча падалицы».

И вот мы вступаем в мир настоящей поэмы в действии. Противоборство постановлениям исчезает; всюду притяжение: родное ищет сродного. Земные

браки расторгнуты. Одно внутреннее сходство соединяет в мире духовном. Каждый сам себе созидает и обитель, и положение. То, что мы называем поэтической справедливостью, свершается во мгновение ока. Духи терзаются страхом смерти и никак не могут припомнить, что они уже умерли. Те, кто были злы и коварны, боятся всех прочих. Не исполнившие дел милосердия и сострадания блуждают и носятся взад и вперед; собеседники, к которым они приближаются, понимают их свойства и отгоняют их прочь. Корыстолюбцам мнится, что они живут в подвалах, где зарыты их сокровища, и что их поедает моль.

У Сведенборга множество золотых изречений, которые с необыкновенною красотою выражают этические законы: «Ангелы на небе беспрерывно приближаются к весенней поре своей юности, так что самый старший из них кажется самым младшим». «Чем более ангелов, тем более простору». «Совершенство человека состоит в желании приносить пользу и добро». «Цель возвышается по мере понижения материальной природы». «Человек, в совершенстве своего образа, — это небо». «По звуку голоса ангелы распознают любовь человека; по произношению звуков — его мудрость; по смыслу слов — его знание».

В *«Супружеской Любви»* Сведенборг изложил учение о браке. Про эту книгу можно сказать, что, несмотря на самые возвышенные элементы, она не достигла успеха. Он приблизился ею к «Гимну о Любви», которой Платон коснулся в своем *«Банкете»*, — к той любви, которую провозгласил Данте, которую воспел Казелла как одного из ангелов Эдема и которая, если бы она была достойно восхвалена и в своих началах, и в своей плодотворности, и в красоте своих действий, вполне могла бы привести в восторг все души, явясь как родоначальницей всякого благоустройства в обычаях и в нравах. Это была бы великая книга, если бы гебраизм был отложен в сторону, и закон ее утвержден, без готики, на одной этике, с

произвольным стремлением к возвышению, требуемом самою сущностью предмета.

Но у него прекрасно развито платоническое понятие о браке, поучающее, что пол повсеместен, что мужественность выражается в каждом действии, органе, помысле мужчины, равно как и женственность в женщине. Следовательно, в действительности или в мире духовном брачный союз беспрерывен, полон, совершенен, и целомудрие не есть местная, но всеобъемлющая добродетель. Отсутствие целомудрия обнаруживается в каждом поступке: в торге и в разговоре, в земледелии и в философствовании точно так же, как и в браке. И Сведенборг видел, что хотя на небе девы прекрасны, но жены несравненно прекраснее, и красота их возрастает более и более.

По своему обычаю, Сведенборг сжал, однако, свою теорию в форму временную. Он преувеличивает случайное обстоятельство брака, и хотя находит на земле несовместные супружества, воображает более мудрые выборы на небе. Но в душах прогрессивных всякая любовь и дружба преходящи. *Любишь ли ты меня?* — значит: видишь ли ты ту же истину? Если да, — мы счастливы одинаковым счастием. Но вот один из нас доходит до умозрения новой истины, — мы расходимся, и никакие силы в мире не могут удержать тогда одного возле другого. О, знаю я, как сладостна эта чаша любви: ты живешь для меня, я — для тебя! Но это не что иное, как ребяческое пристрастие к игрушке, как попытка увековечить домашний очаг и свадебную горницу; желание не выпустить из рук детскую азбуку, которую мы выучили шутя. Эдем Господень подавляет своим величием и обширностью; он кажется нам холоден и суров, как пустынная окрестность, наводящая на нас оторопь, когда мы греемся вечерком у пылающих угольев камина; но мы снова пускаемся в путь, и нам кажутся жалки те, кто лишает себя великолепия природы для карт и для свечного освещения.

Может быть, настоящая сущность *«Супружеской Любви»* заключается в *«Беседе»,* где все положения глубоко обдуманы. Они, однако, оказываются несостоятельными в буквальном применении к браку, потому что Небо не есть сочетание двух, но общение всех душ, и Господь — верховный жених и невеста души. Мы же встретимся, пробудем минуту друг с другом в храме одной мысли и расстанемся, как бы не расставаясь, чтобы приобщиться к другой мысли, с другими соучастниками блаженства. Итак, не только нет ничего божественного в плохом и особняющем смысле того вопроса *«Любишь ли ты меня?»*, но я, напротив, тогда лишь захочу сблизиться и стать рядом с вами, когда вы покидаете и лишаетесь меня, чтобы предаться чувству, которое выше вас и меня; но я отвергнут, когда, устремив глаза на меня, вы еще жаждете любви. Фактически, в духовном мире, мы ежеминутно меняем пол. Вы любите во мне достойнейшего из двух — я ваш муж; не я, однако, а мои качества решают нашу любовь; но что за капля эти качества в сравнении с океаном достоинств, которые превосходят мои! Тем временем я обожаю высшие достоинства в другом и становлюсь в отношении к нему женою. Он стремится к еще высшим доблестям другого духа, следовательно, он его жена или восприемник его влияния.

От преувеличенного ли наблюдения за собою или по отвращению к греху, Сведенборг впал в мнительность, эту особенную немощь излишней совестливости. Я ссылаюсь на его презрение к мышлению и на отделение добра от знания: «Рассуждать о вере — значит сомневаться и отрицать, — говорит он, и это щепетильное мнение повторяется беспрестанно. Такие избитые фразы внушают нам грустную мысль, что в этом-то и скрывался корень его болезненного состояния, что этим-то он и поплатился, может быть, за перелом, произошедший в его способностях. Успешная или удачная гениальность зависит, по-види-

мому, от счастливого согласования ума и сердца; от надлежащей пропорции, которую трудно определить между нравственными и умственными силами. Но слишком переполненную чашу трудно нести, и этот человек, щедро одаренный и умом, и сердцем, скоро впал в разлад с самим собою. В своем «*Животном Царстве*» он провозгласил, что предпочитает анализ синтезу, и вдруг, прожив более пятидесяти лет, он начинает презирать разум, и хотя сознает, что ни истина, ни добро не могут быть объединены, но оба должны сочетаться и слиться, он принимается ратовать против своего рассудка; в силу этого становится на сторону одной совестливости и на каждом шагу изрекает на разум хулу и клевету. Насильственное расторжение отмщается немедленно. Красота теряет свою прелесть, любовь — любезность, когда отрицаешь целую половинную часть неба — истину. Сведенборг мудр, но он остается мудр наперекор себе. Есть что-то бесконечно печальное в этой подложной вселенной, в ней всюду и отовсюду слышатся вопли. На месте провозвестника воссел вампир, и с мрачною ненасытностью он не отводит глаз от образов мук. Новый ад и новая преисподняя, одно отвратительнее другого, вмещают то те, то другие толпы законопреступников.

Сведенборг нисходил туда по столбу, казавшимся из ярой меди, но его образовали небесные духи, заботящиеся, чтобы он невредимо посетил обитель злополучных и был свидетелем их мук. Там долго и долго слушал он их стенания; видел их мучителей, увеличивающих и усиливающих все казни до бесконечности. Он видел ад обманщиков, ад смертоубийц, ад сластолюбцев, ад льстецов, преисподнюю коварных и даже сточные ямы преисподних...

С его книгами должно обходиться осторожно. Опасно изваивать эти мимолетные представления мысли. Истинные в своей призрачности, они становятся лживы в определенном виде. Мудрый народ

греческий имел обыкновением для довершения воспитания принимать самых даровитых и нравственных юношей в участники Элевзинских таинств. Постепенно и с большою торжественностью вводили их в святилище, где высшие истины, вверенные древней мудрости, были им преподаваемы. Молодой человек ума пылкого и созерцательного может, лет в восемнадцать или в двадцать, прочесть творения Сведенборга — эти таинства любви и совести — и потом отложить их навеки. Подобные мечты посещают все пламенные головы в ту пору, когда мысль о рае и об аде впервые поражает их. Но такие картины должны считаться чисто мистическими, то есть случайным и произвольным изображением истины, но не самою истиною. Каждый другой символ будет одинаково годен: в таком случае на них можно глядеть без опасения.

Сведенборгова система мира лишена центрального могущества внезапности; она основана у него на динамике, не на силе жизни, не на могуществе порождать жизнь. В ней нет ни индивидуума, ни его свободной воли. Его вселенная — какой-то огромный кристалл, где все идет в ненарушимом порядке, но холодно, молчаливо, мертво; она сама будто окована магнетическим сном и бесстрастно отражает волю магнетизера. Каждая мысль проникает в каждый отдельный ум вследствие влияния общества духов, его окружающих. Эти заимствуют влияние от духов высших, и так далее. Все его типы означают одни и те же малочисленные предметы: все лица ведут одну речь, и все разговаривающие сведенборгствуют. Будь они кто им угодно, в конце концов, они все придутся под его стать: и король Георг II, и Магомет, и сам Цицерон. Куда девался его Рим, его красноречие? Он тот же богословствующий Сведенборг. От недостатка индивидуализма бесцветны его ад и небо. В них нет этих тысячеобразных людских отношений. Нет того участия, естественно возбуждающегося в них к тому или другому человеку, потому что он отчасти

прав в своем проступке, отчасти виноват в своей правоте; потому что он не подходит ни под какую классификацию, ни под какое догматизирование, — так много законностей, случайностей, возможностей, будущностей должно принимать в соображение; потому что иногда порок придает ему силу, а добродетель отнимает ее, вследствие чего он делается понятен и доступен своего рода сочувствию. Этот недостаток отзывается даже и на средоточии всей его системы. Вмешательство «Господа» упоминается на каждой строке как имя, но нигде не постигаешь Бога Живого. Нет блеска в этом оке, которое призирает из своего центра и должно бы одушевлять неизмеримую зависимость своих созданий.

Погрешность духа творений Сведенборга состоит в богословской ограниченности. Всюду с ним мы стоим в Церкви: нигде не проявляется необъятность всеподательной и всеобъемлющей премудрости. И он, и Бёме впали в заблуждение от излишнего пристрастия к символам христианства, мало радея притом о духе его нравственности, который заключает в своих недрах несметности человечеств, христианств, божественностей.

Гений Сведенборга, обширнейший из всех дарованных душам нового времени в этой области дум, истощил сам себя в усилии сохранить и воскресить то, что уже достигло своего окончательного естественного предела. Некоторые вековые, величественные образы утратили свое преобладание над мыслью и способом выражений западных богопочитателей; но чрезмерность того влияния обозначается у Сведенборга в нескладной подражательности иноземному витийству. «Что мне за дело, — может сказать читатель, — до сапфира и до топаза, до яшмы и до сардоника, до кивота и до кущей, до прокаженных и до смарагдов, до огненных колесниц, до драконов рогатых и венчанных, до бегемота и до единорога? Это хорошо для жителей востока, а не для меня. И чем

более вы запасаетесь ученостью для истолкования мне всего этого, тем более выказывается ваша дерзость. Чем обдуманнее и сплошнее ваша система, тем менее она мне по сердцу». Еврейская муза, наставившая людей в познании добра и зла, возымела и над ним, как и над народами, свое преувеличенное влияние. Такою судорогою сведены все его догматы. Его главное нравственное предписание — избегать зла наравне с грехом; но он не объясняет, в чем состоит зло, в чем добро. Человек может бояться лихорадки, смерти и проч. Докажите ему, что эта боязнь, как и боязнь самого ада, есть уже *зло*. Докажите ему с другой стороны, что по одной любви к добру, по одному почтению к достопочтенному он уже становится сопричастен Ангелам и пребывает в Боге. Чем менее мы имеем дела с грехом, тем лучше. Никто из нас не достаточно богат для того, чтобы расточать жизнь на сокрушения о грехах.

Другой его догмат, который становится пагубен по своей ограниченности, заключается в его *«Inferno»*. У Сведенборга есть дьяволы. Утверждать, что Зло может существовать самостоятельно, есть крайний предел безверия. Это атеизм, это окончательное святотатство. Ничто в разумном существе не может его себе усвоить. Зло, по мнению древних, есть развивающееся добро. И справедливо сказал Эврипид:

Добро и бытие — одно в богах бессмертных;
Приписывать им зло, их значит отрицать.

До какого бедственного извращения достигло готическое богословие, что и сам Сведенборг возомнил, будто для падших душ обращение невозможно! О нет! Божественное усилие никогда не ослабевает: самая гниль, истлевающая на солнце, превращается со временем в зелень и цветы; а человек, — будь он в узах, в темнице, на виселице, — все же находится на пути к истине и к добру. Все поверхностно и все пре-

ходяще, кроме истины и любви. Самое обширное всегда бывает самым истинным понятием, самым истинным чувством, и мы с отрадою повторяем великодушные слова индийского Вишну: «Вызывает деятельность тот долг, который не налагает на нас цепей; то знание, которое способствует нашему высвобождению. Все же прочие обязанности суть блага, переходящие в истомление».

В том же духе услышали мы весть, что прозорливец достигнул в своих странствиях и неба. Но в его небе нет красоты; оно похоже *fête champêtre,* на евангелический пикник, на раздачу наград добродетельным поселянам во Франции; его ангелы не дают нам высокого понятия о своем развитии и образовании: они очень напоминают деревенских пасторов. Откровения его о духовном мире имеют такое же отношение к неизмеримости наслаждений истиною, — о которой человеческая душа отчасти уже здесь имеет предчувствие, — какое дурной сон имеет к идеальной жизни. Я не понимаю его языка, когда он возносится в горнее. Его откровения лишаются всякого вероятия от многочисленности подробностей. Человеку не нужно рассказывать мне, что он прогуливался среди ангелов; достаточным удостоверением послужит мне то, если его красноречие сделает из меня ангела. Неужели архангелы менее величественны, менее увлекательны, чем те существа, которые еще и теперь ступают по земле! Эта странная, схоластическая, дидактическая, бескровная, бесстрастная личность описывает вам разряды душ, как ботаник классифицирует растения, и обозревает мучительные ады, как пласты известняка или кремнезема. В нем нет сочувствия. Он ходит взад и вперед, среди мира существ, каким-то новым Радамантом, — в парике, с палкою с золотым набалдашником — и с видом небрежности и произвола распределяет души. Пылкое, многообуреваемое, страстное народонаселение земли — для него грамматика иероглифов или эмблема-

тические постановления массонов. Как отличен от него Якоб Бёме! Этот трепещет от волнения; внимает, объятый благоговением, исполненный нежнейшего человеколюбия, поучением Наставника; он передает их нам, и сердце у него бьется так сильно, что его стук о кожаный кафтан вещателя слышен нам через даль столетий. Между ними разница велика. Бёме бодро и прекрасно мудр, несмотря на мистическую узость и непонятность. Сведенборг — неприятно мудр; со всеми своими разнообразными дарами он отталкивает, он холодит нас.

Лучший признак возвышенной природы — открывать нам перспективы, как ширь сельского пейзажа, заманивающая нас весенним утром все вдаль и вперед. Сведенборг постоянно смотрит назад и не расстается со своим саваном и заступом. Есть люди, которым что-то препятствует низойти в природу; есть другие, которые лишены способности подняться над нею. Так, одаренный силою многих людей, Сведенборг никогда не мог развязать узел, привязывавший его к вещественному, и стать на пьедестал свободного гения.

Замечательно, что человек, усмотревший символизм и через него провидевший поэзию мироздания и тайную связь материи и духа, остался вполне лишен всякого поэтического выражения, которое должно бы быть вызвано подобными провидениями. Зная грамматику и правила родного языка, как не переложить на музыку ни одного звука! Было ли с ним то же, что с Саади, который, в своем видении, набрал множество небесных цветов в подарок друзьям, но благоухание роз так его упоило, что они повыпадали из рук? Узнавать, не есть ли нарушение условий с теми небесными обитателями или его видения были чисто умственные, и потому внушили ему ко всему умственному тот ужас, что пронизал все его книги? Какова бы ни была причина, но в его книгах нет сладкозвучия, трогательности, живости; нет отдыха на их мертво-прозаичес-

ком уровне. В тоскливой безнадежности блуждаем мы по этим вертоградам, лишенным света и блеска. Никогда песнь птицы не прозвучит в их мертвящей сени. Совершенное отсутствие поэзии в таком высоком уме дает намек о болезни, как охриплый голос красавицы есть своего рода предостережение. Мне иногда кажется, что его перестанут читать, что творения его обратились в памятник, а славное имя в эпитафию. Так перемешаны его лавры с кипарисами и фимиам храма с запахом тления, что юноши и девы будут обегать эту ограду.

Тайна неба остается сокровенною от века и до века. Ни один легкомысленный, ни один сообщительный Ангел никогда не проронил даже одного слова в ответ на томительные желания святых, на страх, обуревающий смертных. На коленях приняли бы мы избранника, который, не нарушая долга повиновения, поведал бы человеческому уху о состоянии, о местопребывании новопреставленной души, о ее видениях, подтвердил бы своим словом прочувствия и провидения, которые уже мы имеем о небе. Достоверно то, что оно должно быть в связи со всем наилучшим в природе. Оно не должно быть, по своему духу, ниже известных уже нам творений того архихудожника, который изваял миры на тверди небесной и начертал нравственный статут. Оно должно быть свежее радуги, величественнее гор; оно должно гармонировать с цветами, с волною, с восходом и закатом осенних светил. Самые сладкогласные поэты показались бы хриплы как уличный шарманщик, если б когда-нибудь прозвучала та нота природы и духа, на которую настроено и движение земли, и движение морей, и движение сердца; та нота, под звук которой вращается и сок в растениях, и кровь в наших жилах, и солнце в небе.

Не забудем, впрочем, что Сведенборг заклал свою гениальность и свою славу на алтаре совести; такое высокое самоотвержение превосходит всякую хвалу.

Его жизнь, имея цель и смысл, сама говорит за себя. Он произнес решение и остановил свой выбор на добре, как на единственной нити, за которую душа должна держаться во всех лабиринтах этой жизни. Множество мнений препираются о том, где искать истинный центр опоры. Как в кораблекрушении, один хватается за ускользающие снасти, другой за бочонок, за доску, за мачту; кормчий же выбирает себе место со знанием дела: я остаюсь здесь, все потонет прежде этого, «плывущий со мною — достигнет берега!» Так и вы не надейтесь на небесное милосердие, на его снисходительность к вашему безумию или на свою осторожность и благоразумие — старый обычай и главный оплот у людей — ничто не пособит вам: ни судьба, ни здоровье, ни дивный ум; ничто, кроме безукоризненной правоты, во всем и всегда! И со стойкостью, никогда не ослабевавшею ни при занятиях, ни в изобретениях, ни в грезах, Сведенборг отдался этому мужественному выбору.

Он оказал человечеству двойную услугу, которая начинает теперь приходить в известность. С первых шагов на поприще науки он открыл, опытами и практикой, многие законы природы и передал их нам. Потом, восходя с должною постепенностью от фактов к их началам и к их вершинам, он воспламенился благоговением, прочувствовав полноту гармонии, и предал всего себя восторгу и обожанию. Это — первая его заслуга. Если сияние слишком ослепило его глаза, если он пошатнулся, упоенный восхитительным созерцанием, тем достовернее должно заключить о превосходстве того зрелища, о действительности того бытия, которое горит и сверкает сквозь него так, что немощность прорицателя не возмогла его потемнить. Вот вторая страдательная его заслуга пред человечеством. Быть может, в великом обводе бытия и она не маловажнее предыдущей, а в отношении распределения духовных даров не менее прекрасна и славна для него самого.

МОНТЕНЬ, ИЛИ СКЕПТИК

Каждый факт подлежит, с одной стороны, нашим внешним чувствам, с другой — нравственному обсуждению. Упражнение мысли состоит, при появлении одной из двух сторон, отыскать другую: подставлена верхняя, найдите нижнюю. Нет ничего столь малого, что бы не имело этих обеих сторон, и наблюдатель, оглядев лицевую, оборачивает ее, чтобы посмотреть изнанку. Жизнь устраивает эту игру в орлянку, а мы не устаем играть, всегда чувствуя легкий трепет удивления при виде оборотной стороны, противоположной первой! Счастие льется на человека, а он раздумывает: что бы это значило? Он выталкивает на улицу торгашей, но оказывается, что сам он продан и куплен. Он видит в человеческом лице красоту и ищет ее причину, которая должна быть еще прекраснее. Он заботится о своем состоянии, соблюдает законы, с любовью относится к своим детям и между тем спрашивает себя: почему? и зачем? Эти *орел и решка* на языке философском называются Бесконечное и Конечное, Абсолютное и Относительное, Существенное и Наружное и многими другими хорошими именами.

Всякий человек родится с бóльшею наклонностью к той иди другой стороне этой природы вещей и естественно прилепляется к одной из двух. Иные усматривают различие; они занимаются фактами и поверностью, городами и лицами; управляют некоторыми внешними событиями: это люди умения и деятельности. Другие провидят тождественность: это люди веры, мышления, люди гениальные.

Всякое стремление слишком тяготеет к своему направлению. Плотин верил только в философов, Фенелон в святых, Пиндар и Байрон в поэтов. Прочтите высокомерные отзывы Платона и платонистов о людях, неспособных к их блестящим отвлеченностям: по их мнению, это крысы, это мыши. Класс мыслителей и писателей вообще кичлив и исключителен. Это понятно. Гений уже гениален при первом взгляде, брошенном на что бы то ни было. У него глаз творческий. Он не останавливается на линиях и на красках; он видит весь план — и не дает высокой цены исполнению задуманного. В минуты всей мощи своей мысли творения искусства и природы преложились пред ним в свои начала, и потому их произведения кажутся ему тяжелыми, недостаточными. Он носит в себе прообраз такой красоты, какой не осуществит ни один ваятель, ни один живописец. В художественной мысли картина, здание, паровая машина, самое Богослужение, государственное устройство, образ воспитания, общественная жизнь и все учреждения предсуществуют без погрешностей, без распада, без столкновений, искажающих осуществленные образы. Так не удивительно, если такие люди, припоминая то, что они провидели и на что в идеале надеялись, надменно отдают преимущество идеям. Убежденные по временам, что торжествующая душа возобладает всеми искусствами, они говорят: «К чему утруждать себя ничтожным выполнением!» — и как нищий, обвороженный сновидением, они говорят и действуют так, как будто эти сокровища уже были их собственностью.

С другой стороны, люди ремесла, труда, наслаждений — мир животный, включая животное и в поэте, и в философе, — и мир практический, включая обидную мелочность, неизвинительную ни в поэте, ни в философе и ни в ком вообще — сильно напирают на противоположную сторону. Торговцы на наших улицах мало заботятся об отвлеченностях и не

помышляют о причинах, произведших и торговлю, и планету, на которой водится купля и продажа: они прикреплены к сахару, к соли, к хлопку, к шерсти. Людям практическим, погруженным в свои хлопоты, человек мысли кажется спятившим с ума. Они одни благоразумны.

Спенс рассказывает, что у сэра Годфри Неллера сидел Попе, когда к нему приехал племянник, торгующий неграми. — «Племянник, — сказал сэр Годфри, — ты имеешь честь видеть двух величайших людей в мире». — «Не знаю, почему вы великие люди, — отвечал гвинеец, — но вы мне не нравитесь на вид. Мне иногда случалось покупать за десять гиней человека, гораздо покрасивее обоих вас: и что за кость, что за мускулы!» — Так человек здрáвого смысла отмщает людям знания и мысли. Один поторопился еще ничем не оправданным заключением и преувеличил истину; другой издевается над философом и весит его на фунты. Собратья его верят, что горчица щиплет язык, перец горячит, серные спички могут причинить пожар, револьверы — опасная штука, подтяжки держат панталоны, что в цибике чая пропасть чувства и что всякий будет красноречив, когда его попотчуешь добрым вином. Если вы чувствительны и нежны, они заключат, что вы питаетесь одними сладкими пирожками. Кабанис сказал же: «Нервы — вот весь человек».

Такой образ мыслей неудобен потому, что он приводит к равнодушию, потом к отвращению. В наши дни жизнь пожирает нас. На нас, на теперешних, надобно смотреть как на что-то баснословное: «Не тревожьтесь: через сто лет все придет к одному знаменателю! Жизнь — вещь недурная, да хорошо бы от нее отделаться, да и они бы рады отделаться от нас. К чему же волноваться, изнемогать над трудом? Вкусная хлеб-соль есть на сегодня и на завтра: надобно довольствоваться этим». «Ах, — говорит тот же вялый оксфордский джентльмен, — нет ничего нового, ничего верного — да и что за дело!»

С прибавкою еще большей горечи взывает циник: наша жизнь похожа на осла, которого ведут на рынок, неся пред ним вязанку сена, — он идет себе, не видя ничего, кроме этого сенного клока. «Столько стоит труда родиться на свет, — говорил лорд Болинброк, — так трудно и недостойно убираться долой со свету, что едва ли стоит труда быть на свете». Я знал философа подобного рода; он обыкновенно подводил краткий итог своей житейской опытности, произнося: «Человечески род — черт знает что такое».

Так как сторонники отвлеченности и материализма взаимно ожесточают друг друга, а глумители служат выражением наихудшего материализма, то образуется третья партия на промежуточном поле тех обеих, а именно скептики. «Скептик находит, что обе не правы по своей чрезмерности. Он ищет, на что упереть ноги, чтобы сделаться стрелкою весов. Он не пойдет далее своей ставки. Видя односторонность уличных тружеников, он хладнокровно защищает выгоды умственного развития и по тому же хладнокровию не поддается ни опрометчивому промышленному предприятию, ни беззаветному самоотвержению, ни истощению своего мозга над неблагодарным трудом: я не вол и не вьючное животное. «Вы держитесь крайностей, — скажет он им обоим. — Вы обманываете себя, заставляя себя видеть во всем вещественность и смотреть на мир как на глыбу свинца. Вы уверились, что утвердились и основались на адаманте; но если откроется малейший научный факт, вы закружитесь, как речные пузыри; вы тоже не знаете, откуда и куда. Вы опираетесь на самообольщение, вы им повиты и вскормлены».

Остережется он и от увлечения книгою или авторитетом: «Класс ученых — добровольные жертвы: они тощи и бледны; их ноги холодны, а голова горит; ночи проходят без сна, дни в боязни помехи: худоба, лохмотья, голод и себялюбие. Подойдите к ним, вглядитесь чем они дышат — отвлеченностями; гре-

зы наполняют их дни и ночи. Они ждут поклонения мира какому-то великолепному их сочинению, основанному на истине, но лишенному соразмерности в изложении, толка в приложении; и сами не имеют ни малейшей силы воли, чтобы дать своей идее тело и жизнь».

Я же просто вижу, — говорит он, — что мне не видно и того и другого. Знаю только, что сила человека не в крайностях, а в избежании крайностей. Я берегусь, по крайней мере, от слабости философствовать о том, что превосходит мое разумение. К чему ведет, например, претензия на способности, которых у нас нет? На уверенность в том, что нам неизвестно? Зачем преувеличивать могущество добродетели? Тщиться быть ангелом прежде времени? Натяните слишком эти струны — они лопнут. Если нет никакого основания на то, чтобы ум простого благоразумного человека мог положительно сказать *да* или *нет*, так не лучше ли повременить с приговором? Я ничего не утверждаю, не отрицаю. Я здесь, чтобы узнать, в чем дело. Я здесь, чтобы обозревать, обсуждать. Постараюсь удержать верность равновесия. Высокомерно мнение, будто жизнь — вещь простая, когда мы знаем, как изворотлив, как неуловим этот Протей! И тщетно возмечтание заключить все существующее в ваш низенький курятник, когда мы знаем, что на свете существует не одна, не две, но десять, двадцать, тысяча вещей, все различных! Почему вы мните, что вся истина состоит под вашим ведением? Опровержения могут найтись со всех сторон.

Кто осудит разумный скептицизм, видя, что здесь на самый простой вопрос едва ли можно получить нечто более приблизительного решения? Окончен ли вопрос о браке доводом, повторяемым от начала мира, что вступившие желают из него выйти, а невступившие желают им связаться? И ответ Сократа тому, кто спрашивал у него, следует ли ему жениться, все еще остается чрезвычайно рассудительным:

«Женишься ли ты, или нет, а все придется каяться». Не говоря о порядках церковных и государственных, которые тоже представляют немаловажные вопросы, обратите внимание на самый близкий для всего человечества: избрание карьеры для молодого человека. Указать ли ему целью высокое место в администрации, в торговле, в законоведении? Самый успех в одной из этих должностей, будет ли он вполне и наилучшим образом соответствовать его внутреннему настроению? Или не отбросить ли ему подпорки, установившие его в таком-то общественном ряду, и пуститься по волнам жизни под руководством одного своего гения? Многое можно сказать в пользу того и другого. Вспомните шумные прения между теперешним порядком, основанном на «совместничестве», и между поборниками «труда привлекательного, основанного на ассоциации». Великодушные умы признают заявление о труде, разделяемом всеми; он один честен, один спасителен: Хижина бедняка — обитель мужества и добродетели. Но, с другой стороны, доказывают, что тяжелая работа искажает формы телосложения, ослабляет умственные способности, что чернорабочие единогласно кричат: «В нас убита мысль!» Образованность? Она необходима. Я не могу вам простить ее недостаток, а между тем, образование уничтожает главную прелесть натуральности. Образуйте дикаря, познакомьте его с книгами; о чем он будет мечтать? О героях Плутарха. Одним словом, такт, как прямое здравомыслие рассудка, состоит «в недозволении неизвестному загораждать известное»; мы приобретаем сподручные нам умственные преимущества и не пускаемся в погоню за призрачным, за недостижимым. Прочь с химерами! Выйдем на чистый воздух, займемся своим делом, станем учиться и домогаться, обладать и идти в гору. «Люди — род движущихся растений; они, как и деревья, получают бо́льшую часть питания от воздуха. Если их долго держать взаперти, они завянут».

Будем жить крепительною, существенною жизнью; будем знать то, что нам достоверно известно; усвоим себе, своевременно и прочно, свое достояние. Станем водиться с настоящими мужчинами, с действительными женщинами, а не с мимолетными привидениями.

Вот законная почва скептицизма: осмотрительность, самообладание – отнюдь не безверие, не универсальное отрицание и не универсальное сомнение, сомневающееся даже в своих сомнениях; менее всего насмешливости и развращенного глумления над утвержденным, над хорошим. Они не в его навыке, как не в навыке религии и философии. Скептик наблюдателен и осторожен; он вовремя распускает парус, ведет счета тратам и запасам, распоряжается возможными средствами, хорошо зная, что у человека слишком много врагов и без него самого, что нам нельзя в полной мере предпринять мер охраны в этой неравной борьбе, где, с одной стороны, силы несметные, неутомимо бодрствующие в своем строю, с другой — маленький, прихотливый, ломкий флюгер, называемый человеком, ежеминутно выскакивающий из одной беды, чтобы попасть в другую. Им выбрана та позиция, которую он может удержать, для наилучшей обороны, для наибольшей безопасности. Она так же разумна и похвальна, как правило при постройке дома не ставить его ни слишком высоко, ни слишком низко: защищенным от ветра и вне пределов грязи.

Нам нужна философия переливчатая, движущаяся. В тех обстоятельствах, в которых находимся мы, уставы Спарты и стоицизма слишком непреклонны и круты; с другой стороны, заветы неизменного, смиренного мягкосердия слишком мечтательны и эфирны. Нам нужна броня из эластичной стали: вместе и гибкая, и несокрушимая. Нам нужен корабль; на валунах, обжитых нами, догматический, четвероугольный дом разобьется в щепы и вдребезги от напора

такого множества разнородных стихий. Нет, наша философия должна быть крепка и приспособлена к форме человека, приспособлена к образу его жизни, как раковина есть архитектурный образец таких жилищ, что покоятся на морях. Душа человека должна служить прообразом нашим философическим планам точно так, как потребности его тела принимаются в соображение при постройке ему жилого дома. Применимость — вот особенность человеческой природы. Мы — драгоценные орудия, вечные обеты, одаренные самоизволением; мы — воздаятельные или периодические заблуждения; мы — дома, основанные на зыби морской. Благоразумный скептик желает поближе присмотреться к искусной игре и к главнейшим игрокам; к тому, что есть наилучшего на планете: искусства и природа, местности и события, по преимуществу — люди. Все превосходное в человечестве — прелесть наружности, железная длань, неистощимо ловкий ум, все, что умеет играть и выигрывать, — должен он видеть и обсудить.

Условия допуска на такое зрелище следующие: уметь — с некоторою твердостью и по удовлетворительным причинам — жить на свой образец; с некоторою последовательностью отвечать на неизбежные требования и недочеты жизни; доказать, что игра ведена умно и успешно, потому что человек проявил ею стойкость, спокойствие духа и прочие качества, сделавшие его достойным уважения и доверенности современников и сограждан. Тайны жизни поведываются только сочувствующему и тождественному. Люди не поверяют их ни мальчишкам, ни франтам, ни педантам, но лишь одним себе равным. Несколько мудрой определительности, как говорится теперь: середина между крайностями, с каким-нибудь положительно добрым качеством; характер твердый и благонадежный — не соль и не сахар, — а достаточно знакомый со светом, чтобы воздать должное и Парижу, и Лондону, вместе с тем достаточно самобыт-

ный, бодрый мыслитель для того, чтобы не города эти сбили его с толку, но он употребил бы их себе на потребу, — вот чем должна обладать личность, способная к умозрению такого рода.

Все эти свойства встречаются в лице Монтеня. Но как мое собственное к нему почтение может быть незаслуженно велико, то я решаюсь под щитом этого царя себялюбцев сказать в свое извинение два-три слова, чтобы объяснить, почему я избрал его представителем скептицизма и как началась и возросла моя любовь к его увлекательной беседе.

Разрозненный единственный томик *«Опытов»,* в переводе Коттона, достался мне из библиотеки отца, когда я был еще ребенком. Он валялся долгие годы, пока я прочел его, по выходе из училища, и достал остальные части. По сих пор помню я удивление и восторг, одушевившие меня при этом знакомстве. Мне казалось, что в какой-то предыдущей жизни я сам написал эту книгу: так искренно отвечала она моим помыслам и опытности. Случилось мне, будучи в Париже, в 1833 году, подойти на кладбище Пер-Лашез — к могиле Огюста Колиньона, умершего шестидесяти восьми лет, в 1830 году. В эпитафии его было сказано: «Он жил для справедливости, и *«Опыты»* Монтеня утвердили в нем добродетель». Несколько лет спустя я познакомился с превосходным английским поэтом, Джоном Стерлингом, и в продолжении нашей переписки он уведомил меня, что из любви к Монтеню совершил странствие в его замок (все еще существующий в Перигоре, близь Кастеллана) и через двести пятьдесят лет скопировал со стен библиотеки надписи, сделанные Монтенем. Не без удовольствия услышал я, что один из вновь открытых автографов Шекспира нашелся на «Опытах» Монтеня, переведенных Флорио. Вот единственная книга, достоверно находившаяся в библиотеке поэта. И странно, дубликат труда Флорио, приобретенный Британским Музеем для охранения автографа Шек-

спира, на своем заглавном листе предъявил собственноручную надпись Бена Джонсона. Байрон находил Монтеня единственным великим писателем прошедшего времени, которого он читал с большим удовольствием. Многие другие сближения, о которых я могу здесь умолчать, сделали старого гасконца навсегда новым и бессмертным для меня.

В 1571 году, по смерти своего отца, Монтень, которому было тогда тридцать восемь лет, оставил свои занятия по части судопроизводства в Бордо и поселился в своем поместье. Хотя он был человек светский и отчасти придворный, он пристрастился теперь к умственным занятиям, и ему полюбилась уверенность, рассчитанность и независимость жизни деревенского дворянина. Он не на шутку принялся за управление своим имением и извлекал из своих ферм всю возможную прибыль. Прямой, откровенный, ненавистник лукавства и в себе, и в других, он был уважаем во всей округе за честность и здравый смысл. Во время междоусобий Лиги, когда каждый дом был обращен в крепость, Монтень отворил свои ворота настежь и держал свой дом без всякой обороны. Все партии имели в нем свободный доступ и выход: так известна, так почтенна была храбрость и честь хозяина. Соседние владельцы и обыватели приносили ему на хранение свои драгоценности и важные бумаги.

Монтень — самый откровенный и самый честный из писателей. Его французская вольность доходит иногда до неблагопристойности, но он опередил всякое порицание своею способностью на самообвинение. Притом в его время книги писались только для одного пола, и большею частью по латыни, так что юмористу было дозволительно говорить о многом напрямик, чего теперь словесность, сделавшаяся достоянием обоих полов, никак не должна допускать. Впрочем, вольности Монтеня оскорбляют поверхностно, и лишь чопорные читатели закроют

его книгу. Он выставляет их напоказ, он исповедуется пред вами, и, конечно, никто не станет о нем так дурно думать и говорить, как он сам о себе. Нет таких пороков, которых бы не было в нем, а если есть какая добродетель, то она, по словам его, пробралась украдкою. Он утверждает, что нет и человека, который бы не стоил виселицы раз пять-шесть в своей жизни, и он не претендует на исключения. «Про меня, как и про всякого живущего смертного, можно порассказать с полдюжины не весьма благовидных историй». Но при всей этой, в самом деле, излишней откровенности, уверенность в его безукоризненной честности растет в мысли каждого читателя.

Ничто так ему не надоедает и не досаждает, как прикрасы и жеманство в каком бы то ни было роде. Он был при дворе достаточно долго для того, чтобы набраться бешеного омерзения к обманчивой наружности; теперь он дозволяет себе и побожиться, и побраниться: потолковать и с матросом, и с цыганкою; прислушаться к уличному остроумию и к простонародной песне. Он засиделся взаперти долго, до тошноты; пустите его на открытый воздух, хотя бы кругом свистали пули и ядра. Он столько насмотрелся на сановитых распорядителей правосудием, что истосковался о людоедах; и ему так опротивела искусственная жизнь, что он дошел до убеждения, что дикарь и варвар — наилучшие из людей.

Ему понравилась избранная им среда: он снискал и установил в ней свое равновесие. Над своим именем он нарисовал эмблему: две чаши весов с надписью *«Que sçais-je?» (Почем мне знать?)*. Смотря на его портрет с заглавного листа, так и кажется, что он говорит: «Вы себе делайте, как знаете: врите, преувеличивайте, выдумывайте, — я стою здесь за правду; и ни за какие блага, ни за какие угрозы, или деньги, или европейские репутации не переиначу голого факта, а скажу о нем как оно есть. По мне, лучше толковать и судить про то, что я знаю наверняка: про мой дом и гумно, про моего

отца, жену и слуг, про мою плешивую старую башку, про мое любимое кушанье и питье и про сотни других таких же пустяков, — чем писать тоненьким вороньим перышком сладенькие романсы. Я люблю серенькие дни, осеннюю и зимнюю погоду. Я сам сед и зимен; мне любо и привольно в халате, в старых башмаках, которые не жмут мне ног, потолковать со старыми беспеременными друзьями о простых материях: они не требуют от меня напряжений, не иссушают моего мозга — это мне по вкусу. Наша человеческая доля и без того скользка и опасна. Понадейся-ка кто на себя и на свою удачу, хоть на один час, глядишь — он тут же и завязнул до смеха и до жалости. Зачем мне франтить и корчить из себя философа, когда ближайшая забота — установить себя как-нибудь покрепче на этом вечно катающемся шаре? По крайней мере, я живу таким образом в должных границах, никогда не упуская из виду деятельность, и в силах перескочить бездну как можно благопристойнее. Если такая жизнь кажется вам комическою, порицание ее касается и меня: отнесите его к порогу Судьбы и Природы».

Вследствие чего *«Опыты»* состоят из занимательных его бесед с самим собою обо всем, что придет ему в голову; с каждым предметом обходясь без церемонии, но с мужественным здравомыслием. Многие смотрели на вещи гораздо глубже его, но никто не имел такого обилия мыслей: он никогда не бывает глуп или неискренен и обладает притом даром заинтересовать читателя всем, чем интересуется сам.

Искренность и внутренняя мощь человека перешла и в его речь. Я никогда, нигде не встречал книги, которая была бы менее сочинена. Это самый естественный разговор, вписанный в книгу. Разрежьте эти слова — из них потечет кровь: в их жилах бьется жизнь. Читать Монтеня так же приятно, как слушать человека о близком для него деле, когда какое-нибудь необычайное обстоятельство придает минутную важность разговору. Ведь кузнецы и кожевники не запи-

наются в своей речи: они, напротив, сыплют ею как градом. Поправки себе делают кембриджские господа: эти начинают сызнова на каждом полуизречении; кроме того, им надобно острить, утончать и потому бегать от предмета за его выражением. Монтень — умный говорун: он знает людей, книги и себя самого; употребляет степень положительную, никогда не кричит, не заверяет, не молит. Он не обмирает, не подвержен корчам; не желает вылезти из кожи, выкинуть какую-нибудь штуку или поглотить время и пространство — он ровен и прочен; смакует каждую минуту жизни; любит и болезни, потому что они дают ему время войти в себя и многое осуществить. Он держится равнины; редко восходит и редко спускается: ему приятно чувствовать под ногами и землю, и камни. В его книге нет восторга, нет порывов; всегда спокойный и с чувством собственного достоинства, он прохаживается по самой середине дороги. Есть одно исключение: его любовь к Сократу. Когда он заговорит о нем, лицо его воспламеняется и речь становится страстною.

Монтень умер шестидесяти лет, от жабы в горле, в 1592 г. Он исполнил перед смертью все обязанности, предписанные церковью. Он женился тридцати трех лет. «Но, — говорит он, — если бы на то была моя воля, я не женился бы на самой Премудрости, когда бы ей захотелось выйти за меня замуж. Впрочем, много стоит труда и хлопот, чтобы отклониться от женитьбы: ее требует и всеобщий обычай, и образ жизни. Большая часть моих поступков сделана по примеру, не по выбору».

Мир усвоил себе книгу Монтеня: она переведена на все языки и перепечатана в Европе семьдесят пять раз; замечательно и то обстоятельство, что она разошлась преимущественно в избранном обществе, между людьми знатными, светскими и между просвещенными и великодушными.

Скажем ли мы, что Монтень изрек слово мудрости, что он выразил истинное и непреходящее состояние человеческого духа и такие же правила для жизни?

Нам естественно верование. Истина, или связь между причиною и следствием, одна вполне для нас занимательна. Мы убеждены, что одна нить проходит через все создание, что на ней нанизаны миры — как ожерелье: с нами касаются люди, события, жизнь, по тому самому, что их держит эта нить: они ходят и переходят для того единственно, чтобы мы узнали направление и протяжение этой линии. Та, книга, тот ум, которые силятся доказать нам, что линии нет, а все один случай да хаос: бедствие — не из-за чего, удача — наугад, что герой родится от дурака, дурак от героя, — повергают нас в уныние. Но — видима она или нет — мы верим, что связь существует. Дарование изобретает искусственные, гений находит связи истинные. Мы внимаем словам ученого по предчувствию непрерывной последовательности в явлениях природы, им изучаемых. Мы любим то, что утверждает, роднит, охраняет, и отвращаемся от разрушительного и истребительного. Явится человек, очевидно, созданный соблюдать и производить; в его присутствии все говорит о благоустроенном обществе, о землепашестве, торговле, обширных учреждениях, о владычестве. Если ничего этого еще нет, то оно возникнет от его усилий. Вот утешитель и опора людей, которые весьма скоро предугадывают в нем все эти свойства. Непокорный и мятежный он, Бог знает, как, будет восставать против существующего беспорядка, но он не расстелет пред вашим рассудком своего плана ни на устройство дома, ни Государства. Так, хотя наш городок, и отчизна, и образ жизни в глазах нашего советчика есть чистый застой и скудость, но люди хорошо сделают, если отойдут от него и отвергнут преобразователя, покамест он приходит с одним топором да молотом.

Но хотя мы по природе держимся за установленное, заповеданное и отвращаемся от пасмурного и тягостного безверия, класс скептиков, представляемый Монтенем, существует не беспричинно, и вся-

кий из нас в некоторое время может быть к нему причислен. Каждый возвышенный ум должен пройти через эту область своей уравновешенности или, лучше сказать, установиться в природе по своему весу и пределу, чтобы найти естественное орудие против преувеличения и обрядности, ханжества и тупоумия.

Скептическое настроение доступно человеку, исследующему те особенные отношения, перед которыми благоговеет общество и которые, как он усматривает, заслуживают поклонения только по своему духу и по возбуждаемому ими стремлению. Место, занимаемое скептиком, есть одно преддверие храма. Общество, конечно, не любит, чтобы малейшее дуновение вопроса повеяло на существующий в нем порядок. Однако опрос обычаев — по всем их отраслям, — положение, необходимое в пору роста каждого возвышенного ума, — это обозначает провидение источников той силы, которая пребывает самотождественною посреди всех изменений.

Возвышенный ум должен выработать себя в равномерный уровень со злоупотреблениями общественными и со способами, предлагаемыми для их искоренения. Разумный скептик, видя себялюбие владельцев и проникая патриотизм людей популярных, будет плохим гражданином: он не пристанет ни к консерваторам, ни к демократам. Он мог бы быть преобразователем, но не наилучшим членом филантропической компании. Обсуждая постановления науки, нравы, он согласен с Кришною в *«Багхавате»*: «нет ничего достойного моей любви или ненависти», из чего явствует, что он не выступит борцом за раба, за узника, за неимущего. В его голову запала мысль, что нашу жизнь в здешнем мире объяснить не так легко, как нас в том поучают на школьных скамейках. Он не желает ни перечить такому добромыслию, ни раздувать сомнение и иронию, затмевающие пред ним свет солнечный. Он только говорит: сомнение возможно.

Мне хочется отпраздновать сегодняшний день именин моего Монтеня, день Св. Михаила, исчислением и описанием сомнений и отрицаний. Мне хочется выманить их из их вертепов на свет солнечный. Мы поступим с ними, как поступает полиция с закоренелыми мошенниками, выставляя их напоказ в тюремной канцелярии. Они не будут такими грозными страшилищами, когда им сделаешь очную ставку и внесешь их в протокол. Но, я честно сознаюсь, что ужас, вселяемый ими, не напрасен. Я не прибегну к воскресным доводам, выражаемым, кажется, для того, чтоб вызывать опровержения. Нет! Я примусь за то, что есть в них наихудшего, еще не зная, я ли одолею предмет, или он меня.

Я не хочу меряться со скептицизмом материалиста. Уверенный, что мнение четвероногих не превозможет, я не забочусь об образе мыслей быков и летучих мышей. Первая опасная примета, вносимая мною в протокол, есть умственное легкомыслие: оно губит уважительное желание увеличить свое знание. Знание состоит в сознании нашего незнания. Как почтенна совестливая рачительность на каждой ступени своего восхождения! Умствование убивает ее. Мой дивный и хитрословный друг и приятель Сан-Карло, этот наипрозорливейший из смертных, нашел даже, что всякий прямой путь ввысь, не исключая и возвышенного благоговения, ведет к ужасной развязке и обращает поклонника вспять, осиротевшим, с пустыми руками.

Как ни поразительно для меня такое открытие Сан-Карло — точно мороз в июле, или пощечина от невесты, — есть нечто горше этого, а именно охлаждение или пресыщение великой души. Когда, возносясь видениями и еще не встав с колен, она скажет: «Наши поклонения, наши стремления к блаженству — отрывочны, безобразны; уйдем-ка на освежение к заподозренному и оклеветанному Уму, к Общепонятному, к Мефистофелю, к гимнастикам дара слова!»

Это — привидение первостатейное; но, хоть оно служило, в нашем девятнадцатом веке, темою для бесчисленных элегий, начиная от Байрона и Гёте до других меньших поэтов — не говоря уже о многих прекрасных отдельных наблюдателях, — я сознаюсь, что оно не слишком пугает мое воображение; мне все кажется, что это относится к сотрясению игрушечного домика, к битью в лавке стеклянной посуды. То, что теперь волнует церковь в Риме, в Англии, в Женеве, в Бостоне, быть может, далеко не касается ни одного начала веры. Мне кажется, что рассудок и нравственное чувство единодушны; что если философия уничтожает пугало, то она заменяет его естественными преградами против порока и указывает душе ее полюс. Мне кажется, чем более в человеке мудрости, тем сильнее он поражен согласием законов природы с нравственным началом и тем беззаветнее предается он спокойной доверенности.

Есть сила в природном расположении, уничтожающая все, что не входит в его собственную ткань фактов и верований. Есть сила темперамента, значительно изменяющая сознательность и наклонности. Иногда верование слагается постепенно, как здание, и когда такой человек достигнет равновесия и законченности, необходимых для приведения в движение всех его способностей, тогда не нужно ему чрезвычайных доказательств: он сам быстро изменит основные убеждения своей жизни. Наша жизнь походит на мартовскую погоду: и ясна, и сурова в один и тот же час. Мы выступаем важные, самоотверженные, верящие в железные оковы судьбы и не сделаем ни шагу для спасения собственной жизни; вдруг книга, бюст, даже один звук имени пробежит искрою по нашим нервам, и мы мгновенно уверуем в силу воли: «Мое кольцо будет печатью Соломона. Рок для глупцов. Все возможно тому, кто решился!» Новый опыт дает новый оборот мыслям; обыденное благоразумие вступает в свое полновластие, и мы говорим: «Всего луч-

ше идти в военную службу: она ведет к достатку, к знаменитости, ставит на вид; и на поверку выходит, что себялюбие и лучше пашет, и лучше торгует, и лучше всюду уживается».

Пускай так! Но мнения человека о зле и о правде, о случае и о провидении могут ли зависеть от прерванного сна или от несварения пищи? Его вера в Бога и в долг ужели не яснее очевидности животных потребностей? Какую же поруку даст он за неизменяемость своих убеждений?

Мне не нравится и опрометчивость французов: что неделя, то новая церковь и новый образ правления. Это — отрицание своего рода, но я не остановлю его, чтоб добраться в нем смысла. Мне кажется, что, обозначая круговращение умов, оно само в себе заключает врачевание, которое впишется в летописи, обнимающие более продолжительные периоды. Чем держится большая часть стран, чем держатся все они? Общий голос веков не подтверждает ли какое начало? Нельзя ли различить в отдаленности времен и мест общности в каком-нибудь чувстве? Посмотрим, и если мне обнаружится сила самохранения, то я приму и ее, как часть Божественного устава, и постараюсь согласовать с моими высшими стремлениями.

В большое недоумение повергают нас и слова *рок*, или *судьба*, выражающие во всех веках мнение человечества, что законы природы не всегда благосклонны, что они часто причиняют нам боль и вред. Рок, в образе самой простой естественности, настигает нас, и мы поростаем им, как травою. Уже древние изображали Время с косою, Фортуну и Любовь — слепыми, Судьбу — глухою. В нас слишком мало сил, чтоб противиться лютости напора. Чем отразим мы неизбежное, победное, жестокое могущество? Что делать мне против влияния породы на мою жизнь, что предпринять против наследственных, укоренившихся немощей: против золотухи, лимфы, истощения, против климата и варваризма моего отечества?

Главнейшим поводом к отрицанию, поводом, включающим все прочие, оказывается мечтательное учение о жизни. Отовсюду слышится теперь печальный говор, что мы в заблуждении насчет всех важнейших ее задач и что свободный произвол есть пустейшее из слов. Нас напичкают воздухом, обременят потребностями, женами, детьми, науками, событиями; и все это оставляет нас ровно такими, какими мы были до них. Замечают с сожалением, что математика оставляет ум таким, каким застала его; то же говорят про все науки, происшествия, про все роды деятельности. Я встречал людей, искусившихся во всех науках, и находил в них прежних необтесанных дуралеев; и сквозь все степени учености, сквозь все саны и отличия общественные мог распознать ребенка. А между тем мы на это тратим жизнь! Глядя на установленные правила и теорию нашего образа воспитания, можно прийти к заключению, что Бог есть существенность, а его создания — призраки. Восточные мудрецы верили же в богиню Йоганидру: в силу обольщения могущественного Вишну, посредством которой весь мир может быть заморочен в доказательство своего крайнего невежества.

Выражу иначе это положение. Жизнь поражает нас изумлением, по отсутствию малейшего признака примирения между ее теориею и тем, чем она оказывается на практике. Редкими и мгновенными проблесками прозреваем мы, что такое разумность, ценность существенности, закон непреложный, среди наплыва забот и трудов, не имеющих к ним никакого отношения. Затем проблеск ясный, светоносный исчезает на месяцы и на годы; снова появляется промежуточно и опять скрывается. Если счесть все эти минуты, то окажется, что из пятидесяти лет мы едва ли имели с полдюжины разумных часов. Улучшили ли они наши труды и заботы? Из общего строя жизни мы видим одно: параллельность великого и малого, которые никогда не влияют одно на другое и не обна-

руживают ни малейшего поползновения сойтись на одном пункте. Бессильны для этой цели и опытность, и богатство, и наставления, и начитанность, и дар писателя. Так огромна несоразмерность между уставом небес и нашею муравьиною деятельностью под их сводом, что, по нашим понятиям, превосходный человек и глупец безразлично одинаковы. Вы ведь не распознаете, кто из вошедших в комнату питается одним картофелем, а кто мясом: у обоих есть и кости, и мышцы, все как следует, жил ли он на рисе или на снежных хлопьях. Прибавьте к этому наваждение хоть одного того ослепления, которое ставит поразительным законом невмешательство и делает соединение параллелей невозможным. Молодая душа жаждет вступить в сообщество. Но все пути развития и величия приводят к одиночеству затворника. Их так часто освистывали! Не ожидая сочувствия своим помыслам от простолюдина, они обратились к избранным, к просвещенным и не нашли у них себе поддержки; нашли только недоразумения, насмешки, пренебрежение. Люди страшно поставлены вне своего времени, вне назначения; превосходство каждого состоит в высшей точке его индивидуальности, а она-то и разъединяет наиболее.

Таковы эти многие другие недуги мысли, которые обыкновенные наши наставники и не покушаются отстранять. Но те, которые по своей хорошей природе имеют решительную наклонность к добру, скажут ли они: сомнений нет, — и солгут ради пользы? Спросим себя, как должно вести жизнь, — с отвагою или трусостью? А разъяснение сомнений не есть ли сущность всякого мужества? Название добродетели должно ли стать преградою к достижению добродетели? Неужели вы не можете понять, чтобы человек, живущий смирно, даже в застое, мог не находить большой отрады в вечеринках, делишках, проповедях? Что ему потребна более жесткая школа: нужны люди, труд, торговля, земледелие, война, голод, изо-

билие, любовь, ненависть, сомнение, трепет — для того, чтобы вещи сделались ему ясны? И не состоит ли за ним право настаивать, чтобы его убеждали по его вкусу? Убедите его, и вы увидите, что он стоил труда.

Вера состоит в признании удостоверений души, безверие — в их отрицании. Есть умы, не способные к скептицизму. Сомнения, которые они описывают, излагаются скорее из вежливости, чтобы приноровиться к общепринятому языку собеседников. Уверенные в своем возврате, они могут дозволить себе поумствовать. Допущенным однажды в небо светлой мысли уже невозможно снова погрузиться во мрак: призыв с той стороны бесконечен. Небеса видятся в небесах, горняя над горними, и все полно, все проникнуто Божественным. Другим небо кажется медяным; оно спирает землю со всех сторон. Это зависит, может быть, от темперамента, от большего или меньшего погружения в видимую природу. Наконец, есть и такие, которые должны принимать свою веру как отражение, как заимствование от других; они не имеют ока для существенности и инстинктивно опираются на прозорливцев, на верующих в существенность. Мысли и поступки верующих приводят их в удивление и убеждают, что эти видели нечто, сокрытое для них. Но, по своим чувственным привычкам, они хотели бы удержать верующего на каком-то определенном месте, тогда как шествие вперед для него неизбежно; и вот, ревнуя о вере, неверующий сжигает верующего.

Даже учение, драгоценное упованиям человека, — учение о Божественном Промысле и о бессмертии души, — не излагается скептику его ближними так, чтобы он вынужден был сделаться его сторонником. Может статься и то, что он отрицает ради большего вероятия; отрицает из честности. Пускай лучше лежит на нем пятно нелепого скептицизма, чем пятно лжи. «Я верю, — скажет он, — что вселенная имеет цель высоконравственную, что она гостеприимно

существует для блага душ; но мне непонятны некоторые пункты учения, — как же я могу им верить?» Если кто из нас произнесет, что он резок и безбожен, то люди мудрые и великодушные не подтвердят этого приговора. Им понятна дальновидная доброта воли, которая может предоставить своим противникам заимствованные убеждения и все их общие места и не утратить, однако, ни йоты своей готовности. Она смотрит на конец всяких уклонений. Джордж Фокс (учредитель секты квакеров) видел в откровении «океан мрака и смерти; в средине же его — океан света и любви, изливающийся на темноту той пучины».

Окончательное разрешение, уничтожающее скептицизм, содержится в силе нравственной, которая никогда не потеряет своего преобладания. Можно беспрепятственно испробовать все роды воззрений и противопоставить их вес всевозможным опровержениям: нравственная сила перетянет их как ничто. Это — та капля, которая держит в равновесии моря. Я могу шутить над путаницею фактов, шутя принять образ воззрения, которое называется скептицизмом, но нравственное сознание коснется меня, и все предстанет мне в стройности, делающей скептицизм невозможным. Человек мыслящий должен дойти до мысли, которая сродни всей вселенной: материальные массы природы поволнуются и пронесутся.

Вера вполне благоприятствует возвышению жизни и ее целей. Этот мир, в котором до пресыщения толкуют о святыне, о законе, — пускай он довольствуется правдою и неправдою, глупцами и безумцами, торжеством дурачества и мошенничества. Он может с невозмутимою ясностью глядеть на неодолимую бездну, отделяющую наилучшие стремления человека от возможности их осуществить, и просящих — от могущих их удовлетворить, — на эту трагедию, в которой томится всякая душа.

Шарль Фурье провозгласил, что «*влечение человека соразмерно с его уделом*». Это значит, другими сло-

вами, что всякое желание есть залог своего исполнения. Но ежедневный опыт доказывает совершенно противное, и недостаточность мощи повсеместно опечаливает умы молодые и пылкие. Они обвиняют провидение в скупости. Не Оно ли указало каждому младенцу и небо, и землю, и одушевило его желанием обладать обоими; желанием бурным, беспредельным? Мы жаждем вместить в себе миры, как эта ширь пространства... И вот для удовлетворения отпускается на человека крошечная росинка животворящей силы. Чаша, огромная, как мировое пространство, и в ней — одна капля воды жизни!.. Кому из нас не случалось проснуться в известное утро с таким аппетитом, что готов бы съесть солнечную систему как пирожок; дух горит деятельностью и страстью без границ; он хотел бы достать рукою утреннюю звезду, мог бы вывести заключение из всех законов тяготения и химии, но при первой попытке явить свое могущество, отказывают его руки, отказывают ноги и все чувства: им не угодно служить ему... а между тем, сирена все поет: «влечение человека соразмерно его уделу!» В каждом доме, в сердце каждой девушки и каждого юноши, в душе святого, ставшего выше земли, вы найдете эту бездну между огромнейшим посулом идеала и скудною существенностью.

Но к нам на помощь приходит истина с принадлежащим ей свойством упругости и протяжения необъемлемого; и человек восстанавливает себя обобщениями более обширными. Урок жизни и состоит в упражнении себя обобщениями, в уверовании тому, что говорят годы и столетия, наперекор мерам времени; в сопротивлении частным злоупотреблениям; в проникновении в их вселенское значение. Вещи, по-видимому, говорят одно, а смысл их говорит превратное. Наружность безнравственна — результат нравственен. Видимое, кажется, клонится долу, на оправдание безнадежности, на усиление негодяев, на низложение праведника; смотришь, и мученик и без-

дельник вынесли на своих плечах дело правды. Мы видим самовластие вторгнувшихся событий, которые будто отодвигают и задерживают развитие целых веков; но гений вселенной хороший пловец: его не поглотят ни волны, ни бури. Он ударяет в набат закона, хотя по истории и кажется, что небо избирает орудия ничтожные и низкие. Сквозь года и столетия, сквозь клевреты злобы, сквозь мелочи и атомы, неудержимо несется великое и благодетельное течение.

Человеку должно научиться распознавать вечное от преходящего и изменчивого; научиться сносить исчезновение предметов, пред которыми он благоговел, не теряя притом чувства благоговения; ему должно познать, что он пришел сюда не для того, чтобы преобразовывать, но чтобы самому быть преобразованным; и хотя одно мнение сменяет другое, бездна зияет за бездною; в сущности, все содержится в Предвечном Виновнике.

Хоть потонет челн мой здесь,
Поплыву в другом я море.

ШЕКСПИР, ИЛИ ПОЭТ

Великие люди скорее отличаются своею высотою и обширностью, нежели оригинальностью. Если мы станем требовать такой оригинальности, которая, подобно пауку, выплетала бы ткань из собственной внутренности или открыла бы свойство глины, вымыслила кирпичи, и тогда бы уже построила дом, то ни один великий человек не окажется оригинальным. Не состоит достохвальная оригинальность и в несходстве с другими людьми. Герой стоит в толпе бойцов, в столкновении событий, но зная людские нужды, участвуя в их желаниях, он прибавляет руке и зрению протяжение, нужное для достижения желаемой цели. Самый великий гений есть самый задолжавший человек. Поэт не пустомеля, не крикун громче других, который, болтая обо всем что ни попало, подчас вымолвит и нечто путное. Нет, он сердце, согласно бьющееся со своим временем и отечеством. Его произведения не прихоть, не фантазия: он — услада и печаль, он — глубина смысла, и все это оснащено самыми твердыми убеждениями, направлено к самым определенным целям, о которых едва помышляют какие бы то ни было люди и сословия его времени.

Гений нашей жизни ревнив к личностям; он не допускает индивидуального величия иначе как под условием, чтоб в нем слились заслуги многих. Для гения нет выбора. Великий человек не проснется в одно прекрасное утро, говоря: «Я полон жизни; пущусь-ка в море да отыщу антарктический материк; сегодня я найду квадратуру кругу; пороюсь в ботанике — и добуду новое пропитание для человека; мне

пришла на мысль новая архитектура; я провижу новую механическую силу», и проч. Нет! Он сам внезапно очутится в потоке мыслей и обстоятельств; сам будет увлечен идеями и потребностями современников. Он стоит на пути, куда смотрят их глаза, идет, куда указывают их руки.

Церковь, например, взрастила его среди своих обрядов и торжеств: он выносит из нее вдохновения, навеянные ее гимнами, и соорудит храм, приличный ее песнопениям, ее процессиям. Он поставлен в центр военных действий; лагерь и звук труб содействуют его воспитанию: он воздаст улучшениями за полученное преподавание. Два графства озабочены тем, как бы доставлять муку, уголь, рыбу с места производительности на место потребления, — и он поражен мыслью о железной дороге. Каждый мастер находит свои материалы подготовленными; его сила заключается в сочувствии к окружающим, в склонности к материалам, которые он разрабатывает. Какая бережливость наших сил! Какое возмездие за краткость нашей жизни! Все подложено ему под руку. Мир донес его досюда, по предстоящему ему пути. Человечество шло впереди его, срывая холмы, засыпая провалины, наводя мосты на реки. Люди, народы, поэты, ремесленники, женщины — все работали для него, и он берет в свое распоряжение итог их труда. Избери он что-нибудь другое, вне черты общего направления, вне народного сознания и исторического развития, и ему пришлось бы делать все самому, и силы его истощились бы на одном подготовлении. Можно, пожалуй, сказать, что великая, гениальная сила отнюдь не состоит в самобытности, но в огромной восприимчивости, возлагающей черную работу на мир, чтобы беспрепятственнее вбирать в свой дух вдохновение каждого часа.

Молодые годы Шекспира совпали с тою эпохою, когда английская нация настоятельно требовала драматических представлений. Двор, легко оскорбляясь

политическими намеками, пытался их запрещать. Усиливающаяся энергичная партия пуритан и строгие ревнители Англиканской церкви тоже желали их запрещения. Но народ не мог обойтись без них. Дворы харчевень, дома без крыш, временная ограда на деревенских ярмарках служили готовыми театрами для странствующих актеров. Народ вкусил эту новую забаву, и ее также невозможно было отнять от него, как лишить теперь нас газет и журналов. Ни король, ни епископ, ни пуританин поодиночке или в совокупности не могли заставить умолкнуть этот о́рган, который в одно время вмещал в себе балладу, эпопею, паясничество, проповедь, остроты и газету. По всем этим причинам он сделался национальным интересом, и немаловажным, — вход был дешев и не составлял расчета, как покупка насущного хлеба; многие хорошие ученые упоминают о нем, занимаясь историей Англии. Лучшим доказательством его жизненности служит толпа писателей, внезапно появившихся на этом поприще. Кид, Марло, Грин, Джонсон, Чепмэн, Деккер, Уэбстер, Хейвуд, Мидлтон, Пийль, Форд, Мессайнджер, Бьюмонт и Флетчер.

Уверенность в обладании сочувствием публики чрезвычайно важна для писателя, поставляющего свои труды на сцену. Ему нет времени на предварительные опыты; здесь слушатели и ценители уже наготове. Шекспиру содействовало в этом и многое другое. В то время, когда он оставил Стратфорд и поселился в Лондоне, существовало множество рукописных театральных пьес всех времен и писателей, которые поочередно разыгрывались на сцене. Вот история Троянской войны: ее слушает публика где-нибудь раз в неделю; вот смерть Юлия Цезаря или другое повествование из Плутарха, которое никогда ей не надоедает. Здесь целые полки завалены английскими историями, начиная с Брита и Артура до царственных Генрихов: они так занимательны для народа! Там звучит струна горестной трагедии; здесь

раздается веселая быль Италии или Испании, известная каждому лондонскому ремесленнику. Все это уже описано с большим или меньшим умением: запачканные, изорванные рукописи хранятся у суфлера. Теперь уж невозможно узнать, кто был их первый творец. Они так давно достались театру, так много новых других гениев наделали в них прибавок и поправок: там введен монолог, здесь — целая сцена или вставлена песня, — что никто в мире не распишется в верности с подлинником на этих произведениях труда многих. По правде сказать, никто этого и не домогается. Чтецов у нас немного, а есть зрители и слушатели. Так пускай они лежат себе, где лежали.

Шекспир, заодно со своими товарищами, считал эту кучу старых пьес богатым залежавшимся запасом, из которого можно делать какое угодно употребление. Если бы все *prestiges,* оградившие последующую трагедию, были тогда поставлены законом, из них не вышло бы ничего. Но здесь здоровая жаркая кровь вполне живой Англии обращалась и в комедии, и в уличной балладе; она доставила Шекспиру ту плоть, которая нужна была его воздушной, величественной фантазии. Поэту необходим для выработки грунт отечественных преданий, они придают его искусству должную соразмерность, они сродняют его с народом, ложатся основанием под его здание и, подкладывая под его руку столько уже сделанного, доставляют ему досуг и полную власть предаться всей отваге своего воображения. Короче говоря, поэт обязан таким преданиям тем, чем ваяние обязано храму. Ваяние в Египте и в Греции возросло в подчиненности архитектуре. Оно служило украшением стен храма. Сначала грубый рельеф был иссечен на фронтоне; потом он стал обозначаться явственнее: вот рука, вот голова отделилась от стены, но группы все располагались в соответствии к зданию, служившему им как бы рамою. Даже по достижении скульптурою большей независимости и отдельного исполнения,

преобладающий гений зодчества все еще требовал от изваяний известной сдержанности и спокойствия. Но лишь только ваяние сделалось самостоятельно, перестало иметь непосредственное отношение к дворцу и к храму, оно стало клониться к упадку; причудливость, труд напоказ заменили прежнюю величавую соразмерность. Эту стрелку весов — какою зодчество было для ваяния — опасное воспарение поэтического дарования нашло в собрании драматических материалов, уже привычных народу и имевших свой род достоинств, которых не мог бы создать никакой одиночный гений, как бы ни был он велик.

В отношении содержания явствует, что Шекспир заимствовал его, где только можно, и был мастер употреблять в дело свои находки. Трудолюбивые исчисления показали, что из 6043 стихов, составляющих первую, вторую и третью часть «Генриха IV», 1771 стих написан известными предшественниками Шекспира, 2373 переделал он по основанию, положенному ими, а 1899 принадлежат собственно ему. Продолжающиеся изыскания относят едва ли одну драму собственно его творчеству. Замечание Малона — важный документ внешней истории Шекспира. Мне кажется, что в *«Генрихе VIII»* я сам ясно различаю, как стелется на первобытную скалу его плодотворное наслоение. Первая драма была написана человеком умным и мыслящим, но с неверным слухом. Хорошо ознакомясь с его размером, я могу указать на его стихи. Прочтите монолог Уольсея и следующую за ним сцену с Кромвелем: вместо стиха Шекспира, у которого мысль обладает тайною сама создать для себя тон, так что читая для смысла, лучше всего схватываешь его плавность, здесь строчки написаны по заданному размеру и даже несколько напоминают богословское красноречие. Но во всей пьесе вы найдете безошибочные следы прикосновения Шекспира, а некоторые места из описаний коронации — просто его автограф. Странно, что хвала Королеве Елизавете написана весьма плохим размером.

Шекспир понял, что предания заключают баснословия, превосходящие все вымыслы. Если он утрачивает в том, что не ему приписывают изобретение плана, то как усиливается через это собственное его могущество; а в те времена требования оригинальности не были так легкомысленно настойчивы. Литература существовала не для миллионов: повсеместное чтение, дешевые издания были неизвестны.

Великий поэт, являющийся во времена невсеобщей грамотности, вбирает в свою сферу свет всех разрозненных искр и лучей. Его призвание — поднести своему народу каждое умственное сокровище, цвет каждого чувства; и народ ценит его внимательность наравне с даром изобретения. Поэтому и поэт мало беспокоится о том, откуда почерпнул он свою мысль: из летописи или из перевода, из странствий ли по отдаленным странам или из вдохновения; каков бы ни был ее источник, некритикующая публика принимает ее с одинаковым радушием. Скажем более: поэт занимает вокруг и отовсюду.

Всякий человек может сказать мудрое слово, только не всякий знает, когда он сказал его, и не замечает, что оно вырвалось у него из множества чепухи. Но мастер знаком с блеском драгоценного камня: он поставит его там, где надо, где бы ни нашел. Таково, может быть, было завидное положение Гомера, Саади, Чоусера. Они осознали, что ум всех — их ум, и были компиляторами, историографами, но вместе с тем и поэтами. Каждый романист — наследник и распорядитель всех сотен тысяч повестей и рассказов, оглашающих нашу землю:

Он представляет нам Фивян и Пелонидов
И горестную быль паденья славной Трои.

Влияние Чоусера заметно во всей нашей прежней литературе; еще не так давно у него заимствовали не только Попе и Драйден, но и многие другие англий-

ские писатели потихоньку брали у него в заем, который легко отдать. Право, весело смотреть на избыток, пробавляющий такое множество питомцев. Впрочем, сам Чоусер славно умеет занимать у своих и у чужих. Через Лидгета и Кекстона он поживился от Гвидо ди Колонна, который в свою очередь брал у Овидия, Стация и Фригуса. Потом его благодетелями были Петрарка, Боккаччо и провансальские поэты, а с бедным Гоувером он обращается как с каменоломней или с кирпичным заводом, из которого ему нужно построить себе дом. Он извиняется тем, что оставленное им не имеет никакой ценности, а приобретает ее от его присвоения. В литературе на практике существует то правило, что человек, однажды оказавшийся дельным и самобытным писателем, получает право свободно распоряжаться сочинениями других. Мысль есть достояние того, кто ее постигает, и того, кто умеет прилично поместить ее. Некоторая неловкость отмечает употребление мысли, взятой напрокат, но когда мы поняли, что можно из нее сделать, она становится нашей собственностью.

Так, всякая оригинальность относительна. Каждому мыслителю подсобляют сзади. Как в Вестминстере и Вашингтоне, сэр Робер Пиль и Уэбстер говорят и подают голос за тысячи, так Локк и Руссо думают за тысячи и так множество источников извиваются вокруг Гомера, Мену, Саади, Мильтона: то были друзья, возлюбленные, книги, предания, пословицы, из которых они почерпнули. Те погибли, но если бы они нам предстали, чудо, произведенное деятелями, убавилось бы намного. Но если Бард говорит как власть имеющий; если никто из живущих в ту пору не может с ним померяться; если в его груди есть притом тот Дельфийский оракул, которого можно просить обо всякой мысли, обо всякой в мире вещи: действительно ли оно так — *да* или *нет?* — и получить ответ, на который можно твердо положиться, — тогда все заимствования чужого ума, сделанные таким че-

ловеком, могут не смущать его совесть по части оригинальности. Влияние других книг и других умов не что иное, как дуновение дыма, в сравнении с этою исключительно живою существенностью, которая сказалась его духу.

Легко усмотреть, что все, что гений написал или произвел, не было творением одного человека, но составилось обширным трудом общественным, для которого тысячи, одушевляемые тем же побуждением, работали как один человек. Наша английская Библия, этот дивный образец силы и звучности английского языка, не была переведена одним человеком, или единовременно: столетия и церковные собрания довели ее до этого совершенства. Литургия, внушающая удивление своим величием и выразительностью, — есть цвет набожных чувств веков и народов. Молитвы, извлеченные и переведенные в разные отдаленные времена из молитв каждого Святого, из размышлений каждого духовного писателя, по всей земле, — вот что вошло в состав Богослужения Вселенской Церкви. Определительный язык государственного права, величавая обстановка королевского двора, ясные и точные положения судопроизводства, все это — приношения людей дальновидного, сильного ума, живших в странах, управляемых подобными законами. Переводы Плутарха оттого так превосходны, что они переведены с переводов, которые велись с первого времени его появления. Все существенные свойства и народные обороты языка были сохраняемы, а из прочего попеременно делался выбор или оно совершенно отменялось. Почти то же самое произошло гораздо ранее и с оригинальными жизнеописаниями Плутарха. Мир дозволяет себе вольности с мировыми книгами: *«Веды», басни Эзопа и Пильпая, арабские сказки, «Илиада», романсы Сида, Шотландские менестрели,* — творения не одного человека. Для произведения таких творений думает время, думает торжище, домашний кров, ре-

месленник, купец, земледелец, тщеславный: все думают для нас. Каждая книга наделяет свое время хоть одним добрым словом, и родовой всемирный гений не стыдится и не боится производить свою оригинальность из оригинальности всех; пред глазами же последующих веков он стоит как летописец и воплощение своего времени.

Мы обязаны антикварiям и Шекспировскому обществу верными сведениями о развитии театрального искусства в Англии, начиная от разыгрывания мистерий при церквях духовными лицами и от окончательного отделения представлений от церкви с появлением светских пьес: *«Феррексаи»*, *«Порекса»* и *«Сплетен»* Гуртона Нидля, — до приобретения сценою тех самых драм, которые изменял, переделывал и окончательно упрочил за собою Шекспир. Обрадованное успехом и побуждаемое усиливающимся интересом своей задачи, Общество перерыло все лавки со старыми книгами, перешарило все сундуки по чердакам, не оставило ни одной связки пожелтевших счетов на истребление сырости и червям; так сильна была его надежда открыть: воровал ли мальчишка Шекспир? стерег ли он лошадей у театрального подъезда? был ли в какой школе? зачем не оставил лучшую кровать своей жене, Анне Гетсуэ?

Было что-то прилипчивое в сумасшествии, вынудившем тот век так дурно выбрать предметы, на которые падал блеск всех свечей и были уставлены все глаза: как тщательно записана всякая безделица, касающаяся королевы Елизаветы и короля Иакова, до Эссексов, Лейстеров, Берлеев и Бекингемов, и — пропущен, без малейшей заметки, стоящей внимания, основатель той новой династии, по милости которого — и одного его — еще будет вспоминаться дом Тюдоров! — пропущен человек, объявший одушевлявшим его вдохновением все саксонские племена! — не упомянут тот, чьей мыслью на многие столетия станут питаться передовые народы мира,

получившис от него такое-то, а не другое направление ума! В лицедее черни никто не распознал поэта человеческого рода, и тайна одинаково сохранилась от поэта и мыслителя, как от царедворца и суетного. Бэкон, этот инвентатор умственных сил человека во время Шекспира, даже не упомянул его имени! Бен Джонсон — хотя мы и натянули несколько словечек похвалы и внимания — не имел ни малейшего понятия о колоссальной славе, которой он пролепетал первый звук одобрения, вероятно, считая его весьма великодушным и ставя себя не в пример лучшим поэтом.

Если, как говорит пословица, нужен ум, чтоб понять ум, то шекспирово время было бы способно оценить его. Сэр Генри Вутон родился за четыре года до Шекспира и умер двадцать лет после него; в числе его знакомых и корреспондентов я нахожу следующие лица: Теодор Беза, граф Эссекс, сэр Филипп Сидней, лорд Бэкон, сэр Вальтер Ралейг; Джон Мильтон, Беллармен, Кеплер, Коулей, Джон Пим, Пауль Сарпи, — не называя многих других, с которыми сэр Вутон, без сомнения, видался — Шекспира, Джонсона, Бьюмонта, Мессайнджера, двух Гербертов, Марлоу, Чепмена и прочих. Никогда от появления созвездия великих мужей Греции во времена Перикла, никогда не было подобного собрания умов; их гениальность изменила им, однако, в распознании лучшей головы в мире. Наш поэт скрывался под непроницаемой маской. *Горы не разглядишь вблизи.* Нужно было целое столетие, чтоб возыметь подозрение о том, что такое Шекспир; прошли два других столетия над его могилой, пока образовалось мнение, хоть приблизительно его достойное. И как же могло быть иначе? Он отец германской литературы: с той порой, когда Лессинг представил его германцам, когда Виланд и Шлегели перевели его, совпадает быстрое развитие германской литературы. До самого XIX века, спекулятивный ум которого есть род воплощенного Гамлета, — трагедия *«Гамлет»* не могла найти дивующихся читате-

лей. Теперь литература, философия, мысль наша — все ошекспировано. Его гений — наш горизонт, далее которого мы еще покамест не смотрим. Кольридж и Гёте одни выразили это убеждение с надлежащею верностью; но все просвещенные умы безмолвно сознают превосходство его гения и красоты.

Шекспировское Общество собирало справки по всем направлениям; оно публиковало в газетах недостающие факты, предлагало награды за малейшие сведения, подкрепленные доказательствами, — каков же был результат? Оказалось, что год от году Шекспир получал большую долю из сбора Блэкфрайрского театра; что гардероб и прочая обстановка сцены принадлежали ему; что на труды писателя и пайщика он купил поместье на своей родине; что его дом был самым красивым в Стратфорде; что соседи доверяли ему разные препоручения в Лондон, както: занять для них денег и тому подобное; что он был настоящий фермер. Примерно в то время, когда Шекспир писал Макбета, он, через земский Стратфордский суд предъявил иск Филиппу Роджерсу в тридцать пять шиллингов десять пенсов, не доплаченных ему за хлеб, в разное время проданный. Оказывается тоже, что он был прекрасным мужем во всех отношениях, что за ним не водилось никакой эксцентричности и излишества. Он был род честного добряка, притом мастер и пайщик театра, который ни в чем не отличался от других актеров и режиссеров. Я отмечаю важность этого уведомления. Оно стоило трудов, предпринятых для его изучения.

Но какие бы отрывочные сведения о жизни Шекспира ни поступили на хранение Обществу, они не могут пролить ни малейшего света на эту бесконечную силу творчества, этот скрытый магнит, которым он привлекает нас к себе. Мы весьма плохие историки жизни. Запишем россказни родственников, место и день рождения, скажем, где учился, кто были однокашники, как добывал себе хлеб, как женился,

когда издал свои сочинения, сделался знаменит, умер; когда же дойдем до конца такого колотырства, то окажется, что ни одной искры сходства не существует между нашим словом и тем *гением* и что возьми мы и прочти наугад любое жизнеописание из *«Нового Плутарха»,* то оно отлично заменило бы наше баснословие. Это и есть сущность поэзии: подобно Радуге, дочери Чудес, она возникнет из области невидимого, сотрет прошедшее, отвергнет всякое описание. Напрасно Малон, Варбюртон, Дейс и Коллейр зажигали свои лампады. Напрасно расточали свое содействие знаменитые театры Ковент-Гардена, Парка, Дрюри-Лэна, и Тримонта. Гаррик, Кембль, Кин, Беттертон и Мэкреди посвятили свою жизнь этому гению; его они выясняли и выражали, его венчали и ему повиновались. Гений о них не заботится. Представление началось; звучит золотое слово самого бессмертного, и вся намалеванная обстановка исчезает: оно одно томительно сладко зовет нас к нему, в его недоступную отчизну. Помню я пошел когда-то на представление «Гамлета», роль исполнял знаменитый актер, гордость сценического искусства Англии. Из всего мною слышанного, из всего, что я теперь помню о трагедии, осталось одно, в чем он нимало не участвовал — просто вопрос Гамлета к Тени отца:

What may this mean,
That you, dead corse, again, in complete steel,
Revisit'st thus the glimpses of the moon?

Что значит:
Что ты, усопший труп, вновь, полный мощи,
Являешься на просвет этот лунный?

Вот оно, воображение поэта, распространяющее свою рабочую горенку до размера миров; наполняющее их деятелями им под рост и под стать, и мгно-

венно низводящее громаду видимого до просвета лунного! Такое обаяние его чародейства губят иллюзии театральной залы. Может ли какая бы то ни была биография уяснить ту местность, в которую вводит меня *«Сон в летнюю ночь»?* Какому стратфордскому нотариусу, приходскому регистратору, писарю или его помощнику доверил Шекспир родословную этого эфирного произведения? Где тот третий из двоюродных братцев или племянничков, где тот канцелярский список, где — скажите — то частное письмо, которое уберегло одно слово из сокровенных тайн Арденского леса, одно слово о воздушности замка Скон, о лунном сиянии над виллою Порции и эту *«бездейственность пустынь, вертепов без конца»,* — плена Отелло? В конце концов, после таких драм, как после всякого великого, созданы искусства: циклопических зданий Египта и Индии, ваяний Фидиаса, готических соборов, итальянской живописи, баллад Испании и Шотландии, — гений уносит вслед за собою свою лестницу, когда век творчества отходит на небо, уступая дорогу другому веку, который видит совершенное и тщетно допытывается о его истории.

Единственный биограф Шекспира — Шекспир, да и он скажется только тому, что мы имеем шекспировского в себе; то есть возвышенному просветлению и полнейшему сочувствию иных наших часов. Он не сойдет со своего треножника, чтобы рассказывать нам анекдоты о своих вдохновениях. Прочтите старинные документы, отысканные, разобранные, сличенные неутомимыми Дейсом и Коллейром, а потом прочтите одно из этих горних речений — этих аэролитов, которые будто упали с высоты неба и которые не опытность, а тот ваш внутренний человек, тот, что в душе, принимает как слова судеб — и скажите, есть ли между ними сходство? Первое соответствует ли второму в каком бы то ни было отношении? И какое из них дает вернейшее историческое постижение самого человека?

Итак, при всей скудости его внешней истории у нас, вместо Обрея и Роу, является автобиографом Шекспир; с его помощью мы получаем сведения посущественнее тех, которые описывают нрав и обстоятельства и которые одни были бы для нас важны, если б привелось сойтись и иметь дело с этим человеком. Перед нами свидетельство его убеждений насчет тех вопросов, которые стучатся за ответом в каждое сердце: вопросы о жизни и смерти, о любви, о богатстве и о бедности, о ценности жизни и какими путями мы ее возвышаем; о свойствах людей, о влиянии явном и незримом, изменяющем их судьбу; о тех таинственных, сокровенных силах, которые ставят в ничто наше знание, умение и вплетают свое лукавство, свои зароки в самые яркие часы нашего существования. Читая том «Сонетов», кто не подметил, что под их покровом — покровом, прозрачным для понимающего, — высказаны чудеса любви и дружбы, изображена борьба чувств самой нежной и, притом, самой духовной личности? Какую черту из своих затаенных помыслов скрыл он в своих драмах? В полноте его живописаний владык и дворян нам видно, какой наружный вид и человеческие свойства нравились ему наиболее; видно, как было ему любо в кругу многочисленных друзей, любо широкое хлебосольство и любо давать с радостною готовностью. Тимон, Варвик, купец Антонио могут поручиться за возвышенность его сердца. Итак, Шекспир не то что мало нам известен, но из исторических лиц нового времени он знаком нам более всех. Какой вопрос о нравственности, о приличии, о домоводстве, о философии, религии, вкусе, о науке жизни не был им определен? О какой таинственности не дал нам почувствовать, что она не чужда ему? Какого сана, должности или отдельной человеческой деятельности он не коснулся? Какому царю не преподал он — как Тальма Наполеону — уроков величия? Какая девушка не найдет его утонченнее своей деликатности?

Какого влюбленного не перелюбил он? Чей разум не перерос своим умом? Какому джентльмену не открыл глаз на жестокость его обращения?

Некоторые способные и заслуженные ценители искусства полагают, что критика должна видеть в Шекспире только драматурга, а не поэта и не философа. Как ни высоко ставлю я его драматические заслуги, они мне кажутся второстепенными. Шекспир — человек вполне, любил поговорить; в беспрерывной работе мозга создавая образы и мысли, он искал себе простора и нашел тут же под рукою — драму. Будь у него менее превосходств, мы бы осознали, что он хорошо пришелся к месту, что он отличный драматический писатель, — а он первый в мире! Притом во всем им сказанном оказывается такой вес, что наше внимание отвлечено от формы, им избранной, и он является нам как мудрец, как пророк с книгою жизни в руках, которая стоит быть переданной на всех языках в стихах и в прозе, в поэзии, в живописи, в неизменяемости пословиц. Он дал тон музыке новых времен, он написал и слова для хода нового образа жизни; он взрастил человека в Англии, в Европе и отца человека американского; он разбудил его и описал ему день и все, что можно в него сделать. Он прочел сердце мужчины и женщины, его прямоту и увлечение второю мыслью или желанием; желания невинности и те уступки, которыми добродетель и пороки соскальзывают в противоположную им сторону; он мог бы в облике ребенка распознать, что принадлежит отцу и что матери, или разграничить неуловимые пределы свободного произвола и определений рока. Ему был известен закон усмирения, служащий, можно сказать, полицией у природы; и все пленительное и все ужасное в человеческом жребии рисовалось его духу так же верно и так же просто, как нашему глазу рисуется ландшафт. Пред важностью такого понимания жизни теряется из виду внешняя форма, была ли она драматическая или эпическая. Это все

равно что осведомляться, на какой именно бумаге пишет Государь свои постановления.

Шекспир настолько выше всей категории превосходных писателей, насколько он выше и толпы. Он непостижимо гениален, другие — постижимо. Даровитый читатель может, так сказать, вгнездиться в мозг Платона и оттуда мыслить им; но в мозг Шекспира — доступа нет! Мы всегда стоим у него за дверьми. Он единственен и по творчеству, и по дару исполнения. Никто из людей не может воображать лучше. Он утончал до крайнего предела и, между тем, всегда совместно с тою личностью, и именно насколько это допускается автору. Он облек создания своей фантазии яркостью образа и чувств, как будто они были существа, жившие с ним под одною кровлею; и немногие люди оставляют такие следы, как эти вымышленные лица. И говорят они языком настолько увлекательным, насколько это им прилично. Притом гений его никогда не развертывался напоказ, а с другой стороны, не бряцал все по одной струне. Всегда неразлучная с ним человечность держит в порядке все его способности. Попросите даровитого человека рассказать какой-нибудь случай, и его пристрастие тотчас обнаружится. Некоторые его наблюдения, мнения и общий склад ума выпукло выставятся вперед. Он усилит эту половину и оголит другую, не думая о том, идет ли оно к предмету, а имея в виду только свою способность и уменье. Но у Шекспира нет никаких особенностей, нет докучной односторонности: все в пору и в меру; нет пристрастия к тому, желания испробовать себя на этом; он не жанрист, не отличается этюдами коров или прелестных птиц. В нем не найдешь ни тени такого эгоизма: он описывает возвышенное возвышенно и мелкое по его свойству. Он восторжен без напыщенности и без разглагольствований; могуч, как могуча природа, которая без усилий вздымает целую страну в горные склоны и вершины и тем же самым образом поддерживает

пушинку на воздухе, находя одинаковым то и другое дело. Эта ровность мощи дает ему такое непрерывное совершенство в фарсе, в трагедии, в рассказе, в нежной песне, что каждому читателю не верится, чтобы другой мог так, как он, постигнуть Шекспира.

Это могущество все выразить и переложить на музыку и на поэзию наисущую правду каждого предмета сделало его прообразом поэта и прибавило новую задачу для метафизиков. Оно-то и заставляет причислить его к области естественной истории, как исполинский продукт земного шара, предрекающий новые эры и новые улучшения. Предметы отражаются в его поэзии без ущерба и потускнения: он мог рисовать тонкое с отчетливостью, величественное с соразмерностью, трагическое и комическое с равнодушием, без коверкания или предпочтения. Совершенство исполнения касалось малейших подробностей: волосок, ресница, ямочка доделаны тою же твердою кистью, которою нарисована огромная гора, и между тем они выдержат, как природа, ваши исследования с помощью солнечного микроскопа.

Одним словом, он торжественно доказал своим примером, что могущество творить или живописать больше или меньше картин — вещь безразличная. Он имел силу создать одну картину. Дагер научил нас, как заставить один цветок отпечатлеть свой образ за дощечке и потом снимать его оттиски миллионами. Предметы были всегда, но не было их изображений. Наконец, во всем совершенстве явился их изобразитель; теперь пускай целые миры образов заказывают ему свои портреты. Не пропишешь рецепта на способ творчества Шекспира: но возможность преображения вещественности в поэзию доказана им.

Лиризм дышит в самом духе его произведений. Сонеты его, хотя их превосходство теряется в великолепии драм, неподражаемы, как и эти: прелесть стиха равна достоинству пьесы; как самый звук голоса несравненно нам милого — всю речь его поэтиче-

ских созданий и малейший ее отдел — воспроизвести так же трудно, как целую его поэму. В нем и средства, и цель одинаково удивляют; каждый побочный вымысел, служащий ему для сближения некоторых несовместимых крайностей, та же поэма. Он никогда не бывает принужден слезть с седла и идти пешком оттого, что конь его забегает слишком шибко совсем не в то направление: он всегда сидит на нем верхом.

В Шекспире есть другая царственная черта — неотъемлемое свойство истинного поэта, чья цель — красота; я говорю о ясном веселии духа. Поэт любит добро не по обязанности, а за его прелесть; он восхищается миром, человеком, женщиной, потому что провидит пленительный свет, искрами от них сыплющийся. Он изливает на вселенную красоту, этот гений упоения и ликования. Эпикур сказал, что «поэзия до того обворожительна, что, подчинясь ее чарам, любовник может покинуть свою возлюбленную». И все истинные барды отличались бодростью и веселостью своего настроения. Гомер облит солнечным сиянием. Чоусер ясен и бдителен. Саади говорит: «Про меня идет молва, что я наложил на себя покаяние, — в чем мне каяться?» Владычественно, как ничье, и сладко-крепительно слово Шекспира. Его имя уже несет веселье и отраду нашему сердцу. Если бы он явился в сонме человеческих душ, кто бы из нас не примкнул к его свите? Все, чего он ни коснется, заимствует здоровье и долголетие от его чистой, беспорочной речи.

А теперь посмотрим, в чем и как соответствует в нем человек — певцу и благотворителю, — становим весы в нашем уединении, где отзвуки славы не доходят до нашего слуха. Уединение — строгий наставник: оно научает нас почитать и героев, и поэтов, но оно кладет на весы даже Шекспира и находит, что он имеет долю неполноты и несовершенства человеческого.

Шекспир, Гомер, Данте, Чоусер поняли великолепный смысл, обвевающий мир видимый; поняли, что дерево растет не для одних яблок, колос не для

одной муки, а шар земной не устроен для одной обработки полей и проложения дорог; что вся эта видимость приносит вторую и лучшую жатву нашему духу, потому что служит эмблемою его мыслей и всем своим естественным ходом представляет какое-то немое истолкование человеческой жизни. Шекспир употребил эту видимость, как краски для своих картин. Он остановился пред ее красотою, но никогда не сделал шага, по-видимому, неизбежного для такого гения; а именно ему следовало проникнуть потаенную силу символов, изведать их власть, расслышать их собственную речь. Он же употребил на забаву все данные, ожидающие одного его повеления, чтобы вымолвить лучшее, и остался мастером тешить людей. Не все ли это равно, как если бы кто, овладев, по величественному могуществу науки, кометами или планетами с их спутниками, снял бы их с орбит, только на праздничный фейерверк, и разослал бы по всем городам объявление: *«Сегодня вечером будет дано чрезвычайное пиротехническое представление!»* Силы природы и дар понимать их не заслуживают ли большего уважения, нежели уличная баллада и дым сигары? И опять вспомнится громоносный стих корана: *«Земля, и небо, и все, что лежит между ними, думаете вы, сотворено нами в шутку?»* Если ограничиться вопросом о даровании и об умственных способностях, то род человеческий не имеет равного Шекспиру. Но если мы зададимся вопросом о жизни, о разработке ее материалов и ее второстепенностей, то какую пользу принесла его жизнь? Какое имеет она значение? Нам остались от нее *«Сон в летнюю ночь»*; или *«Двенадцатая ночь»*; или *«Сказка в зимний вечер»*, — которая же из этих картин более (или менее) важна? И приходит на память достойный Египта отчет Шекспировского общества: он был забавный актер и режиссер театра.

Я не могу примирить этого факта с его поэзией. Другие замечательные люди провели свою жизнь все-

таки в некотором роде соглашения со своим помыслом; но этот человек — в совершенном разрыве. Будь он пониже, достигни он только обыкновенного мерила великих писателей: Бэкона, Мильтона, Тасса, Сервантеса, — мы бы оставили этот факт в полумраке человеческого удела; но чтобы человек из человеков, обогативший мыслительное знание предметом, когда-либо существовавшим в такой новизне и обширности и водрузивший знамя человечества на некоторые мили за пределы хаоса, — чтобы он не мог выбрать для себя ничего лучше этого?! — о, в таком случае, должно быть внесено во всемирную историю, что первый поэт земли вел пустую, ничем не отмеченную жизнь и тратил свой гений на забаву публики.

Да, другие люди, пророки, первосвященники — Израиля, Германии, Швеции — имели то же прозрение; и они усмотрели в предметности ее содержание. Какой был вывод? Красота видимого мгновенно исчезла; они прочли завет высший, всеподчиняющий гигантский смысл долга, и скорбь и ответственность нагроможденными горами налегли на них, и жизнь стала для них призраком, безрадостью — странствием пилигрима; испытанием, замкнутым сзади печальною повестью падения и проклятия Адама, спереди — предопределением, огнем чистилища или ада; и сердце созерцателя, и сердце внемлющего замерло в их груди.

Должно допустить, что это односторонние взгляды односторонних людей. Мир все еще ждет Поэта-Священника, ждет примирителя, который не будет ветреничать, как Шекспир-актер; не станет рыться в гробах как Сведенборг-скорбящий, но который будет видеть, говорить и действовать по равномерному вдохновению. Ибо знание усугубит свет солнечный: оно выяснит, что правда прекраснее частных привязанностей и что любовь совместима со всеобъемлющею мудростью.

НАПОЛЕОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК МИРА СЕГО

Из знаменитых личностей девятнадцатого столетия всех известнее, всех могущественнее является Бонапарт; он обязан своим преобладанием той верности, с которою он выражает склад мыслей, верований, целей большинства людей деятельных и образованных. По теории Сведенборга, каждый орган состоит из маленьких, однородных с ним частиц, или, как обыкновенно выражаются: целое производится подобными ему целыми; то есть легкое составляется из бесконечно малых легких; печень из бесконечно малых печеней, почка из небольших почек и проч. Простирая такую аналогию и найдя человека, увлекшего за собою силы и привязанности несметного числа людей, не позволено ли заключить: если Наполеон — Франция, если Наполеон — Европа, так это потому, что народ, ему подвластный, весь состоит из маленьких Наполеонов.

В людском обществе установилось противоборство между теми, кто составил себе состояние, и между новичком и бедняком, которым еще предстоит устроить свою фортуну; между доходом с мертвого труда — то есть с труда рук, давно покоящихся в могиле, но обративших его при жизни в капитал, земли, дома, доставшиеся праздным владельцам, — и между домогательством труда живого, который тоже желает обладать домом, поместьем, капиталом. Первый класс робок, себялюбив, враг всяких нововведений, и смерть беспрестанно уменьшает его численность. Второй же себялюбив, задорен, отважен, самоуверен, всегда превосходит первый своим числом и ежечас-

но пополняет свои ряды нарождением. Он хочет, чтобы пути совместничества были открыты для всех и чтобы пути эти были размножены: к нему принадлежат люди ловкие, промышленные, деловые во всей Европе, Англии, Франции, Америке и повсюду. Их представитель — Наполеон. Инстинкт людей деятельных, бодрых, смышленных, принадлежащих к среднему сословию, повсеместно указывает на Наполеона, как на воплощенного демократа. В нем находишь все качества и все пороки этой партии; в особенности же ее дух и цель. Направление это — чисто материальное, предположенный успех удовлетворяет одну чувственность, и для такого конца употребляются средства изобильные и разнообразнейшие: короткое ознакомление с механическими силами, обширный ум, образованный основательно и многосторонне, но подчиняющий все силы ума и духа как средства для достижения материального благополучия. Быть богатым — вот конечная цель. В коране сказано: «Аллах дарует каждому народу пророка, говорящего его собственным языком». Париж, Лондон, Нью-Йорк, дух меркантильный, денежный, дух материального могущества, вероятно, тоже долженствовал возыметь своего пророка: Бонапарт получил это избрание и предназначение.

Каждый из миллиона читателей анекдотов, записок, книг про Наполеона восхищается этими страницами, потому что он изучает в них свою собственную историю. Наполеон, с головы до пят принадлежность новейших времен, и на высшей точке своей удачи и успеха все-таки проникнут истым духом газеты. Он не святой или, как сам он говорит, «не капуцин», и, в высоком смысле слова, он даже не герой. Первый встречный человек находит в нем все свойства и способности других первых встречных на улице людей. Он видит в нем сходного с собою горожанина по рождению, который, по достоинствам, весьма понятным, дошел до такого высокого положения, что мог

удовлетворять все желания, ощущаемые каждым обыкновенным смертным, но скрываемые или отрицаемые им поневоле: хорошее общество, хорошие книги; быстрота езды, обедов, одевания; прислуга без числа, личное значение, исполнение своих замыслов; роль благодетеля приближенных к нему людей; изящное наслаждение картинами, статуями, музыкою, дворцами и условными почестями — именно все, что так заманчиво для сердца каждого питомца девятнадцатого столетия — могучий этот муж обладал всем!

Конечно, человек такого разряда, как Наполеон, и одаренный его силою воспринимать дух толпы, теснящейся вокруг него, делается не только представителем, но и монополистом и хищником ума других. Его господство над Франциею было чрезвычайно сильно и распространенно; а он до того широко объемист и поставлен так, что почти перестает иметь свое собственное выражение и мнение, но делается складом всего, что есть рассудительного, способного, остроумного в его времени и в народе. Он выигрывает сражения; он пишет кодекс; он издает систему веса и меры; он понижает Альпы; он прокладывает дорогу. Все отличные инженеры, математики, ученые, все светлые головы по какой бы то ни было части хотят со своим делом к нему; он выберет наилучший проект, положит на него свой штемпель; и не только на одно это, но и на каждое удачное и меткое выражение. Потому всякая фраза, сказанная Наполеоном, всякая строка, им написанная, достойны внимания, как способ выражения целей Франции.

Бонапарт был идолом обыкновенных людей, потому что в высочайшей степени обладал свойствами и способностями людей обыкновенных. Есть своего рода приятность спуститься до самых низких побуждений политики, когда утомлен лицемерием и затверженными фразами. Наполеон, заодно с многочисленным классом, им представляемым, трудился ради денег и власти; но он по преимуществу был

наименее разборчив насчет средств. Все чувства, мешающие человеку преследовать такие цели, были отложены им в сторону. «Чувства — для женщин и для детей». Фонтэн, в 1804 году, говоря про Сенат, выразился совершенно в духе Наполеона, сказав ему: «Желание совершенства есть, Ваше Величество, худший из недугов, снедающих ум человека». Поборники свободы и прогресса — *идеологи* (презрительное слово, нередкое в его устах); идеолог — Неккер, идеолог и Лафайет.

Слишком известная итальянская пословица гласит: «Хочешь успеха, не будь чересчур хорош». И конечно, в некотором смысле бывает выгодно отвергнуть власть чувств благодарности, великодушия, благоговения; тогда все, что считалось нами непреодолимою преградою и еще стоит на таком счету у других, превращается в отличное орудие для наших намерений; так река, пресекающая нам путь, становится самою гладкою из дорог, когда скует ее зима.

Наполеон отрекся раз и навсегда от всяких чувств и привязанностей и стал помогать себе и руками, и головой. С ним не ищите ни чудес, ни очарований. Он работает с помощью железа, чугуна, дерева, земли, дорог, зданий, денег, войск, и работает отчетливо, распоряжается мастерски. Он никогда не ослабеет и не увлечется, а делает свое дело с точностью и основательностью естественных сил природы. Он не утратил своего врожденного понимания вещественной природы и своего к ней сочувствия. Пред таким человеком расступаются люди: так походит он на феномен природы. Есть много их, людей, по уши погруженных в вещественность; таковы фермеры, кузнецы, матросы, вообще все рабочие у машин, и мы знаем, как существенны и надежны кажутся такие люди в сравнении с учеными и тружениками мысли; но они, по большей части, похожи на руки без головы, они лишены способности распоряжения. Бонапарт же присоединял к минеральным и животным свойствам

проницательность и умение обобщать, так что в нем были совмещены и силы вещества, и силы умственные: точно будто море и суша оделись в плоть и принялись за исчисления. Оттого-то море и суша как бы предугадали его появление: «Он пришел к своим и свои познаша его». Воплощенное счисление знало, с чем имеет дело и каков добудется итог. Он знал свойства золота и стали, колес и кораблей, армий и дипломатов и требовал, чтобы всякая вещь исполняла свое дело.

Искусство воевать — вот была игра, в которой он выказывал свое знание арифметики. Оно состояло, по собственным его словам, в том, чтобы иметь повсюду более войска, чем неприятель, и в точке нападения, и в точке обороны; и все умение его было устремлено на бесконечные маневры и передвижения для того, чтобы напасть на угол неприятельских сил и разбить его по частям. Очевидно, что и небольшая армия, искусно и быстро направляемая так, чтобы всегда на месте схватки ставить два человека против одного, возьмет верх над несравненно большим войском.

Самая эпоха, его телосложение и предыдущие обстоятельства соединились для развития этого образца демократа. Он имел все способности этого рода людей и находился во всех условиях, возбуждающих их деятельность. Простой здравый смысл, который не только не оторопеет ни пред какою целью, но и найдет средства к ее достижению; затем наслаждение употребленными средствами, их выбором, упрощением и соображением. Приноровление и дальность работ Наполеона, осторожность, с которой он все обозревал мыслью, и энергия, с которою совершал, делают его естественным органом и главою той партии, которую, по ее обширности, почти можно назвать модной партией.

Природе должно приписать большую часть всякого успеха, а также и его. Такой человек был нужен, и такой человек был рожден: человек из камня и железа, способный сидеть на коне по шестнадцати и по

семнадцати часов и проводить по несколько дней без сна и без пищи, удовлетворяя эти потребности урывками, с торопливостью и с наскоком тигра, напавшего на добычу; человек, которого не остановят никакие щепетильности: он крепко сколочен, проворен, себялюбив, рассудителен и сметлив до того, что его не сбить с толку, не провести постороннею расторопностью, ни самому ему не поддаться какому-нибудь своему предрассудку, пылу или опрометчивости. «Моя железная десница, — говаривал он, — не была на конце руки; она непосредственно выходила из головы». Он уважал дары природы и случая; им относил свое превосходство, не восхваляя себя, как то делают посредственные люди, восстающие на природу, а за себя стоящие горой. По своей любимой риторической фигуре, он многое приписывал своей звезде и очень нравился и себе, и народу, когда величал себя *«Сыном Судеб»*. «Они обвиняют меня, — сказал он, — в совершении больших преступлений: люди моего закала не делают преступлений. Ничто не может быть проще моего возвышения; напрасно приписывают его происках и злодействам: оно согласовалось с необычайностью эпохи, с моею славою низложения врагов отечества. Я всегда шел с мнением большинства и с обстоятельствами. На что же нужны были мне злодеяния?» Говоря однажды о своем сыне, он выразил то же: «Мой сын не может опять возвести меня на престол; я сам не могу этого: я создание обстоятельств».

Устремление действий прямо к цели ни в ком до него не совмещались с такою понятливостью. Он реалист, разящий в прах все знающих говорунов и все смутные головы, которые затмевают истину. Он тотчас видит, в чем дело, сам укажет пальцем на главную точку сопротивления и отстранит все побочные расчеты. Он могуч по несомненному праву, а именно по своей проницательности. Он никогда не проигрывал сражений, потому что выигрывал их сначала в

своей голове, а потом уже на ратном поде. Его главные пособия заключались в нем самом; чужих советов он не спрашивал. В 1796 г. он так писал Директории: «Я совершил кампанию, не совещаясь ни с кем. Я не мог бы сделать ничего путного, если б находился в необходимости соображаться с понятиями посторонних лиц. Я выиграл несколько дел против неприятеля, превосходившего меня числом, и когда сам нуждался решительно во всем; ибо при сознании, что ваша доверенность покоится на мне, быстрота моих действий равнялась с быстротою мысли».

Вся история полна примерами тупоумия лиц, на которых возложена обязанность распоряжаться за других. Но Наполеон всегда понимал свое дело. То был человек, знавший в каждую минуту и при всякой внезапности, за что ему приняться прежде всего. Он этим освежителен и отраден для ума не только государственных, до и частных людей. Так, немногие из нас понимают, за что им следует приняться; все живут себе день за днем, безо всякого помысла; вечно, будто на конце строки, и выжидая какого-нибудь толчка извне, чтоб перенестись на другую. Наполеон был бы первым человеком в мире, если б он имел в виду общественное благо; но и таков как есть, он вселяет бодрость необыкновенную единством своих действий. Он тверд, надежен, себя не щадит, собою владеет; пожертвует всем для осуществления своего предприятия — деньгами, армиями, генералами, но также и самим собою — и не будет ослеплен, как обыкновенный случайный удалец блеском этого осуществления. «Внезапные происшествия, — говорил он, — не должны руководить политикой, но политика должна расправляться с ними». «Быть сбиту с толку каждым событием — значит не иметь ни малейшей политической системы». Победы были для него только новыми открывавшимися дверьми; он никогда ни на минуту не терял из виду своего пути вперед, несмотря на окружающей блеск и шум. Он знал, куда

идет, и шел к своей цели. Без всякого сомнения, из его истории можно извлечь ужаснейшие примеры того, какою ценою он покупал свои торжества; но его нельзя причислить по ним к жестоким злодеям, а заключить только, что он не знал препятствий своей воле: ни кровожаден, ни жесток — но горе тому лицу или предмету, что стоит поперек его дороги! Не кровожадный, но не щадящий крови, и как безжалостен! Он имел пред глазами только то, что ему нужно: всякая помеха — прочь. «Ваше Величество, генерал Кларк не может соединиться с генералом Жюно вследствие страшного огня с австрийской батареи». — «Пусть возьмет батарею.» — «Всякий полк, направленный против этой артиллерии, будет отдан в жертву. Каково будет приказание Вашего Величества?» — «Вперед, вперед!»

Артиллерийский полковник Серюзье в своих *«Военных записках»* дает следующий очерк одной сцены, последовавшей за Аустерлицким сражением. «В то время, когда русская армия отступала с трудом, но в добром порядке по льду озера, император Наполеон подскакал к артиллерии во весь опор. «Мы теряем время, — кричал он, — стреляйте по ним, стреляйте по льду! Их надобно потопить!» Приказ оставался неисполненным в продолжение десяти минут. Напрасно я и другие офицеры расположились на покатости холма, чтобы привести в действие приказание; наши ядра катались по льду, не разбивая его. Наконец, я придал большое возвышение легким гаубицам. Почти отвесное падение тяжелых снарядов произвели ожидаемое действие: моему примеру последовали другие, и почти в одно мгновение мы погубили несколько тысяч* русских и австрийцев в водах озера».

Пред полнотою его способностей, казалось, исчезало всякое препятствие. *«Здесь не должны быть Аль-*

---

* Цитируя не с самого подлинника, я не осмеливаюсь поверить огромной означенной мне цифре. (*Прим. сочин.*)

пы», — скажет он и расстелит превосходные дороги, переступающие смелыми сводами обрывистые пропасти, и Италия делается доступна Парижу, как всякая другая французская провинция. Не сидел и он сложа руки и крепко потрудился за свои короны. Решив, что нужно делать, он принимался за это бодро, на широкую ногу, и посвящал тому все свои силы. Он делал ставку на все и не скупился ничем: ни амуницией, ни деньгами, ни солдатами, ни генералами, ни собою.

Нам очень нравится все, что хорошо отправляет свою обязанность: дойная ли то корова, гремучая ли змея; так, если война есть наилучший способ для соглашения международных распрей (по мнению огромного большинства), то, конечно, Бонапарт был прав, ведя ее превосходно. «Великое правило в военных действиях, — говорил он, — быть всегда наготове, во всякий час дня и ночи, и защищаться до последней крайности». Он не щадил зарядов и во время битв дождил потоками пуль, ядер, гранат, чтобы уничтожить всякое сопротивление. Туда, где оно обнаруживалось, посылал он эскадроны за эскадронами, пока всякое противоборство уступало превосходству числа. «Ребята, — говорил он конным егерям пред Иенским сражением, — когда солдат не боится смерти, он вносит ее в неприятельские ряды». В пылу атаки он не думал о себе самом и доходил до пределов возможности. Несколько раз и он, и войско бывали на краю погибели. Он дал шестьдесят сражений, и все ему было мало. Каждая победа служила ему новым двигателем: «Моя власть рушится, если я перестану поддерживать ее новыми успехами. Завоевания сделали меня тем, что я есть, и моя опора — завоевания». Он понимал, как всякий умный человек, что недостаточно уметь творить, но что надобно уметь и сохранять. Опасность всегда возле нас, мы всегда в скверном положении, того и смотри поскользнемся в бездну, если не поищем спасения в присутствии духа и в мужестве.

Непоколебимость Бонапарта охранялась и умерялась самою хладнокровною осторожностью и точностью. Нанося громовые удары в атаке, он был неуязвим при обороне. Самое стремительное его нападение никогда не было мгновенным вдохновением, но следствием расчета. Его лучший способ защищаться был — всегда нападать. «Мое честолюбие, — сказал он, — было огромно, но я хладнокровен по природе». В одном разговоре с Лас-Казом он заметил: «Что касается нравственного мужества, я редко встречал то, которое называют мужеством двух часов пополуночи; то есть мужество, нужное при внезапности, и которое, несмотря на самые неожиданные случаи, оставляет полную свободу обсудить и решиться». Он сознавался, что он никогда не терял этого мужества и мало знал людей, которые бы могли сравняться с ним в этом.

Всякое обстоятельство зависело от верности его соображений, и его расчеты имели сходство с точностью небесных светил. Личная его внимательность вникала в малейшие подробности. «При Монтебелло я приказал Келлерману атаковать с восьмьюстами кавалеристами; с ними под самым носам австрийцев, он отрезал шесть тысяч венгерских гренадеров. Эта конница была за полмили; ей нужно было четверть часа, чтоб достигнуть места действия; но я замечал, что эти-то четверти часа и решают судьбу сражений». «Готовясь к сражению, я мало думал о том, что сделаю после победы; но очень много о том, как поступить в случае неудачи». То же благоразумие и здравый смысл видны во всем его поведении. В Тюильрийском дворце он дал своему секретарю следующее приказание: «Входить ко мне ночью как можно реже. Не будить для сообщения хороших вестей: это успеется. Но если есть что недоброе, то разбудить меня тотчас. В таком случае не следует терять ни минуты». Его неутомимость в занятиях была чрезвычайна; она превосходит известные до него силы и возможности человека. Много

деятельных правителей и королей, от Улисса до Вильгельма Оранского, но ни один не совершил десятой доли в сравнении с Наполеоном.

К таким дарам природы он присоединял то преимущество, что родился в быту частном и скромном. В последующие годы он малодушно желал присовокупить к своим венцам и обладаниям аристократическое происхождение, и он знал, чем обязан своему первому суровому воспитанию и не скрывал своего пренебрежения к королям по рождению. Бонапарт прошел все степени военной службы и был притом гражданином, прежде чем сделался императором; таким образом, он имел ключ и к гражданственности. Его замечания, его оценка вещей показывает, что ему хорошо было известно мерило среднего сословия. Те, которые имели с ним дело, удостоверялись, что его нельзя обмануть и что он умеет вести счеты не хуже всякого честного человека. Это заметно по всем статьям «Записок», диктованных на Св. Елене. Когда вследствие издержек императрицы, двора и дворцов составились большие суммы долга, Наполеон сам рассмотрел счета подрядчиков, указал на неверности, надбавки и значительно понизил их притязания.

Главное свое орудие, то есть миллионы, бывшие в его распоряжении, употреблял он на блестящую обстановку сана, его облекавшего. Он занимателен для нас, как представитель и Франции, и Европы; но мы принимаем его за военачальника и венценосца лишь в том смысле, что революции или интересы промышленных масс нашли в нем своего глашатая и вождя. В общественных вопросах он понимал важность и значение трудовой руки и брал очень естественно ее сторону. Я люблю случай, рассказанный одним из его биографов на Св. Елене: «Гуляя однажды с миссис Белкомб, император встретил поденщиков, которые несли тяжелые ящики. Миссис Белкомб с некоторою досадою приказала им свернуть с дороги. Наполеон не допустил этого, сказав: «Уважьте ноши, миссис». Во время империи он обратил внимание на улучшение и украшение рынков столицы. «Ры-

ночная площадь, — говорил он, — это Лувр простого народа». Лучшим следом действий его власти остались превосходные дороги.

Он воодушевлял войско своим духом; некоторая свобода обращения и род товарищества, не допускаемые этикетом двора между императором и военными начальниками, существовали между императором и солдатами. В его глазах они совершали невозможное. Прекрасным свидетельством его отношений к армии служит приказ в день Аустерлица, где он обещает войску, что будет держать себя вне выстрелов. Такое объявление, столь противоположное обыкновенным условиям, существующим между полководцем и рядовым, достаточно объясняет чувство обожания войска к вождю.

Хотя в этих частностях проглядывает тождественность Наполеона с народными массами, но истинное его могущество заключалось в убеждении простого класса, что Бонапарт представляет его дух и стремление не только, когда задобривает, но и тогда, когда обуздывает его или даже уменьшает народонаселение своими конскрипциями. Притом Наполеон умел, как любой французский якобинец, пофилософствовать о свободе и о равенстве. Народ почувствовал, что трон занят, что завязаны сообщения между ним и детьми родной почвы и что забыты понятия и предрассудки давно забытого устройства общества. Человек из народной среды внес в Тюильри знания и понятия, родственные народу, и открыл ему доступ ко всем местам и должностям. Дни сонливой и эгоистичной политики, всегда стеснительной для дарований и лучшей поры жизни молодых людей, прошли; настал день, в который требовались и могли выказаться способности. Открылось торжище для всех знаний и дарований человека; блестящие призы засверкали пред глазами и молодого, и талантливого. Старая, скованная железами феодальная Франция очутилась молодым Огио или Нью-Йорком; и даже те, кого постигла немедленная кара нового монарха, сносили ее как необходимую меру воинского устава, избавившего их от притеснителей.

Наполеон удовлетворял этим естественным ожиданиям. Самое положение вынуждало его быть гостеприимным ко всякого рода природным отличиям и доверяться его поруке; притом и собственное его расположение шло об руку с политикою. Как всякая личность, превосходящая других, и он, без сомнения, желал найти людей, найти себе равных и померяться силами с другими мастерами; без сомнения, и ему докучали глупцы и прислужники. Он искал людей в Италии и не нашел ни одного. «Великий Боже, — говорил он, — как редки люди! В Италии их восемнадцать миллионов, и я с трудом нашел двух: Дандоло и Мельци». В позднейшие годы, при большей опытности, уважение его к человеческому роду не увеличилось. В минуту горечи он так выразился пред одним из самых давних своих приближенных: «Люди стоят презрения, которое я к ним чувствую. Мне стоит только наложить золотой галун на тогу добродетельных республиканцев, и они тотчас делаются такими, какими мне их надо». Эта досада была, может быть, косвенною данью уважения к тем, кто его заслуживал не только как друг и помощник, а даже как противник его воле. Он не мог ставить Фокса, Питта, Корно, Лафайета и Бернадота на одну доску со своими придворными щеголями, и наперекор порицанию, которым по расчету эгоизма он наделял то того, то другого сподвижника побед, свершаемых для него, он вполне сознавал достоинства Ланна, Дюрока, Клебера, Десе, Массены, Мюрата, Нея и Ожеро. Если он и не забывал, что он их благодетель и основатель их высокого положения, сказав, например, однажды: «Я вывел моих маршалов из грязи», — то не скрывал и удовольствия, находя в них опору и содействие, соразмерные с ширью его замыслов. Во время Русской кампании он так был поражен храбростью и распоряжениями маршала Нея, что вскричал: «У меня в казне двести миллионов: я все бы отдал их за Нея!» В его время семьдесят человек из простых солдат дослужились до сана королей, маршалов, герцогов, генералов, а ор-

ден Почетного Легиона раздавался по личным заслугам, не по семейным связям.

Революция уполномочила и дюжего работника Сент-Антуанского предместья, и конюха, и последнего фейерверкера в армии видеть в Наполеоне плоть от своей плоти и создание *его* партии; но в успехе великого таланта есть что-то, вызывающее всемерное сочувствие. Каждый разумный человек заинтересован в торжестве здравого смысла и ума над глупостью и бездарностью; и мы, существа, одаренные разумом, будто чувствуем, что воздух как бы прочищен электрическим потрясением, когда материальная сила ниспровергнута могуществом ума. Притом все, что сказывается нашему воображению, переступая за обыкновенные пределы человеческого умения и ловкости, удивительно как нас ободряет и высвобождает! Эта даровитая голова, всевластно изменяющая и распределяющая порядок вещей, одушевляя вместе с тем сонмы сподвижников; этот глаз, пронизывающий всю Европу; эта быстрая изобретательность, эта неистощимая изворотливость! И что за события, и что за романтические картины! Что за дивное положение! Вечернее солнце погружается в море Сицилийское, а он обозревает Альпы; здесь он располагает рать у подножия пирамид, и говорит ей: «Сорок столетий смотрят на вас с их вершин!» Там переходит он вброд Черное море, — измеряет глубину Суэцкого залива. У берегов Птолемаиды его волнуют гигантские мысли: «Если бы Акра пала, я бы изменил положение мира». В ночь Аустерлицкого сражения — годовщину того дня, когда он сделался императором, — войско поднесло ему букет из сорока знамен, взятых в сражении. Может быть, удовольствие, какое он находил, выставляя подобные противоположности, было так же мелочно, как и слабость заставлять королей дожидаться в приемных комнатах Тильзита, Парижа и Эрфурта.

Однако при всесветной безалаберности, нерешительности и вялости людей мы не можем достаточно

поздравить себя с тем, что из среды людской выдался такой энергичный и вечно бодрый деятель, который ловил случай за бороду и показал нам, сколько можно наделать с теми же способностями и свойствами, какие в меньшей степени находятся в каждом из нас, а именно точность, личный надзор, мужество и дельность. «Австрийцы, — говорил он, — не знают цену времени». Я должен указать на него, в молодые его годы, как на образец благоразумия. Его могущество нимало не состояло в буйной и чрезмерной силе, в какой-нибудь восторженности, типа Магометовой, или в неотразимом даре убеждения; но в применении здравого смысла при всяком обстоятельстве, где прежде руководились установленными правилами и обычаями. Он преподает нам урок, всегда преподаваемый живою деятельностью, то есть что ей всегда найдется место и простор. На какую громаду трусливых раздумий дает ответ жизнь такого человека! Когда он явился, все стратеги были того мнения, что в военных действиях нельзя произвести ничего нового; точно так же как мы думаем теперь, что все окончательно должно оставаться в том положении, в каком процветают наша торговля, литература, сельское хозяйство, образ правления, общественная жизнь, обычаи, нравы; и что свет уже слишком стар, чтоб его переиначивать. Бонапарт был о нем лучшего мнения, чем общество, и, кроме того, он знал, что лучше его сумеет распорядиться. Мне кажется, что и все люди лучше понимают, чем поступают; они тоже понимают, что всеобщие установления, о которых ведутся такие пространные комментарии, только пробитые колеи да пустые погремушки; но они не смеют доверять своему предчувствию. Бонапарт опирался на свой здравый смысл и ни на волос не заботился о мнении других. Свет смотрел на его нововведения, как обыкновенно смотрит на все нововведения, делая бесчисленные опровержения, указывая на все препятствия; но он пощелкивал пальцами на эти опровержения. «Поведение государя, — заметил он, — очень затрудняется необходимостью давать

столько-то провианта людям, столько-то фуража лошадям. Послушай он комиссаров, так ввек не сдвинется с места, и ни одна экспедиция не удастся». Вот еще пример его здравого суждения: все наперерыв писали, все один за другим повторяли, что переход через Альпы зимою неисполним. «Зима не есть худшее время года, — сказал он, — для перехода горных возвышенностей. Снег тогда тверд, погода установилась, и нечего бояться лавин, единственной опасности в Альпах. На этих высоких горах часто бывают в декабре прекрасные дни сухого мороза, с необыкновенною тишью в воздухе». Прочтите то же его объяснение тех способов, какими он одерживал победы: «Во всех сражениях бывает минута, когда храбрейшие войска после величайших усилий готовы обратиться в бегство. Этот ужас происходит от внезапной недоверчивости к собственному мужеству; и нужно только взяться вовремя, найти какой-нибудь предлог, чтобы снова ободрить их. Искусство состоит в том, чтобы вызвать благоприятную минуту или изобрести предлог. Под Арколем я одержал победу с двадцатью пятью кавалеристами. Заметив эту минуту утомления, я велел трубить и выиграл сражение. Две армии — это два человека, которые сходятся с намерением заставить оробеть один другого: минута панического страха неизбежна; обратите ее в свою пользу. Когда человек побывал в нескольких делах, он без труда различит эту минуту: это так же легко, как сделать сложение».

Этот представитель XIX столетия, при прочих своих дарованиях, не был лишен и способности умствовать о разных важных предметах. Он находил большое наслаждение перебирать все роды практических, литературных и отвлеченных вопросов. Его мнение выражалось оригинально и всегда шло к делу. Во время Египетской кампании он любил назначать после обеда двух-трех защитников и столько же противников по теме, которую задавал сам: о религии, о различных образах правления, о военном искусстве. Сегодня он предлагал вопрос: населены ли планеты? завтра: сколько ве-

ков можно дать земному шару? Там следовало рассмотреть предположение касательно его разрушения водою ли или огнем; в другое время шел толк о справедливости или обманчивости предчувствия, об истолковании снов и проч. Он страстно любил говорить о религии. В 1806 г. он беседовал с епископом Монпеллье Фурниером о богословских предметах, и они никак не могли сойтись на двух пунктах, а именно об аде и о спасении вне лона церкви. Император рассказывал Жозефине, что он спорит как черт об этих двух пунктах, на которые так и напирает епископ. Он легко допускал все мнения философов, смотрящих на религию, как на произведение времени и людей, но о материализме не хотел и слышать. В одну прекрасную ночь, находясь на палубе, в обществе самых рьяных материалистов, Бонапарт, указав на звезды, сказал: «Вы можете, господа, толковать сколько вам угодно, но кто же сделал все это?» Он очень любил разговаривать с учеными, особенно с Монжем и Бертолле; но об литераторах отзывался с пренебрежением: «Это фабриканты фраз». О медицине он тоже любил вести длинные речи с докторами-практиками, которых наиболее уважал: с Корвизаром в Париже и с Антомарки на Св. Елене. «Поверьте мне, — говорил он последнему, — лучше оставить все эти лекарства; жизнь — это твердыня, в которой ни вы, ни я ничего не смыслим. Мы ставим только препятствия собственной ее защите. Ее умение гораздо выше всех снадобий и реторт ваших аптек. Корвизор чистосердечно согласился со мною, что все ваши отвратительные микстуры не стоят ни гроша. Медицина есть собрание шатких предписаний; итог их, взятый в сложности, скорее пагубен, чем полезен для человечества. Вода, чистый воздух и опрятность — вот главные средства моей фармакопеи».

Записки его, продиктованные графу Монтолону и генералу Гурго на Св. Елене, имеют большую цену, если откинуть из них все, что, как кажется, относится к личной его неправдивости. Он обладал добродушием силы и сознанием превосходства. Я восхищаюсь его просты-

ми, понятными описаниями сражений: они достойны Цезаря; его добрым и достаточно почтительным отзывом о маршале Вурмзере, о прочих его противниках; и его способностью стать, как писатель, в уровень со множеством разнообразных предметов. Самую интересную часть составляет Египетская кампания.

На него находили часы думы и мудрости. В промежутки досуга, во дворцах ли то, или в лагерях, Наполеон является гениальным человеком, обращающим к отвлеченным вопросам врожденную жажду истины; он не терпел слов и отвечал на них с резкостью воина. Впрочем, он мог находить удовольствие и в произведениях воображения, и в романе, и в остроте почти столько же, как и в военной хитрости. Ему чрезвычайно нравилось пугать Жозефину и ее дам собственными страшными вымыслами, рассказанными в полутемной комнате, увеличивая впечатление звуком своего голоса и драматизмом рассказа.

Я называю Наполеона адвокатом среднего сословия новейшего общества; того сонмища, что наполняет рынки, лавки, конторы, фабрики, корабли нашего мира, преследуя цель своего обогащения. Он был агитатор, истребитель установленного, усовершенствователь внутренних частей управления; либерал, радикал, изобретатель средств, открыватель дверей и рынков, сокрушитель монополий и злоупотреблений. Богачи и аристократы, разумеется, не любили его. Англия, это средоточие капиталистов; Рим и Австрия, эти средоточия преданий и родословных, были его противниками. Ужас отупелых консервативных сословий, трепет безумных стариков и старушек римского конклава, которые, в своем отчаянии, уцепились бы за все, охватили бы даже раскаленное железо, — тщетные попытки государственных людей забавлять и обманывать его; желание австрийского императора надуть его, и повсеместное чутье молодых, пылких, деятельных людей, указывавших на него как на исполина среднего сословия, делают его историю блистательною, поразительною. Он имел все качества своих

неисчислимых доверителей; он имеет и все их пороки. Мне жаль, что блестящая картина имеет свою левую сторону. Но она-то и составляет роковое свойство, открываемое нами в преследовании богатств: они оказываются вероломны, а добываются ломкою или ослаблением хороших чувств. И неизбежно должны мы были найти этот же самый факт и в истории этого бойца, который просто взял себе на ум совершить великолепную карьеру, без всякой оговорки или совестливости насчет средств.

Бонапарт был в необыкновенный степени беден великодушными чувствами. Лицо, стоявшее на самом высоком месте в веке и в народе самом образованном, не имело простых свойств честности и правдивости. Он несправедлив к собственным своим полководцам; он себялюбец, и приписывает все одному себе, постыдно воруя заслуги великих подвигов у Келлермана, у Бернадота; прибегая к проискам, губит Жюно неоплатным банкротством, для того чтоб удалить его из Парижа, где фамильярность его обращения оскорбляет гордость недавнего венценосца. Он лжец беспредельный. Его официальные депеши, его «Монитер», все его бюллетени были не что иное, как предписания верить в то, что было ему угодно. Но что еще всего хуже: сидя в своей преждевременной старости на своем пустынном острове, он хладнокровно искажает факты, числа, характеры людей, чтобы придать истории театральный блеск. Как всякий француз, он обожает драматические эффекты. Поэтому каждое его движение, мало-мальски великодушное, отравлено расчетом. Его звезда, его любовь к славе, его верование в бессмертие души — чисто французские. «Я должен ослеплять и изумлять. Допусти я только свободу цензуры, моя власть не устоит трех дней». Производить как можно более шуму — его любимое правило: «Огромная репутация состоит в огромном шуме; чем больше его делают, тем дальше слышно. Законы, учреждения, памятники, народы — все исчезает, но шум остается и переходит в отдаленнейшие века». Его верование о бессмертии — просто верование в славу. Его понятие о личном

влиянии не слишком лестно: «Есть два рычага, чтоб двигать людьми: страх и корысть. Верьте мне: основываться на любви — глупейшее самообольщение. Дружба тоже — одно имя. Я никого не люблю. Не люблю даже моих братьев: может статься, немножко — Иосифа; так, по привычке и потому, что он мне старший; да еще Дюрока, — а почему? Потому что мне нравится его характер: суровый и решительный. Я уверен, что этот молодец в жизни своей не пролил ни одной слезы. Что касается до меня самого, я очень хорошо знаю, что у меня нет преданных друзей: покуда я остаюсь тем, что есть, я могу их иметь сколько угодно. Предоставьте чувствительность женщинам; мужчина должен быть тверд сердцем и помыслом, не то — пусть не мешается в дела правления».

Он был бессовестен в высшей степени. Он мог обокрасть, оклеветать, убить, отравить, потопить, смотря по наущению своей выгоды. Великодушия — ни малейшего, но весьма склонный к пошлой ненависти: себялюбием пропитан насквозь, коварен, страшный сплетник; он плутовал даже в картах, открывал чужие письма и восхищался своим гнусным шпионством, потирая от радости руки, когда ему удавалось перехватить клочок об отношениях мужчин и женщин, находившихся при его дворе, и хвастался, «что он все знает!» Он вмешивался в кройку женских нарядов и инкогнито прислушивался да улицах к «ура!» и хвалам, которые ему воздавали. Обращение его было грубо. Он обходился с женщинами с унизительною фамильярностью, взяв себе в обычай щипнуть их за ухо или потрепать по щеке, когда бывал в духе. Мужчин тоже дергал за уши, за усы; не то ударит их в шутку, даст пинка; так продолжалось до конца его жизни. Еще не оказалось, чтоб он подслушивал или подглядывал в замочную скважину; по крайней мере, никто не застал его при этом занятии. Одним словом, проникнув немного далее, через все ограды могущества и блеска, вы увидите под конец, что имели дело не с благородным человеком, но с обманщиком и мошенником; и он вполне заслуживает данный ему эпитет: *Jupiter Scapin.*

Описывая обе партии, — демократов и консерваторов, — на которые распадается новейшее общество, — я сказал, что Бонапарт есть представитель демократизма, или партии трудовых людей, противоположной людям осевшим, консервативным. Но я забыл упомянуть о том, что составляет сущность такого положения дел, а именно: что между обеими партиями лишь то различие, какое обыкновенно бывает между молодым и старым человеком. Демократ — это молодой консерватор; а консерватор — состарившийся демократ. Аристократ же — это демократ спелый, ушедший в семя, потому что обе партии стоят на одной точке убеждения: обе выше всего на свете ставят собственность, которую один силится достать, а другой удержать при себе. Можно сказать, что Бонапарт представляет собою всю историю этой партии — и в ее юности, и в ее старости; да! с самою поэтическою справедливостью он изображает и ее удел — своим собственным. Партия, истинно противоположная этой, партия общечеловеческая, все еще ждет себе о́ргана и представителя, который бы действительно возлюбил общественное благо и цели — универсальные.

Историей Наполеона предлагается опыт, сделанный при самых благоприятных обстоятельствах, при всем могуществе ума и при полнейшей бессовестности. Был ли когда вождь с такими дарованиями, в таком всеоружии силы и власти? Он ли не нашел сподвижников и последователей? Каков же был результат огромных способностей и колоссального могущества? Что произвели несметные армии? Сожженные города, истраченные сокровища, миллионы убитых и деморализация всей Европы? Результата не вышло никакого. Все исчезло, как дым его пушек, не сохранилось и следа. Он оставил Францию беднее, слабее, умаленнее против того, как застал ее, и всю борьбу за свободу надо было начинать сызнова. Его возвышение с самого начала было самоубийственно для страны. Франция отдавала ему жизни, кровь, состояния, пока еще могла неразрывно сливать с ним взаимные общие их выгоды; но когда люди разгля-

дели, что после победы идет новая война, после истребленных армий — новые конскрипции, что к самому неустанному труженику награда не приближается, потому что не приходится ни потратить приобретенного, ни отдохнуть на кровати, ни поважничать в своих *chateaux*, они его и покинули. Люди нашли, что такой всепоглощающий эгоизм убийствен для других людей. Он походил на электрического угря, который сыплет удары за ударами на того, кто его схватит; электрические потрясения производят судороги в руке: разжать пальцы и выпустить добычу невозможно, а животное все учащает, все усиливает свои удары до того, что парализует и, наконец, убивает свою жертву. Так и этот исполинский эгоист уменьшал, ослаблял и вбирал в себя силы и жизнь всего, что ему служило; и всеобщий крик Франции, равно как и Европы, в 1814 г., был: *Assez de Bonaparte!*

Вина не Бонапарта. Он, кажется, делал все, что только было возможно, чтоб жить и обходиться без нравственного начала. Природа вещей, вечный закон, правящий людьми и миром, — вот что осилило и скосило его: в миллионах подобных опытов результат будет тот же. Приниматься ли за него отдельно или целыми толпами — никакой опыт, преследующий цель себялюбивую и чувственную, не удастся. Миролюбивый Фурье окажется таким же несостоятельным, как губительный Наполеон*.

---

* Во избежание недоразумений и заподозрения Эмерсона в наклонности к социализму или коммунизму, нужно вспомнить сказанное им в предисловии: «Постигнув, что я обладаю нетленными богатствами, я становлюсь бессмертен. Вот великое поприще для состязания и богатого, и бедного! Мы живем на рынке, на который отпущено столько-то пшеницы, шерсти, земли: чем больше захвачу я их для себя, тем меньше достанется другим, и мне как бы не дается добро, без нарушения общего порядка. Никто не веселится веселием другого. Все наши системы похожи на войну или на оскорбительные привилегии. Каждому человеку приходится измерять свое величие по зависти, проклятиям, ненависти соперников. На этом же новом поприще довольно простора: на нем нет самохвальства, нет исключительности». (Прим. перевод.)

ГЁТЕ, ИЛИ ПИСАТЕЛЬ

Я нахожу, что в устройстве мира предусмотрен писатель, или, так сказать, — регистратор, долженствующий отмечать дела дивного духа жизни, всюду сверкающего и действующего. Обязанность такого лица — воспринимать в свой ум факты; затем отбирать самые значительные и характеристические результаты своей опытности.

Природа хочет быть известною. Все находящееся в ней, обязано писать свою историю. Каждую планету, каждый камешек сопровождает его тень. Оторванная скала запечатлевает свои царапины на горе; река — свое русло на долине, животное — свои кости на земных слоях; папоротник и лист пишут свои скромные эпитафии на каменном угле. Падающая капля точит свое изваяние в песке или камне. Ни одна ступня не пройдет по снегу или по почве, без того чтобы не начертать более или менее прочными следами карты своего пути. Всякий поступок человека врезается сам собою в памяти его близких и на его собственном лице и приемах. Воздух полон звуков, небо — знамений, земля — памятников и подписей; и всякий предмет исчерчен вдоль и поперек намеками, выразительными для понятливых.

Такие повествования о себе не прерываются в природе, и эти сказания верны, как оттиск печати. В них факт ни преувеличен, ни умален. Но природа стремится возвыситься, и в человеке сказания эти становятся чем-то более простого оттиска печати. Это новая и более изящная форма оригинала. Рассказ проникнут жизнью, как проникнут ею повествователь. Человеческая память есть особый род зеркала; когда она отразит что-либо из окружающих предметов, к тому прикасается жизнь, и об-

разы располагаются в новом порядке. События, проникнувшие туда, не лежат в мертвенном покое; но иные идут вглубь, другие блестят на виду, так что пред нами скоро является новая картина, составленная из высших опытов. И человек содействует этому. Он сообщителен, и все невысказанное лежит грузом на его сердце, пока он не передаст его. Но, кроме удовольствия беседы, доступного всем, некоторые люди родятся с сильною способностью к этому вторичному творчеству. Они родятся писателями. Садовник сбережет каждый отводок, семечко, персиковую косточку, если он по призванию селекционер растений. Не менее заботлив о своем деле и писатель. Все, что он увидит, все, что он испытает, располагается пред ним моделью и просится на его картину. Он считает нелепостью, когда ему утверждают, что есть вещи неописуемые. Он убежден, что все мыслимое может быть высказано, рано или поздно; он сам готов на подобную попытку. Под его перо просится и громадное, и тонкое, и дорогое его душе — что ж? он опишет и это. В его глазах человек есть орудие для выражения, а вселенная — возможность и данное для его выражения. В частном разговоре и в собственном бедствии он найдет новые материалы, по словам нашего германского поэта:

Какой-то бог мне силу дал,
Изображать мои страданья.

С горя и с гнева он соберет себе дань; поступив опрометчиво, он покупает возможность сказать мудрое слово. Досады и бури страсти только надувают его паруса, как писал простодушный Лутер: «Когда я взбешен, я могу славно молиться и славно проповедывать». И если бы мы могли проследить начало самым изящным и поразительным красотам красноречия, мы, может быть, увидели бы, что в них повторяется снисходительность султана Амурата, срезавшего головы нескольким персиянам, для того чтоб его медик Везалий увидел судорожные движения шейных мышц. Поражение писателя — только подго-

товка к его победе. Новая мысль или новый перелом в страсти научают его, что все, прежде ему известное и им описанное, было лишь нечто внешнее — не действительность, а один гул действительности. Что ж ему делать? Не бросить ли перо? Нет, он опять принимается писать, при новом свете, внезапно озарившем его, если может — тем или другим образом — удержать за собой два-три слова истины. Сама природа с ним в заговоре. Все, что мыслимо, может быть высказано; оно неутомимо просит себе выражения, хотя бы орудие, служащее ему, было необработано и грубо. Если слово не может совладать с мыслью, она ждет и действует, пока не образует его совершенно так, как ей хочется, и не будет высказана.

Во всех и всюду заметное стремление найти себе приблизительное выражение многозначительно, как цель природы, но это лишь одна стенография. Есть степени более высокие, и природа хранит великолепные дары для тех, кого избирает на высшее служение, — для людей знания или мысли, которые видят связь там, где толпа видит только обрывки, — для людей, которые должны распределить факты по порядку и отыскать таким образом ось, около которой вращается строй всего видимого. Дорого для сердца природы образование человека умозрительного или ученого. Это завершение никогда не упускается ею из виду и подготавливается по первобытному образцу созданий. Он явление не только дозволенное или случайное, он органический деятель – одна из властей в ее царстве; подготовленный и назначенный, искони и довременно, возыметь место в связи и в сплетении вещей. Его одушевляют предчувствия и побуждения. Какое-то пламя в груди его стремится уловить хоть проблеск первобытной истины — это сияние духовного солнца в подземелье рудокопа. Каждая мысль, возникающая в его уме, в самую минуту своего восхода обозначает уже свое достоинство: останется ли она прихотью или будет мощью.

К его внутренним стремлениям присоединяется извне довольно призыва, довольно спроса на его дарова-

ния. Общество во все времена имеет все ту же потребность; а именно: оно нуждается в человеке здравомыслящем, который бы имел достаточную силу слова, чтобы удержать каждый предмет человеческих мономаний в их надлежащих границах. Честолюбец или торгаш приносят в него каждый своего новорожденного божка: тариф, Техас, железную дорогу, католицизм, месмеризм или Калифорнию; и, отделяя свой предмет от его отношений к прочим предметам, легко успевают выказать его во всем блеске; толпа кругом безумствует, и нет способа сдержать или вылечить ее другою противоположною толпою, которая не заражена этим припадком потому единственно, что сильно помешана на другом пункте. Но пусть человек широко объемлющего ума отведет это одиноко блуждающее чудо на приличное ему место и к надлежащим ближайшим отношениям, призрак исчезает, и общество, обретая рассудок, благодарит того, кто его навел на ум.

Человек знания принадлежит векам, но он должен желать поставить себя в хорошие отношения и к своим современникам. Между поверхностными людьми водится осмеивать ученых и духовных — пускай себе! Только бы ученые не обращали на это внимание. В нашей Америке слова и общественное мнение восхваляют практических людей, и в каждом кружке имена лиц положительно упоминаются с многозначительным почтением. Видно, многие из нас придерживаются наполеоновского мнения об идеологах: «Идеи нарушают общественный строй и комфорт и под конец одурачивают их обладателя». Готовить груз товаров из Нью-Йорка в Смирну, рыскать туда и сюда, чтоб составить общество подписчиков для приведения в движение пяти или десяти тысяч веретен, устроить сделку с коноводами на обман и ущерб сговорчивых местных жителей, чтобы удержать за собою в ноябре большинство голосов, — это, по общему убеждению, и практично, и похвально.

Если бы мне приходилось провести сравнение между деятельностью гораздо высшего рода и между жиз-

нью созерцательною, я не решился бы с полной уверенностью произнести приговор в пользу первой. Человеческий род находит такую сильную опору во внутреннем просветлении, что монах и отшельник многое могут сказать в защиту жизни, проведенной в размышлениях и молитвах. Какое-то пристрастие, упорство и потеря равновесия — вот цена, которой мы покупаем каждый поступок. Действуйте, если вам угодно, но знайте, что вы за это поплатитесь. Людей осиливают их действия. Покажите мне человека, который бы выразил себя действием и не сделался рабом и жертвою того, что свершил. Сделанное раз понуждает и неволит опять делать то же. Первый поступок казался лишь опытом — он сделался посвящением. Пламенный реформатор воплощает, например, свои стремления в какой-нибудь обряд или договор с единомышленниками; вскоре и он, и друзья прилепляются к форме, забывая о стремлении. Так, квакер учредил квакеризм, а шэкер свое братство и свою пляску; и хотя каждый из них толкует о духе, духа нет, есть одно повторение, которое противодуховно. Когда после действия энтузиазма остается такой осадок, что сказать о тех низших родах деятельности, которые имеют в виду одно: дать нам возможность жить с большим комфортом и с большею трусостью? О действиях дерзости и пронырства, о действиях, где все кража и ложь, где умозрение отторжено от практической способности, и положено клеймо отвержения на разум и на чувство? Тут нет ничего, кроме отстоя и отрицания.

Индусы вписали в свои священные книги: «Одни дети, а не люди знающие говорят о способностях умозрительной и практической, как о двух различных. Они — одна способность, потому что обе достигают той же цели, и место, добытое последователем одной из них, добывается последователем другой. Тот человек зряч, кто видит, что учение умозрительное и практическое — одно». Потому что великие дела должны истекать из величия духовной природы. Их мерилом должно быть чувство, которое их произвело. Величай-

ший поступок может быть следствием весьма частного обстоятельства.

Разлад между умозрением и действием происходит не от вождей, а от деятелей второй и третьей руки. Люди истинно деловые, стоящие во главе практической партии, разделяют все современные идеи и имеют большое сочувствие к партии мыслителей. Не от превосходных людей, в каком бы то ни было роде, происходит этот разлад, это неуважение к людям превосходным в других родах. Для них вопрос Талейрана всегда остается главным; они не спрашивают: «Богат ли он? Не скомпрометирован ли он? Благомыслящий ли он человек? Есть ли у него эта или та способность? В числе ли он передовых? В числе ли отсталых?» Нет! Они просто спросят: *«Ya-t-il là quelque chose?»* Он должен быть хорош в своем роде. Вот что требовал Талейран, что требует здравый смысл человечества. Будь нечто существенное и превосходное, не по нашему образу мыслей, а по своему. Дельные люди не заботятся о том, какого рода дельность человека, но только о том, чтобы он был делен. Мастер любит другого мастера, не обусловливая, чтобы тот был оратором, художником, поденщиком или королем.

Для общества нет в сущности выгоды более важной, как благоденствие людей мысли и пера. Нельзя отрицать того, что люди искренни в своем признании и приветствии умственных превосходств. Между тем писатель еще не пользуется никаким преобладанием над нами. Я думаю, он сам виноват в этом. Фунт и ходит за фунт. Были времена, когда на него смотрели, как на лицо священное: тогда он писал библию, первые гимны, кодексы, эпопеи, трагические песнопения, предсказания сивилл, оракулы халдеев, лаконические изречения, начертываемые на стенах храмов. Каждое слово было истинно и возбуждало народы к новой жизни. Он писал без торопливости и без искусственного выбора. Каждое слово, в его глазах, было начертано, было врезано и на небе, и на земле: солнце и звезды были те же буквы, имеющие тот же самый смысл, ничуть не более необходимый. Но

возможно ли почитать того, кто не чтит самого себя? Того, кто затерся в толпе? Кто уже не законодатель, а низкий угодник, который подлаживается к безумному мнению ветреной публики? Того, кто обязан бесстыдно заступаться за какое-нибудь негодное правительство или, по найму, круглый год кричать в оппозиционной партии; здесь — обязан писать условленную критику, там — развратные романы, и, во всяком случае, писать без мысли, без убеждения, никогда — ни днем ни ночью — не прибегая к источникам вдохновения?

Некоторые возражения на эти вопросы могут найтись при обозрении списка литературных знаменитостей нашего времени. Но между ними самым поучительным явится имя Гёте; оно может знаменовать для нас силы и обязанности ученого и писателя.

Я изобразил Бонапарта представителем внешней стороны жизни и целей XIX столетия. Другая его сторона, его поэт — это Гёте; человек вполне обжившийся с веком, дышащий его воздухом, наслаждающийся его плодами; человек невозможный в прежние времена и снявший своею исполинскою деятельностью укор в расслаблении, который без него налег бы на умственные произведения этого века. Он является в эпоху, когда всюду разлившаяся образованность сгладила все резкие индивидуальные черты; когда, за отсутствием героических личностей, в общественную жизнь вступает комфорт и сотрудничество. Поэта нет — есть дюжины стихотворцев; нет Колумба — а есть сотни шкиперов, почтовых судов, снабженных раздвижными зрительными трубками, барометрами, консервами для супов, соусами и прочими разными разностями; нет ни Демосфена, ни Чаттама — но несметное множество парламентских и судебных говорунов; нет ни пророка, ни святого — есть школы для духовенства; ни единого ученого — зато бесчисленные ученые общества, дешевые издания, читальни, библиотеки для чтения. Никогда не бывало такого смешения фактов. Свет распространился во все стороны, как американская тор-

говля. Понять жизнь греков и римлян, жизнь в Средние века — дело простое и возможное; но понять жизнь новейшего времени касательно бесчисленного множества фактов, — это хоть кого сведет с ума.

Гёте сделался философом этой множественности. Сторукий, стоглазый, он был и способен и рад иметь дело с этой напирающей смесью наук и событий; по своей же многосторонности он мог распоряжаться ими с большим удобством. Это был ум мужественный: его не озадачивали разнообразные латы условий, в которые закована зачерствелая жизнь; его тонкий ум легко мог проникнуть сквозь них и набраться сил от природы, с которою он всегда жил в тесной связи. Странно то, что Гёте сложился и жил в небольшом городе, в государстве незначительном, в государстве распавшемся, и в эпоху, когда Германия не играла в судьбах мира такой роли, от которой могло бы забиться гордостью сердце ее сына, как мог услаждаться в то время дух француза, англичанина, а в былые эпохи гражданина Аттики или Рима. В его Музе нет, однако же, следов провинциальной ограниченности; он не раб своего положения, его гений свободен или самоуправен.

Его «Елена» или вторая часть «Фауста», есть философия литературы, переложенная в стихи. Это произведение человека, сознавшего, что он одолел мифологии, истории, философии, науки и литературы разных наций тем энциклопедическим способом, которым новейшая эрудиция, установив международные отношения по всей земле, делает изыскания в Индийских, Этрусских и всех циклопических памятниках искусств; в геологии, химии, астрономии, и вследствие этой шири, придает каждой отдельной области знаний какой-то воздушный и поэтический характер. На одного короля смотришь с почтением, но если бы кто очутился на целом конгрессе королей, то отважился бы рассмотреть особенности каждого. Не пламенным дивным песням да строго обдуманным формам вверил поэт результаты восьмидесятилетних наблюдений. Рассудочная и критическая муд-

рость этой поэмы именно и сделала ее истинным цветом нашего времени. Она сама означает год и число своего появления. Гёте все-таки остается поэтом — поэтом, достойным самого великолепного лаврового венца, чем кто-либо из его современников, и под этим бременем микроскопических наблюдений (потому что он наблюдает, кажется, всеми порами своей кожи) он ударяет по струнам арфы с могуществом и изящностью героя.

Чудодействие этой книги заключается в возвышенности ее постижения. В горниле ума этого человека века — прошедшие и будущие, с их религиями, политиками и разнообразием мышления — разложились на первообразы и идеи. Что за новые мифологии пронеслись в голове его! Греки говорили, что Александр дошел до области хаоса; не в тот день, но на другой, дошел туда и Гёте, ступил даже на шаг дальше и возвратился невредим.

Сердце услаждается нестесненностью и обширностью его умозрений. Так, необъятный небосклон, ежедневный наш спутник, распростирает свое величие над нашими безделками, над заботами о нуждах и удобствах, равно как и над праздничными пирами и торжественными священнодействиями. Гёте был душою своего столетия. Если, по изобилию познаний, по многочисленности членов, ученость века представлялась сплошною массою, с непроходимою чащею по некоторым частям; или какою-то большою экспедициею для открытий, которая собирает громады фактов и естественных произведений слишком наскоро, для того чтобы какие-то дотоле существовавшие ученые могли привести их в порядок, — то ум Гёте имел достаточно комнат для их распределения. Он имел дар снова соединить разрозненные атомы по закону, им свойственному. Он облек поэзией наш нынешний быт. Среди современной мелочи и дробности он отыскал Гения жизни, того прежнего изворотливого Протея, угнездившегося совсем подле нас, и доказал, что проза и скука, приписываемая нами этому веку, есть только одна из его личин и что

Не скрылся он, а здесь, переодетый,

и заменив блестящий костюм покойным платьем, он нимало не потерял своей живости, своей роскоши и остается тем же в Ливерпуле и Гааге, каким бывал в Риме или в Антиохии. Гёте искал его на публичных гуляниях и на шумных улицах, на бульварах и в отелях; он показал, как в самом стоячем царстве рутины и чувственности проглядывает демоническая сила; как в обыденные действия сама собою вплетается тонкая нить баснословия и сверхъестественности; он доказал это, проследив родословную каждого обычая и навыка, каждого учреждения, мнения, даже домашней утвари до самого их начала — в организме человека. Он сильно досадовал на предположения и на риторику. «С меня довольно моих собственных догадок; когда кто пишет книгу, пусть помещает в нее одно то, что знает». Сам он писал весьма простым и сдержанным тоном; скорее умалчивая о многом, чем все выражая, и всегда предпочитая ставить факт на место слова. Он объяснил, в чем состоит различие в духе и в искусствах между древними и новыми народами; определил цель и законы изящных художеств. Он сказал о природе отличнейшие от когда-либо сказанного вещи и обращался с нею так как обращались древние философы и семь мудрецов, — отбросив в сторону учения французской таблицы и рассечения и занявшись природою с тем остатком, что уцелел еще для нас от поэзии и от человечности. Что ни говори, глаз лучше микроскопов или телескопов. Благодаря редкой наклонности своего ума к простоте и к единству, Гёте нашел ключ ко многим отделам природы. Так он навел новейшую ботанику на руководящую идею, что листок или глазок листка составляет основную ботаническую единицу, что каждая часть растения есть только превращение листка для выполнения новых условий и что при изменении этих условий лист может превратиться во всякий другой о́рган, а всякий другой о́рган в лист. Таким же образом, в ос-

теологии он утверждал, что спинной позвонок хребта может быть рассматриваем как единица скелета и что голова есть не что иное, как преобразование верхнего позвонка: «Растения идут от коленца к коленцу, завершаясь наконец цветком и семенем. Точно так же глист и всякий червяк удлиняется от кольца к кольцу, замыкаясь головою. Человек и высшие животные строятся из позвонков, причем силы сосредоточиваются в голове». Точно так же в оптике он отбросил искусственную теорию семи цветов и полагал, что каждый цвет есть сочетание мрака и света в других пропорциях. Так, о каком предмете он ни пишет, он глядит всеми порами и со своим врожденным влечением к истине старается найти сущность того, что сказано прежде. Он ненавидит пересказывать бабьи сказки, овладевшие людским легковерием за последнюю тысячу лет. Он сам рассмотрит не хуже другого, есть ли в них какая правда, и вытянет ее оттуда. Он будто сказал себе: «Я здесь для того, чтоб взвесить и обсудить все здесь находящееся; зачем мне верить им на слово?» И потому все сказанное им о религии, о страсти, о браке, об обычаях, о собственности, о бумажных деньгах, о верованиях, о периодах времени, об удаче и неудаче, о предзнаменованиях и о многом другом становится незабвенным.

Приведем самый замечательный образчик этой наклонности доискиваться правды во всяком выражении, в ходу у народа. Черт играл значительную роль в верованиях всех времен. Гёте не принимает ни одного слова, за которым нет никакой сущности. Здесь послужит то же мерило: «Я никогда не слыхал о злодействе, которого бы сам не мог сделать». Вследствие этого он схватит страшилище за горло. Оно должно или сделаться реальным, во вкусе нового времени, европейцем, одеться, как джентльмен, набраться хороших манер, расхаживать по улицам и совершенно освоиться с образом жизни Вены и Гейдельберга 1820-х годов; или оно перестанет существовать. Поэтому Гёте снял с него все мифологические доспехи: рога, ноги с копытом, хвост крючком, воню-

чую серу, синее пламя, и, вместо того чтобы собирать обо всем справки в книгах и картинах, он стал отыскивать его в своем собственном духе, во всяком оттенке холодности, себялюбия, неверия, который и в толпе, и в уединении расстилается мраком на человеческое мышление; и Гёте нашел, что изображение выиграло и в правде, и в ужасе, от всего, что он ему придал, от всего, что от него отнял. Он открыл, что естество этого пугала, невидимо витающего около жилища людей, с самой той поры как стали жить люди, есть не что иное, как чистый разум, отданный (наклонность, замечаемая везде и всюду) на служение чувственности; и он ввел в литературу, в своем Мефистофеле, первую органическую фигуру, которая когда-либо появилась в течение нескольких столетий и пребудет так же долго, как Прометей.

Я не имею намерения заняться разбором его многочисленных произведений. Они состоят из переводов, критик, драм, лирических и других стихотворений, литературных дневников, портретов замечательных людей. Но я не могу не упомянуть о *«Вильгельме Мейстере»*.

Это роман во всяком смысле первостепенный в своем роде; поклонники считают его единственным очерком новейшего общества, находя, что другие романы, например Вальтера Скота, занимаются одеждами, положением лиц, этот же — духом жизни. Эта книга все еще облечена каким-то покровом. Ее с удивлением и наслаждением читают люди чрезвычайно умные. Некоторые предпочитают ее «Гамлету», как произведение гениальное. Мне кажется, ни один роман нашего столетия не сравнится с этим в прелести новизны, которая подстрекает ум, наделяет его многими основательными мыслями, верными взглядами на жизнь, обычаи и характеры; в ней столько славных указаний на руководство жизни, столько неожиданных проблесков из сферы высшей; и все это без малейшего следа высокопарности или натяжки. Книга, страшно раздражающая любопытство пылких молодых читателей, но книга страшно неудовлетворительная. В ней обманутся любители легкого чтения,

ищущие развлечения, даваемого романом. С другой стороны, справедливо жалуются и те, которые принимаются за нее с высокою надеждою найти здесь настоящую историю гениального человека и достойное присуждение ему лавра, заслуженного подвигами и самоотвержением. В Англии, не так давно, издан был роман, покусившийся олицетворить надежды новой эпохи и дать простор политическим ожиданиям партии, называемой *«Юной Англией»;* в нем единственная награда добродетели: место в парламенте и звание пэра. Роман Гёте имеет заключение такое же хромое и точно такое же безнравственное. Жорж Санд представила в «Консуэло» и в ее продолжение картину повыше этого, и истиною, и достоинством. С постепенным ходом рассказа характер героя и героини развивается до такой силы, что заставит трястись фарфоровые этажерки аристократических условий; они покидают общество, все привычки своего звания; лишаются богатства, становятся служителями высоких идей и самых великодушных общественных целей. Напоследок герой, сделавшийся средоточием и живительною струею всех своих сподвижников, стремящихся возвратить человечеству его благороднейшие достояния, перестает отвечать на собственный графский титул; он звучит его уху как нечто чуждое и давно позабытое: «Я только человек, — говорит он, — дышу, тружусь для человека»; и несет он свои труды в бедности и при крайних пожертвованиях. Напротив того, герой Гёте имеет столько слабостей и нечистот и водится он с таким дурным обществом, что опротивел чинной Англии, когда книга появилась в переводе. А между тем, она так полна разумности, знания света и знания вечных законов; лица обрисованы так верно и тонко, немногими чертами и без всякого лишнего слова; книга эта остается навсегда новою, неистощимою, и мы извлекаем из нее то, что сознаем для себя пригодным, допускаем ей поступать, как знает, в уверенности, что она только при начале своего поприща и будет служить миллионам других читателей.

Содержание ее — переход демократа к аристократам; оба термина приняты в наилучшем смысле, и переход совершается не ползком, не какими-нибудь происками, но через парадную дверь. Природа и личные качества помогают, а положение им приличное доставляется благодаря честности и здравомыслию дворян. Ни один великодушный юноша не оборонится от обольщения правдоподобием этой книги, которая сильно возбуждает умственное развитие и энергию.

Пламенный и набожный Новалис так отозвался об этой книге: «От доски до доски в новом вкусе и прозаическая. Все романтическое подведено под гладкий уровень; так поступлено и с поэзией в природе, с чудодейственною! Книга толкует об обиходных делах людских: быт домашний, быт среднего сословия в ней, пожалуй, опоэтизирован, но все чудесное преднамеренно рассматривается как мечта и восторженные грезы». А между тем, характерная черта: Новалис вскоре опять принялся за эту книгу, и она осталась его любимым чтением до конца его жизни.

В глазах французского и английского читателя Гёте отличается одним свойством, общим ему со всей его нацией; это свойство — постоянная подчиненность своему внутреннему убеждению. В Англии и в Америке уважают талант, и публика довольна, если он употребляется на поддержку какого-нибудь одобренного и понятного интереса: партии или служит той или другой, уже установившейся, оппозиции. Во Франции еще более восхищаются блеском ума, не заботясь о прочем. Во всех этих странах талантливые люди черпают сочинения из своего таланта. Достаточно того, когда воображение занято, требование вкуса соблюдено: столько-то столбцов и столько-то часов наполнены приятным и недурным времяпрепровождением. Но германскому духу не достает игривой французской веселости, тонкого практического смысла англичан и американского удальства; в нем есть некоторая честность, не останавливающаяся на поверхности предпринятого и исполненного, но сейчас же спрашивающая: «С

какою целью?» Германская публика требует засвидетельствованного чистосердечия. Здесь видна деятельность мысли, но к чему ведет она? Что хочет этим сказать нам человек? Откуда, откуда набрался он таких мыслей?

Одного дарования мало для писателя. За книгою должен стоять человек — личность, и по природе, и по свойствам, обязанная следовать учению, изложенному ею здесь; личность, самое существование которой тесно слито с такою-то точкою зрения, с таким-то понятием о вещах, а не с другим, и поддерживающая эти вещи, потому что они таковы. Если автор не может надлежащим образом выразить эти вещи сегодня, они все-таки существуют и выскажутся сами собою завтра. Дело идет о провозглашении некоторой доли истины, смутно или ясно постигнутой. В этом-то и состоит долг и призвание писателя в здешнем мире: видеть насквозь факты и свидетельствовать о них миру. Ничего не значит, что он сам робок и косноязычен, что голос его писклив или груб и что его способ изложения или недостаток красноречия не под стать высоте мысли. Она отыщет и метод, и картинность, и звучный голос, и гармонию. Будь он хоть нем — заговорит она. Если же нет, если такого Божьего слова не вверено писателю, какая нам нужда до его ловкости, красноречия, блеска?

Огромна разница в силе слова, за которым стоит человек и за которым его нет. В ученом журнале, во влиятельной газете я не вижу образа, а какую-то безответную тень; чаще же всего — денежную складчину или какого-то молодчика, который надеется под маскою и под костюмом своих периодов быть принятым за нечто дельное. Но при каждой строке, в каждом отделе настоящей книги я встречаю глаза человека и убежденного, и решительного. Его энергия, его опасения льются потоком на каждое слово: живут самые точки и запятая; написанное становится делом — и делом исполинским; оно пойдет далеко и будет долго жить.

В Англии и в Америке можно очень бойко писать про греческих и латинских поэтов без малейшего поэтичес-

кого вкуса или огня. Человек проводит целые годы с Платоном или Проклом, — из этого не следует, что он придерживается героических мнений и пренебрегает модными обычаями своего городка. Немцы же пресмешно простодушны на этот счет: студент, вышедши из аудитории, все еще передумывает слышанное, а профессор никак не может отделаться от мечты, что философские истины можно как-нибудь да применить к Берлину и к Мюнхену. Эта серьезность дозволяет немцу обсуждать людей с гораздо большим дарованием. Потому-то почти все важные оценки достоинств, на которые указывают мыслящие люди, перешли к нам из Германии. Между тем как в Англии и во Франции люди, известные своим умом и своею ученостью, избирают себе науку или место с некоторым легкомыслием и не слишком считают себя связанными по характеру с избранным им званием или предметом занятий, Гёте, глава и плоть германской нации, говорит не в силу одного дарования: из-за него светит истина. Он очень мудр, хотя его талант набрасывает иногда покров на его мудрость. Как ни превосходны его слова, он имел в виду еще нечто лучшее; это-то и возбуждает мое любопытство. Его громадная независимость происходит от частых бесед с истиною; слушайте его или отвергайте — факт остается; и ваше сочувствие к писателю не оканчивается с окончанием его творения; оно не сглаживается в памяти, когда он исправно завершает свое дело перед вами, как изгладится память о булочнике, продавшем вам свой хлеб; притом его сочинения составляют самую малую часть его самого. Предвечный гений, воссоздавший мир, поведал этому человеку более, чем кому-либо другому. Я не скажу, чтобы Гёте достигнул той высшей области, с высоты которой говорили нам иные гении. Он не благоговел пред верховным единством; он не был способен подчиниться полновластию нравственного чувства. В поэзии есть струны несравненно благороднее всех тех, которых коснулся он. Есть писатели, беднее его дарованием, но чище его настроением и трогательнее для сердца: Гёте никогда не может быть дорог человечеству.

Он даже не был поклонником чистой истины, но чтил истину только ради своей любви к образованности. Цель, избранная им, впрочем, немногим ниже стремления возобладать истиною; и этого человека, стоически самоуправного и самоотрицательного, нельзя было ни обмануть, ни провести, ни заставить трепетать. Он имел одинаковую пробу для всех: *«Чему могу я от вас научиться?»* — и все обладания — звание, привилегии, здоровье, время, самая жизнь — ценились им по одному этому отношению.

Он тип цивилизации, любитель всех искусств, наук, событий; он художественен, но не художник; проникнут спиритуальностью, но не спиритуалист. В мире нет такой вещи, которой бы он не имел права узнать; в арсенале гения вселенной нет такого оружия, которого бы он не взял в руки, строго наблюдая, чтоб не быть им задетым хоть на одну минуту. Он подложит луч света под каждый факт, а также между собою и своею драгоценнейшею собственностью. От него ничего не было скрытого, ничего убереженного. Он снял портрет и с лукавого демона, и со святого, который видел демона, и метафизические данные приняли образы: «Самое благочестие не цель, а только средство приобрести, с его помощью, глубокий внутренний мир и достигнуть высочайшей образованности». Его проникновение во все тайны изящных искусств все более делают Гёте чем-то скульптурно-великим. Его привязанности служили ему как женщины, употребленные Цицероном для выведания тайн заговорщиков. Вражды он не знал. Вы могли быть его врагом, но и в этом случае, путем вражды, вы научали его тому, чему не могло научить ваше доброе расположение — хотя бы увеличение знания было приобретено вашей гибелью. Привет и врагу, но врагу в высоком смысле. Он слишком дорожил временем, чтоб ненавидеть. Противоборство темпераментов еще могло быть допущено, но и такая борьба велась с королевским достоинством, и шпага скрещивалась на расстоянии целого королевства.

Его автобиография под заглавием *«Правда и вымысел из моей жизни»* выражает идеи, теперь уже усвоен-

ные германцами, но еще неслыханные тогда в старой и новой Англии, а именно: человек живет для своего просвещения, а не ради того, что может свершиться с ним. Влияние обстоятельств на самого человека — вот единственный результат, достойный замечания. Интеллектуальный человек может смотреть на себя как на постороннее лицо; тогда его ошибки и разочарования будут для него столько же занимательны, как и сами успехи. Он, конечно, желает удачи в своих предприятиях, но еще более желает узнать историю и судьбу человека, между тем как тьма себялюбцев около него погружена в одни заботы о личных маленьких выгодах.

Такова главная идея «Правды и Вымысла»; она руководит выбором происшествий, вовсе не занимаясь внешнею их важностью, светским положением лиц или цифрою их дохода. В сущности, книга почти не предоставляет материалов для того, что можно бы назвать «Жизнью Гёте»: чисел немного, переписки нет, нет и подробностей о службе и о порученных делах; ни полслова о его женитьбе; а десятилетний период самой деятельной жизни по водворении в Веймаре и совсем обойден молчанием. Между тем, некоторые любовные дельца, которые, как говорится, не привели ни к чему, представляют непонятную важность; он подавляет нас подробностями, теми или другими причудливыми мнениями, религиями собственного изобретения и, в особенности, своими отношениями к замечательным умам и к эпохе критического мышления; об этом он распространяется. Его *«Ежедневные и Ежегодные Записки»*, его *«Путешествие по Италии, Французская Кампания»* и исторический отдел *«Теории красок»* — точно так же любопытны.

Этот законодатель искусств сам не был артистом. Слишком ли он много знал? Слишком ли микроскопическое зрение препятствовало ему — в надлежащей перспективе — охватить целость? Он отрывочен: он писатель стихотворений — на разные случаи, — и целых энциклопедий изречений. Когда он садится писать драму или повесть, он набирает и сортирует свои наблюдения

с сотни сторон и вводит их в свои произведения, как можно приличнее. Очень многое никак не идет к делу; он пометит это косвенно то в переписке действующих лиц, то в листках их дневника, и тому подобное. Многое отказывается от такого приспособления: один переплетчик может придать этому некоторую связь, и потому, кроме разладицы многих его творений, мы имеем целые тома разрозненных параграфов, афоризмов, мнений и проч.

Я думаю, светский тон его романов произошел от расчета образовать себя и в этом направлении. Это было слабостью бесподобного ученого, который любил свет из благодарности, — знал, где найти библиотеки, галереи, лаборатории, изящную архитектуру, профессоров, досуг, — и не крепко верил в замены, доставляемые за все это бедностью и наготою. Сократ любил Афины, Монтень — Париж, г-жа Сталь говорила, что это (то есть Париж) единственная ее слабая струна. Есть своя благоприятная сторона и в этом. Все гении обыкновенно так дурно обставлены, что всегда желаешь им быть где-нибудь в другом месте. Редко встречаем мы человека, которому не было бы неловко и не страшно жить. Легкая краска стыда пробегает по лицу и людей добрых, и людей с благородным стремлением. Гете же чувствовал себя здесь как дома; он был доволен и миром, и веком. Никто не был так способен жить и так бодро наслаждаться игрою жизни. Его сила проистекала из этого стремления к просвещению, которое составляет дух его творений. Стремление к вечной безусловной истине, без всякой заботы о собственном преуспевании, — выше этого. Отдать себя потоку поэтического вдохновения — тоже выше этого. Но когда сравнишь цель Гёте с теми поводами, по каким пишутся книги в Англии и в Америке, его цель окажется истинною и одаренною, как всякая истина, силою воодушевлять. Этим-то и возвратил Гёте книге нечто из ее прежнего могущества и достоинства.

Появившись в эпоху через меру цивилизованную и в стране, где оригинальный талант подавлен грудою книг, механическими вспомогательными средствами и оше-

ломляющим разнообразием требований, Гёте научил людей, как распределять такое громадное смешение и как сделать его делом сподручным. Я сближаю с Гёте Наполеона: оба они были представителями силы и реакции природы против высокомерных условий и предрассудков. Это были два твердых реалиста, которые со своими последователями наложили топор на корень дерева лицемерия и затверженной болтовни — в свое время и на все будущие времена! Гёте, бодрый труженик, без всякой популярности или вызова извне почерпнул все побуждения, все предначертания из своей собственной груди; сам задавал себе задачи, достойные исполина и, без послабления, без отдыха, проработал восемьдесят лет со всем рвением первоначального побуждения, находя отдохновение в одной перемене занятий.

По последнему уроку, преподанному нам новейшей наукой, высшее упрощение организмов производится не уменьшением составных частей, но высшею их многосложностью. Человек есть самое сложное из земных существ; на другом, противоположном конце, имеем мы коловратку, *volvox globator*. Нам должно научиться извлекать доходы и прибыль с огромного наследства древних и новейших времен. Гете представляет нам пример мужества и доказывает одинаковость цены всех времен; то есть что невыгоды какой бы то ни было эпохи существуют только для слабодушных. Животворный гений, полный света и гармонии, носится вблизи самых слепых и самых глухих. Никакой запрет, никакой блюститель не остановит полета часов и полета человечества. Мир молод: былые великие люди шлют нам дружеский призыв. Назначение гения — не дозволять никакому лживому вымыслу проникать в среду человечества, осуществлять все доступное нашему знанию; требовать от высокой утонченности теперешнего образа жизни, от искусств, наук, от книг и от людей неуклонной правдивости, дальности и определения себе цели — во-первых. Во-вторых, до конца и до бесконечности — воздавать каждой истине должный почет практическим ее осуществлением.

ПРИБАВЛЕНИЕ

ОТРЫВКИ ИЗ «CONDUCT OF LIFE» Р. У. Эмерсона

Озарение мысли изводит человека из рабства в свободу. По всей справедливости можем мы сказать о себе: мы рождаемся, и после того возрождаемся; и не раз, не два, а несколько раз совершается наше возрождение. Опыты, последовательно получаемые нами, до того важны, что новые предают забвению старые. Но день из дней, но великий праздник из праздников жизни есть тот, в котором внутреннее око, раскрываясь, видит повсеместность Единства, вездесущность Закона и усматривает, что то, что есть, должно быть, и есть наилучшее.

Когда свет касается наших глаз, мы начинаем видеть, а иначе — нет. Так и с истиною: она озарит наш дух, и мы внезапно расширяемся до ее размеров, и растем, растем — почти под рост мирам.

Такое внутреннее прозрение делает нас сторонниками и блюстителями порядка вселенной, наперекор всему и многому; наперекор своим собственным выгодам, равно как и выгодам других. Человек, говорящий по своему внутреннему прозрению, провозглашает о себе то, что истинно для его духа; сознавая его бессмертие, он говорит: *я бессмертен;* сознавая его непобедимость, утверждает: *я могуч.* Силы эти не в нас, но мы в них. Они от Творца, а не от творения. Они касаются всего, и всему дают изменение. Они то ставят непроходимые пространства между теми, кто их воспринял, и теми, кто остается им чужд. Чуждающиеся их — это

толпа, это стадо. Но для других весь мир людской представляется комедией, и комедией несмешною.

* * *

Я замечал, что когда душа достигает некоторой ясности в умозрении, она действует по поводам и по соображениям, которые гораздо выше и чище эгоизма.

* * *

Величие, до которого мы внезапно возвышаемся (при озарении свыше нашего мышления), заключается в уничтожении личности, в презрении себялюбия: водворенные в сфере Закона, мы его присяжные. Бывало, мы пройдем несколько шагов по этой тропинке, а потом побродим по другому направлению. Теперь же, подобно воздухоплавателям, уже не заботимся о точке, с которой поднялся наш аэростат, о точке, к которой он пристанет; чувствуется одно: свобода и слава на таком пути.

* * *

Солнечная система не заботится о своей репутации. Знайте, что так же прочно установлено право на уважение Истины и Честности. Отмеряйте сомнению на этот счет сколько угодно дюймов. Дух окрылится, возвратится и все преисполнит собою. Он вытесняет вторгшихся. Он уравновешивает чрезмерность той или другой власти:

И самой крови в нас благими Небесами
Предписано течение к добру.

* * *

Что за улика в скептицизме эта низкая такса, какою оценивают высочайшие умственные и нравственные способности!

Другая язва того же скептицизма гнездится в недоверии к человеческой добродетели. Всякий порядочно одетый зажиточный господин убежден, что у всех людей точно столько же добродетели, сколько у него!.. Как

проворно заподозривают вас в низких побуждениях! Вглядитесь, каким снисхождением пользуется порок в почетных и хорошо обусловленных сословиях общества! Коварство снедает даже благомыслящих, в сущности, добрых людей; и перед бестрепетными, прямодушными, откровенными поступками они прибегают к полумерам и минутным двоедушным полууступкам.

* * *

«Есть две преотвратительные для меня вещи, — сказал Магомет, — ученый с его безверием и невежа с его суеверием».

Все великие эпохи были эпохи верований. Я разумею под этим то, что во всех проявлениях необычайной энергии, например во времена великого переселения народов, во времена возникновения искусств, в те времена, когда живали герои, когда слагались поэмы, душе человеческой было не до шуток. Нет! Она серьезно утверждала свои убеждения в истинах духовных; она охватывала их так же осязательно, как рука охватывает меч, кисть, резец.

Достоверно то, что каждый гений начинает свой полет с горных вершин праводушия и что всякая степень необыкновенной красоты в мужчине или в женщине заставляет предполагать в них какую-нибудь нравственную прелесть.

* * *

Слишком часто встречаются люди, неспособные жить: им препятствует к тому или их несоразмерность к собственным потребностям, или их измучивает политика, гадкая обстановка, хвори, — и они бы рады получить отставку от должности жить. Но по премудрому инстинкту спрашивается: «В чем же поможет им смерть? — Разве смерть есть чистая отставка?» Не желайте же смерти из слабодушия.

* * *

Каждый человек заботится о том, чтоб не дасться в обман своему ближнему. Напоследок настает, однако

же, тот день, когда он начинает радеть, чтобы самому не обмануть ближнего. Вот это хорошо! Это значит, что он выменял свою рыночную тележенку на колесницу Солнца!.. Что за день восстает тогда, когда мы примем к сердцу учение Истины; когда решимся отдавать — как лучшему достоянию — предпочтение сути над фактом, сути над внешностью, здравомыслию над высокопарностью и кривлянием; году — над днем; жизни — над годом; личным свойствам — над видимым успехом; что за день, когда мы познаем, что справедливость будет нам оказана и что, если медленна наша судьба, зато длинно, продолжительно и будущее наше поприще.

* * *

С течением жизни люди научаются более любить искренность и менее домогаться того, чтоб их только тешили да забавляли. С усовершенствованием характера увеличивается вера в нравственное чувство и умаляется вера в блестящие обещания. В молодости восхищаешься и талантами, и каждым личным отличием. Но, сделавшись постарше, мы смотрим уже на совокупность свойств и действий, как на выражение духа, то есть подлинной ценности человека. Нам дается тогда другое мерило; дается внутреннее око, которое пренебрегает тем, что сделано для глаз, а видит насквозь творца; у нас имеется тогда ухо, которое не слышит того, что говорят люди, а слышит то, о чем они умалчивают.

* * *

Гораздо выше вопроса о загробной жизни стоит вопрос о наших заслугах. Достойный бессмертия, будет бессмертен; и кто хочет быть великою душою в будущем мире, должен сделаться великою душою в здешнем.

* * *

Никогда еще не рождался человек — как бы мудр и добродетелен он ни был — без того, чтоб один-двое или более спутников не являлись в мир вместе с ним для оценки его даров, для провозглашения их миру. С каким

благоговейным умилением замечаю я, что нет такого человека, который бы мыслил, который бы действовал в одиночку. Ассистенты, ниспосланные Промыслом, вместе с ним призываются к жизни. Переряженные то так, то этак — будто полицейские чиновники, переодетые в штатское платье, — они идут бок о бок с ним и следят за ним шаг за шагом по всем Царствам времени.

* * *

То, что означается словами *нравственное, духовное,* — вот вековечная сущность; и какими бы химерами не исказили их, слова эти, без всякого сомнения, столетия за столетиями, примут свой настоящий смысл. Я не знаю слов, которые имели бы большее значение. Конечно, по общепринятому определению, ощупью стискивая духовное, нам описывают его как *невидимое,* тогда как настоящее значение *духовного есть существенное.* Это тот закон, который исполняется сам собою, совершает все без всякого посредничества, и который нельзя постигнуть несуществующим. Люди иногда выражаются так: «Да это просто нравственное чувство».

* * *

Вы говорите, что теперь нет религии? Это все равно что утверждать в дождливую погоду, будто нет солнца, в самую ту минуту, когда вы свидетели его преобладающего влияния. Конечно, религия образованных сословий состоит теперь именно в их отклонении служить поддержкою и порукою тому, к чему, бывало, они считали священным долгом прилепляться. Но по самой этой сдержанности они мгновенно подчинятся другому образу верований, когда час их настанет. Оно есть, то начало, служащее основою мироздания; все языки силятся его выразить, все действия — уяснить. Эта основа — простое, тихое, необъяснимое и неизъяснимое присутствие невыразимо — мирно пребывающего в нас законного нашего Владыки. И пред таким уставом согласно преклоняются люди мысли и правды всех ве-

ков и сословий. С этим сознанием сопряжено внезапное и обширное приращение могущества.

И никогда не остаемся мы без некоторого намека, что придет тот день, когда мы вступим в отношения с существами действительными: та суть, что в нас, с сутью, что в них.

Даже самый разгар материальной деятельности заключает в себе некоторые последствия, благоприятные для нравственного преуспевания. Энергия современной деятельности способствует развитию индивидуальностей; и люди набожные кажутся одиноки и заброшены. Но это и есть шаг вперед, шаг в надлежащем направлении. Небо никогда не обходится с нами по образцу представительных правлений. Всевышний говорит каждому поодиночке: «Каково-то идет с тобою? Собственно с тобою? Хорошо ли? Худо ли?»

* * *

Последний урок, извлекаемый из жизни, хоральный гимн, вздымающийся от всех стихий, от всех ликов ангельских, это — добровольное повиновение, а свобода — приневоленная. Когда ум просветлел, когда сердце склонилось ко благу, тогда человек с восторгом предает себя дивному мировому порядку и сознательно совершает то, чему глыба камня содействует лишь вследствие своего устройства.

* * *

Когда человек непреодолимо чувствует потребность высказаться, его слово служит пособием ему и нам. Выражая свою мысль другим, он уясняет ее и для самого себя. Но если он выводит ее только напоказ, она заводит в нем порчу.

* * *

Природа раз навсегда положила премию на одну правду. Что делается для эффекта, видно, что делается для эффекта; что делается по любви, чувствуется, что делается

по любви. Человек внушает почтение и привязанность, потому что в ожидании их он не пробавлялся ложью.

* * *

Есть ли что-нибудь неисправнее навыка в легкомыслии? Невозможно сделать ручной ни муху, ни гиену.

* * *

Кому назначено умудрять многих, тот должен быть лишен всякого покровительства.

* * *

Отборные души — вот кто приносит нам пользу, а не отборное общество. Отборное общество — это только средство самоохранения от уличной или кабацкой грубой пошлости. В общем итоге, отборное общество не имеет ни идей, ни цели. Оно доставляет нам ту же услугу, что прачечная или лавка с благовонными товарами, а не ту, что извлекается от поместья или от фабрики.

* * *

На нас лежит долг благодарности в отношении каждого великого сердца, каждого гениального ума; в отношении всех тех, кто положил свою жизнь или свое состояние для помощи делу справедливости; кто прибавил новую отрасль знания, кто придал жизни новую красоту по своей любви к изящному.

* * *

О чем наша ежедневная мольба? О том, чтобы быть вытянутыми по условной мерке: «Восполните, благоутробные боги, мои недостатки в изворотливости, в наружном виде, в моем положении и состоянии — во всем, что ставит меня в некотором отдалении от того вожделенного хоровода; восполните недостающее мне, да буду я одним из тех, кому дивуюсь, и да стану с ними на короткую ногу!»

Но премудрые боги произносят: «Нет, мы имеем для тебя в виду нечто лучшее. Горькими унижениями, повсеместными поражениями, лишением всякого сочувствия, расстоянием целых пучин разногласия ты познакомишься с истинами и с человечностью пообширнее тех, которые в ходу у щеголеватых джентльменов».

И медленно-медленно выучиваем мы тот урок, что есть одно величие, одна мудрость — намерение и внутренняя решимость человека. Когда радость, или горе, или собственное развитое мышление убедят его в том, тогда и леса, и села, и города с их лавочниками и извозчиками, безразлично от пророка и от искреннего друга, отразят ему необъятность небес, многочисленную населенность одиночества.

* * *

Жизнь каждого походит на робкого и неопытного зрителя. Мы исполняем должное и называем это наилучшими именами. Нам очень нравятся похвалы нашим действиям, но совесть говорит: «Это сделано не тобою!» И немногое можем мы сделать друг для друга. Мы напутствуем юных нашим сочувствием, разными старыми изречениями мудрецов и провожаем их до ворот арены. Но достоверно то, что не вследствие наших напутствий или старинных изречений, но единственно силою, свойственною ему, силою, не известною ни нам и никому другому, каждый из этих юных должен устоять или пасть.

Каким образом человек выходит победителем из какого бы то ни было обстоятельства, остается тайною для всякого другого существа в мире; и лишь тогда только, когда он повернется спиною к нам и ко всем людям и возьмет опорою эту сокровенную свою мудрость, может он добыть себе то или другое благо.

* * *

Общество хочет, чтоб его забавляли. Я не хочу, чтобы меня забавляли. Я хочу, чтоб жизнь не казалась вещью дешевою, но чтоб на нее смотрели как на нечто священ-

ное. Я хотел бы, чтоб каждый день — своею плодотворностью, своим благоуханием — походил на столетия.

* * *

Дитя на руках кормилицы есть уже проводник, по которому видимо текут все силы, которые мы называем судьбою, любовью, разумом. По великолепию средства, выведем заключение о возвышенности цели.

* * *

Когда он достигнет до выполнения законно назначенного ему круга деятельности, тогда каждого человека, рожденного в мире, будут приветствовать, как наисущественную необходимость. Прочь, громогласное «ура!» толпы! Воздадим уважение одинокому голосу человека, кто вымолвит свое одобрение по чести и по совести.

* * *

Вот правило: пока мы не мыслим, нами распоряжаются как бездушными атомами; но мысль просветит нас, и мы становимся распорядителями всего, что ни есть на свете.

* * *

Мы живем поочередно то воображением, то поклонением, то нашим сердцем. Жизнь есть последовательное поучение, которое надобно пережить, чтоб уметь понять. Все кажется загадкой — все; и ключ к одной разгадке представляет другую загадку.

* * *

В этом царстве призрачности напрасно ищем мы, где бы постоянно установиться, на чем бы твердо основаться. Для нас нет другого краеугольного камня, кроме старательного, неукоснительного упражнения над своим собственным *я* и строгого изобличения всякой в нем двуличности или самообольщения. Как бы ни играли нами другие, мы не должны сметь

играть сами собою, и в глубине души обходиться с собою с крайнею честностью и истиною. Я считаю простые детские добродетели правдолюбия и честности корнем всего, что ни есть превосходнейшего в личности человека. Говорите, как думаете, будьте такими, какими вы есть, и платите ваши обязательства всякого рода. Быть человеком состоятельным во всем, человеком, на которого можно положиться, чье слово связывает его самого как крепчайшая цепь; быть человеком, которого ничто на свете не заставит плясать под чью-либо дудку, ничто не рассеет прахом, ничто не подточит, — кажется мне предпочтительнее самой громкой молвы по всей вселенной. Существенность — это основание всякой дружбы, всякой религиозности, всего поэтического, всех искусств и знаний. При подошве и на выси всякого самообольщения я усматриваю то мошенничество, которое всегда научает нас жить и действовать для сохранения наружных приличий, наперекор нашим убеждениям, которые в часы здравомыслия неопровержимо доказывают нам, что одно то, что мы действительно есть, служит нам впрок с друзьями и приятелями, с людьми посторонними, с самою судьбою и роком.

* * *

Сколько философии, ума, нравственности выразили древние персы следующим изречением:

Прельщен ты будешь, — знай! хоть ты мудрец из мудрых,
Так пусть же не порок, — добро тебя прельщает.

Во вселенной нет анархии, нет слепого случая. Всюду система, всюду постепенность. В ней каждое божество пребывает в своей области. Юноша, при своем вступлении в чертог небесной тверди, чувствует себя один на один с ними, — с божественными; они изливают на него свои благословения, они расточают ему удары и манят его к себе, ввысь, к своим престолам.

Внезапно и неожиданно начинают на него валиться снежные хлопья ложных истин. Ему чудится, что он очутился посреди необозримой толпы, которой подвластна и та дорога, и другая; что он обязан повиноваться движениям, направляемым этою толпою... и он кажется себе таким убогим, сирым, ничтожным. Безумное скопище толкает его туда и сюда; яростно повелевает делать то одно, то другое. Ему ли противиться его воле? Ему ли думать и действовать по-своему? Новые видоизменения и новые ливни разочарований ежеминутно ставят его в тупик, сводят с ума.

Но когда путем-дорогою воздух на мгновение прочищается и тучи несколько пораздвинутся, он опять видит их — божественных; они восседают на своих престолах, кругом и около него: они одни с ним одним.

Содержание

Русским читателям ... 3

ЧАСТЬ I. Опыты ... 61

Доверие к себе ... 61
Благоразумие ... 85
Героизм ... 95
Любовь ... 105
Дружба ... 118
Возмездие ... 134
Законы духа ... 152
Круги ... 173
Разум ... 185
Всевышний ... 196

ЧАСТЬ II. Представители человечества ... 213

Польза великих людей ... 213
Платон, или Философ ... 229
Сведенборг, или Мистик ... 254
Монтень, или Скептик ... 286
Шекспир, или Поэт ... 310
Наполеон, или Человек мира сего ... 330
Гёте, или Писатель ... 352

ПРИБАВЛЕНИЕ ... 372

Отрывки из «Conduct of Life» Р. У. Эмерсона ... 372

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ
можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140,
АСТ — «Книги по почте».

ISBN 985-433-985-8

9 789854 339856

Научное издание

Эмерсон Ралф Уолдо

НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Ответственный за выпуск *Ю. Г. Хацкевич*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 18.02.2000.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 5000 экз. Заказ 1953.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.400.

ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 305.

ООО «Издательство АСТ».
Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79. Заказ 510.

Республиканское унитарное предприятие
«Полиграфический комбинат им. Я. Коласа».
220005, Минск, ул. Красная, 23.

Ралф
ЭМЕРСОН
НРАВСТВЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ